

**НОВЫЙ
Журнал**

157

**THE NEW
REVIEW**

THE
NEW REVIEW
Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Г. Андреев, Л. Ржевский

Сорок третий год издания

**РЕДАКЦИЯ: РОМАН ГУЛЬ (главный редактор),
Ю. Д. КАШКАРОВ и Е. Л. МАГЕРОВСКИЙ
СЕКРЕТАРИ: О. РАДЫШ и З. ЮРЬЕВА**

NEW REVIEW. December 1984

NEW REVIEW (ISSN 596680) is published quarterly by New Review Inc., 2700 Broadway, New York, NY 10025. Second Class postage paid at New York, N.Y. POSTMASTER: Send address changes to the New Review, 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Р. Гуль</i> — Я унес Россию. том III. "Россия в Америке"	5
<i>Е. Таубер</i> — Стихи	34, 95
<i>Ю. Кашкаров</i> — Князь Иван Хворостинин. Словеса Царей и Дней	35
<i>Ю. Иваск</i> — Ода изгоя	56
<i>С. Ильин</i> — Персидская сирень	57
<i>К. Померанцев</i> — Стихи	63
<i>Д. Бобышев</i> — Стихи	64
<i>Н. Первушин</i> — "Мы" и "они"	66
<i>О. Ильинский</i> — Стихи	72
<i>А. Опульский</i> — Народные рассказы Льва Толстого и агиографические источники	73
<i>Т. Фесенко</i> — Память души и сердца	96

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

<i>М. Шапиро</i> — Женский концлагерь	111
<i>Троцкий</i> — Сталин	138

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

<i>А. Федосеев</i> — Самоубийства можно избежать	159
<i>М. Гардер</i> — Горе-жрецы "исторической необходимости"	179
<i>Дж. Кеннан</i> — Кризис пережит	190
<i>А. Иванов</i> — Д.И. Менделеев и экономическое развитие России	211
<i>Игумен Геннадий Эйкалович</i> — Укрощенный мыслитель (А.Ф. Лосев).	229

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Русская Библиотека им. Н.В. Гоголя в Риме. Сообщение для печати; <i>Е. Кандыба</i> — О туризме в СССР; <i>Я. Тельнов</i> — Власов на Северо-Западе; <i>А. Опульский, Ю. Иваск</i> — Письма в редакцию	258
--	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

- Ю. Иваск* — Александр Давыдов: Воспоминания; *Р. Плетнев* — Достоевский. Материалы и исследования. *В. Завалишин* — Проза и стихи Константина Вагинова.....278
Книги для отзыва 290
Указатель содержания "Нового Журнала" (с 136 по 157 книгу) 293

Я УНЕС РОССИЮ

ТОМ III. "РОССИЯ В АМЕРИКЕ"

Об эмиграции

Когда в юности я читал в родной Пензе запретные книги Александра Герцена, я помню, как меня поразила фраза Герцена — "эмиграция, это — страшная вещь". Мне казалась тогда, напротив, эмиграция Герцена не только не страшной, но прекрасной и героической: "Колокол", "Полярная звезда", Франция, Англия, сочинения, большое влияние на внутреннюю Россию, множество встреч с тогдашними западными властителями дум, писателями, революционерами, дружба с Огаревым, Бакуниным. Что же тут страшного?

И вот теперь — в старости — прожив в эмиграции почти всю свою сознательную жизнь (ибо что же было в России — юность?), я понимаю, как верно, хорошо и глубоко сказал Александр Герцен: "эмиграция — вещь страшная". Но не только страшная, конечно, но и пленяющая. Эмиграция, и в этом ее очарование, ее притяжение, всегда тянет человека (если это человек, а не обывательский пень) — своей свободой. И вот я, прожив в эмиграции без малого 65 лет, разве я бы хотел быть *не эмигрантом*? Нет. Бывали, конечно, слабые минуты в эмигрантской жизни, в самом начале, когда мне хотелось опять "прилепить свои подошвы" к родной земле. Но они были очень редки и слабы. И всегда это чувство *родины* во мне подавлялось — чувством *свободы*. Что я люблю больше всего в мире? Свою свободу. Какую свободу? Очень простую. Физическую свободу передвиженья, которой на родине нет. Духовную свободу — "мыслить и страдать", которой на родине нет. И наконец свободу демократического государства, где по выражению Анатоля

Р. ГУЛЬ

Франса, правительство должно считаться дворником, которого я прогоняю, если он мне плохо служит. Конечно, я, эмигрант, никого "не прогоняю", "не могу прогнать", я, так сказать, "человек с улицы", не вошедший в жизнь государства, где я эмигрантствую, и где я даже "принял подданство" и законно голосую на выборах президента, мэра города и т. п. Все равно, по существу, я "вне государства", "вне общества". Конечно, и моя духовная свобода, мыслительная, ограничена в какой-то мере хотя бы языковым барьером, скудостью средств, мешающей подчас этим свободам.

И все-таки, мне почему-то даже нравится эта *страшность* моего эмигрантского положения. Может быть потому, что я, в сущности, где-то в своей глубине, именно и хочу быть "вне общества", "вне государства", — а быть в вечном странствии. И потому как бы ни была тяжела эта "страшная вещь" эмиграция — а она, конечно, бывает тяжела, — именно ее-то я и восхваляю. В этой свободе нищеты, свободе человека — именно она давала мне глубокие переживания счастья "остаться самим собой". А это, может быть, даже самое большое человеческое счастье: — быть эмигрантом не только из своей родной страны, превращенной в Дантов ад, но быть вообще эмигрантом на земле, еле соприкасаясь со всем тем, что тебя окружает.

Вот сейчас. Мне очень много лет. Я пишу эту книгу потому, что мне хочется рассказать какому-то очень мне близкому человеку свою жизнь. Но которого я совершенно не знаю. Не представляю ни лица, ни фигуры, ни очерка, ни его внутреннего мира. Но такой близкий мне человек когда-то найдется. И его заинтересует моя странная жизнь — во множестве стран, с множественством профессий, с разнообразием положений от помещика-барича до пролетария, от состоятельного буржуа до богемьена, и опять от крестьянина-батрака до писателя. И мне хочется передать ему то, как я жил-был, проведя почти всю жизнь русским эмигрантским перекасти-поле.

Вот сейчас. Где я? Я на веранде прекрасной студии, в старинном местечке Питерсхем штата Массачусетс; веранда выходит в сад, переходящий в лес. Здесь каждое лето мы гостим у нашего близкого друга — миссис Элизабет Хапгуд, которую все русские называют "Елизавета Львовна". Она была "спонсором"



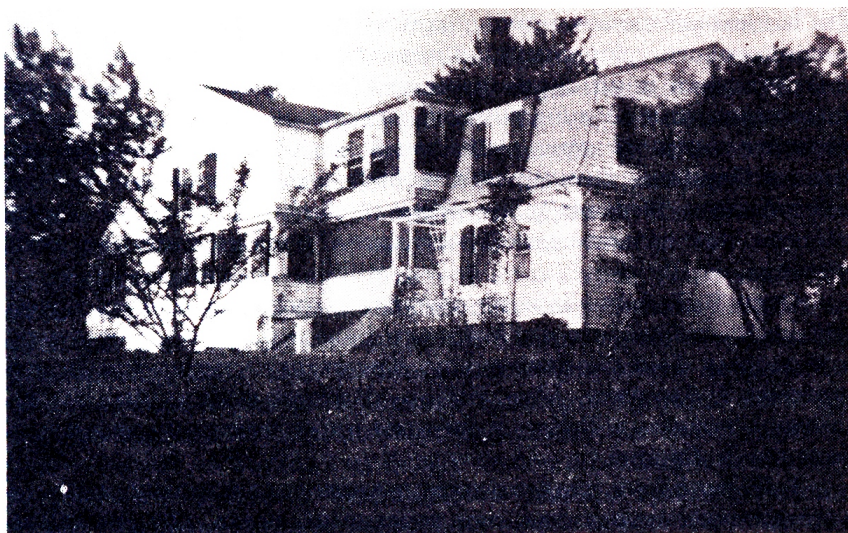
Я на веранде студии в Питерсхем



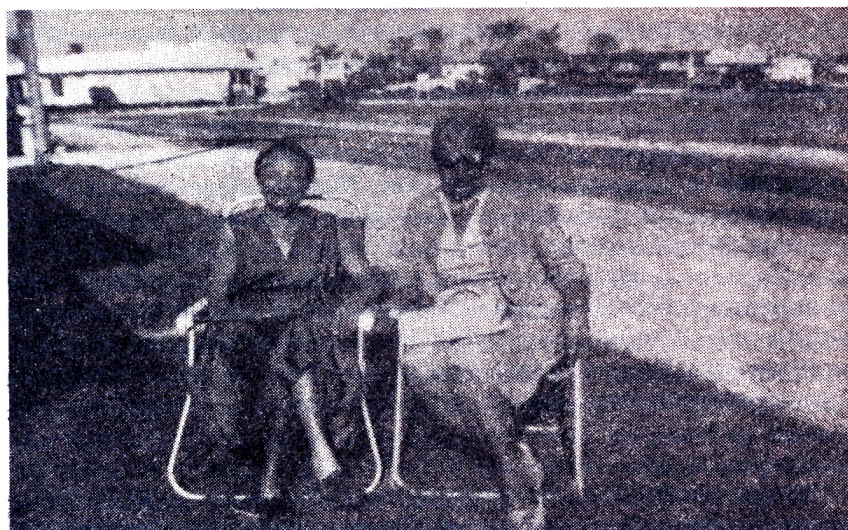
Я на веранде студии за работой



Оле́чка и я в Питерсхе́м



Дом Е. Л. Хангуд в Питерсхем



О. А. Гуль и Е. Л. в Питерсхем

Р. ГУЛЬ

при нашем въезде в Америку, нашим "свидетелем" при принятии американского гражданства. Елизавета Львовна — женщина необыкновенная и по образованности, и по уму, и по литературному таланту, и по душевным качествам, и по внешней красоте. Недаром один ее друг, известный режиссер Джошуа Логан, узнав в Париже о ее смерти, в телеграмме ее детям писал: "Элизабет была — легенда". Это верно. Е.Л. была "легенда". Таких женщин так называемая "наша эпоха" уже не дает, они ушли навсегда.

Отец Е.Л. был адмирал американского флота, мать происходила из старинного английского рода лордов Хьюстон, один из которых был сподвижником Кромвеля и после его смерти переехал в Америку. Муж Е.Л. — Норман Хапгуд был американским послом в Дании и личным представителем президента Вилсона в Европе.

Е.Л. свободно владеет несколькими европейскими языками и по-русски говорит так, что русские не верят, что она чистокровная американка. Она была большим другом Московского Художественного Театра, где дружила со всеми "великими", а К.С. Станиславский с единственной женщиной (кроме жены, Лилиной) был с ней "на ты". Это была высокая "платоническая" дружба. Е.Л. блестяще перевела на английский его четыре книги*. Она переводила с немецкого — Томаса Манна, Карла Цукмайера. С русского — "Отец" А.Л. Толстой, "Иерусалим — имя радостное" А. Седых, "Дракон" Евг. Шварца, который шел в театре "Феникс" в Нью Йорке. В ее доме бывали — Мих. Чехов, Джошуа Логан, Морис Метерлинк, Херберт Хувер, граф Куденове-Каллерги, Кришнамурти и мн. др. Я знаю, как она помогала попавшим в беду русским эмигрантам. В самый критический для Виктора Кравченко момент, когда администрация президента Рузвельта была готова выдать его Советам, сочувствующий Кравченко чиновник Эф-Би-Ай сказал ему: — "скройтесь так,

*После смерти К. С. Станиславского Е. Л. попросила Олечку переплести его письма отдельной книгой. Олечка художественно переплетала. И переплела письма Станиславского в чудесный кожаный переплет. Так они и остались у Е. Л. и никогда опубликованы не были.

чтобы мы не смогли вас разыскать”. И Кравченко скрылся. Где?

В квартире Е.Л. на Ист Сайд в Нью Йорке. И тут провел семь месяцев, не выходя никуда. Причем об этом знали только Е.Л. и ее мать, а жизнь в квартире (ежедневные 4-х часовые чаи и пр.) шла своим чередом. После смерти Рузвельта Кравченко благополучно вышел из своего ”беста”. Вот с этой необыкновенной женщиной мы и были необыкновенно дружны. И ежелетне гостили у нее в чудесной студии в Питерсхем.

Веранда затянута мелкой сеткой от комаров. Передо мной в цветку — несколько яблонь. Над яблоневым цветом жужжат пчелы. Перепархивают оранжевогрудые птицы, крича неприятным, тоскливым криком. Над зеленым лесом чуть виден острый, белый шпиль протестантской церкви (”юнитериан”). А всё местечко этой прекрасной страны первых американских поселенцев — Новая Англия — состоит из белых домов с белыми колоннами, как у нас где-нибудь в заброшенной усадьбе средней России. Только там такая усадьба была одна на сто верст. А тут всё местечко состоит из таких вот белоколонных домов, окруженных старыми запущенными садами.

Как и зачем вместе с женой я попал сюда? В сущности, не знаю. Конечно, я знаю, как помогала приехать Е.Л. Помню все хлопоты по отъезду. Покупку билетов. Пароход ”Виндам”. Небоскрежные берега пристани Нью Йорка в шестичасовом фиолетовом сумраке. Это все я помню. Но, по существу, зачем я здесь? Кому я здесь нужен? И почему именно здесь, в Америке, я умру? Я понимаю все это не очень отчетливо. *Mais ne cherchez pas à comprendre.* Я всегда так и плыл в своей эмигрантской жизни от случая к случаю. Не добивался многого. О многом не старался, не ”пекся убо на утрие”, а брал то, что ко мне как бы само подплывало. И вот так же взял подплывшую ко мне Америку. Вот я и сижу на этой прекрасной широкой веранде, покачиваясь в качалке-кресле. Смотрю на зелень вокруг, на дубовую мелкую заросль, на яблони, на огород, на птиц, на пчел, на солнечные тени. И — вспоминаю. Что? Я вспоминаю время второй мировой войны, пережитое во Франции. Я вспоминаю, *как я его пережил.* А пережил я его не совсем обычно. И многое осталось в памяти.

Великий исход

Как же это началось? Как пришло в душу осознание неминуемой гибели Франции? А с ней, возможно, и моей? Это началось в невероятно жаркий, душный летний день, когда мимо нашей фермы — на ферму Марии — проехали на велосипедах два жандарма, оба толстые, вспотевшие, в серой летней песочной форме, и я видел, до чего пропотели у них спины, лопатки.

В этот знойный день никто не работал в поле. Не выходили. Скот лежал и стоял в стойлах. Собаки забивались в относительно прохладу сараев. До пяти часов все было мертво. И только в пять — в начале шестого, когда начинал спадать жар и зной, крестьяне запрягали быков, коров — выезжали на работу. И то — не нудили ни коров, ни себя, зная, как этот зной убивает животную силу.

Жандармы разносили по фермам призывы о мобилизации резервистов. Они сообщали годным к военной службе фермерам, когда им нужно явиться на сборные пункты, чтоб идти защищать отечество, защищать не жандармов же, нет, а их самих, крестьян, столетиями выросших в эти виноградные поля их прекрасной Франции. Но отчего их, собственно, защищать? Эти виноградники и пшеничные поля — будут стоять так, что бы ни было. Франция этих полей, этих виноградников будет всегда жить, как жила — и никто в мире не свернет эти, наши поля, виноградники, не тронет наши каменные старинные дома. Именно так — я увидел — так ошибочно думали французские крестьяне, искренно не понимая связанности всего национального организма — крестьянина и генерала, рабочего и профессора университета. Французы были слишком освобождены от обязанностей. Их освобождала от этого ложно понятая, ядовито воспринятая с пеленок "свобода", обывательски понимаемая "демократия".

Когда к нам пришел сосед Мишель, муж Марии, в сопровождении Марии и трех детей — прощаться — жены наши — обе — заплакали, увидев горе Марии и испуганно непонимающие детские личики, из которых лицо старшей девочки пыталось плакать, подражая горю матери. Но не в этом было дело, не в Марии, не в детях, нет, дело было в самом Мишеле — этом здоровом, крепком и довольно диком крестьянине. Только загово-

рив с нами, он заплакал как мальчишка, которому не хочется уходить в первый раз из дому в школу. Своим плачем он смутил и меня, и брата, ибо мы приготовились с ним говорить, как "ансьен комбаттан", которые, вероятно, будут вскоре мобилизованы, потому что "бесподданных" Франция тоже призывает.

Но всхлипывающий Мишель, неловко утирающийся рукавом? И еще более плачущая Мария, такая же дикая, хорошая крестьянка-виноградарша, ничего в жизни не выдавшая, кроме своей фермы, своих детей, своих телят, своего Мишеля, который в ее доме начал жить как наемный работник, а потом заменил ей мужа. Этот плач Франции — признаюсь — был страшен... Ведь плакал не один Мишель, миллион Мишелей.

То же самое было при прощании с другим соседом (более отдаленным), богатым Гудэном. Этот не особенно приятный, толстый, объевшийся и опившийся богатый крестьянин не плакал так в голос, как бедняк Мишель, но и Гудэн давил какие-то подступавшие рыдания и смахивал слезы. Плач Франции, плач этих двух крепких крестьян был мне страшен, потому что — я понимал — так плакали не только эти два мужика-француза, но плакала вся народная Франция, в долгой, сытой, животной демократической жизни потерявшая все мифы, все "гражданские доблести". Франция не хочет воевать *ни за что, и ни при каких обстоятельствах*. Это, конечно, — гибель государства, гибель французской культуры, бессильной защитить себя от надвигающегося варварства.

Правда, мне рассказывали, что когда поезд с новобранцами отходил от нашего старинного Нерака, эти мобилизованные виноградари-крестьяне не пустили к себе в вагоны двух коммунистов-горожан и одного крестьянина, известных тем, что они были члены компартии. И мобилизационным властям — ввиду опасения убийства этих трех коммунистов — пришлось доставить их в Ажен, столицу нашего департамента, каким-то другим путем. Почему же те же плачущие Мишель и Гудэн выбрасывали из вагона коммунистов? Потому, что в них видели помощь этой войне, ибо Советский Союз шел вместе с гитлеровской Германией. И их вождь, Морис Торез, уже дезертировал из французской армии, бежав в Германию. И не он один. На немецком заводе, где-то у Гитлера, работал "токарем" и теперешний лидер

ФКП — Жорж Марше.

В этих крестьянах, против воли ехавших на призывные пункты, ехавших воевать, было сильно чувство *уничтожения их быта*, разрыва с их обыденной жизнью и, защищаясь, они выбрасывали из вагона тех, кто, одержимый какими-то новыми "мифами", нарушал их спокойную демократическую жизнь, ведущую свое летоисчисление от *"либертэ, эгалитэ, фратернитэ"* "великой" французской революции.

Вспоминаю я и свой призыв во французские войска. Мы с братом в синем автобусе неслись по чудесной знакомой дороге, обсаженной сероствольными, словно заплаванными платанами, в департаментский город Ажен. Там в воинском присутствии нас опрашивал какой-то однорукий чиновник — где, когда я получил военное образование, где сражался. Но в пахнувшей пылью все-светных канцелярий грязной и душной комнате мэрии этот однорукий француз с подвитыми усами и каким-то невыспавшимся лицом тоже не был воинственно настроен, хотя левую руку он, может быть, и потерял где-то на Сомме, на Марне в первую мировую войну. Записав все нужные сведения, он сказал, что мы будем вызваны повестками в нужный момент на сборный пункт. Но этот момент так и не наступил — наступило крушение Франции.

Что творилось там, на севере Франции, под Парижем, мы узнавали только от беженцев. Мимо "Petit Caumont" по дороге мчались вереницы легковых автомобилей, заваленных сверх меры чемоданами, с привязанными к крышам матрацами, детскими колясками, некоторые везли собак, кошек... Ехали какие-то отступающие войска, шли грузовики, военные автомобили. Это был страшный хаос. Стоявший со мной наш сосед-итальянец вдруг проговорил: "Pas possible, toute la France déménage!"

Когда я в базарный день пришел в наш Нерак — он являл ту же страшную картину. На площади, около дворца Генриха IV, расположились остатки каких-то воинских частей. У дворца почему-то на большом барабане сидел старый толстый полковник такого усталого вида, что, казалось, вот он сейчас упадет с барабана и заснет. По городу ходило видимо-невидимо всяческих беженцев, искавших убежища на ночь, квартиры, желавших

тут остановиться хотя бы на день-два; другие — хотели поселиться насовсем. Все раскупалось нарасхват, лавочки и продавцы-крестьяне на базаре под брезентовой крышей не успевали продавать — все шло нарасхват. Люди были голодны, усталы, и все это казалось катастрофой не только Франции, но всей Европы, словно начиналась, "всходила заря" какой-то новой варварской эры.

Когда на обратном пути на свою ферму я, как всегда, зашел в старый покосившийся дом Марии, она, увидев меня, опять заплакала, говоря: "Боши придут и сюда, мсье, я уверяю вас, вот увидите... все возьмут... зарежут моих телят..." Мужа, Мишеля, она считала уже погибшим. Вместе с ней плакали и ее детишки. И только земля, хозяйство руководило еще ее жизнью: надо было пасти скот, мотыжить картофель, мотыжить маис, надо было делать вино, и это заставляло машинально жить, в свободное время бегая к соседу, старику Габриэлю, узнать новости, потому что у Габриэля, единственного, было небольшое старенькое радио, которое в этот хаос, в эту разруху бросало вести — одна страшнее другой — о развале, о занятии Парижа немцами, о собрании каких-то депутатов в Бордо, о попытках каких-то переговоров, о самоубийстве знаменитого профессора хирурга Мартеля, не пожелавшего увидеть немцев в Париже. Но этот устарелый благородный жест французского патриота только удручал большинство, только подчеркивал, что Франции и всем ее гражданским добродетелям не остается больше ничего, как умереть, ибо сопротивляться нет сил.

На базаре в Нераке я зашел в парикмахерскую. Сидели, брились какие-то "макиньюны" (маклаки по продаже скота) и в зеркалах отражались их коровьи лица. Я часто наблюдал совершенно особые лица у мясников, похожие на те туши, с которыми они всю жизнь орудут своими косырями. И у торговцев скотом, у этих крепких скотообразных мужиков, я наблюдал коровье-бычье выражение лиц. И вот теперь они сидели, окруженные вокруг шеи грязновато-белыми простынями, в молчаньи — их стригли, брили. Все молчали, и только хозяин парикмахерской, небольшой пузатенький французик, бегал по парикмахерской от клиента к клиенту и безумолку говорил: "О, нет мсье, все это так... пусть боши заняли Париж... пусть... но такая империя,



Нерак. Вид с реки Баиз

как Франция, не может погибнуть, о, нет, мсье, уверяю вас...”

Почему он был уверен, что Французская империя не может погибнуть — не знаю. А может быть, он и не был уверен, может быть, говорил для того, чтобы подбодрить своих клиентов — этих “макиньонов”, чьи коровьи и бычьи лица отражались в несвежих зеркалах его маленькой парикмахерской.

И в этом же старинном городке, с чудесной запущенной поэтической речушкой Баиз, с бюстом Марии д’Арагон, на его площади я встретил бежавших из Парижа к нам друзей, московских купцов — бывшего управляющего Стахеевской мануфактурой Сергея Николаевича Ильвовского с женой Валей. Бежав из Парижа в общей волне, почти без вещей, схватив только то, что было можно схватить, они в страхе бомбардировок приехали в этот Нерак. И бедный Сергей Николаевич на старости лет помещался. Этого урагана, этого “кораблекрушения” его старческий мозг не выдержал. И когда я вел его под руку по площади Нерака среди волновавшихся французов, Сергей Николаевич говорил:

— А ты посмотри на женщин-то... все без фаты теперь... это, наверное, Кемаль сделал, а?... И знаешь, так-то лучше...

Я понимал, что Сергею Николаевичу это “кораблекрушение” представлялось повторением крушения Белой Армии и приездом в Константинополь. И у него француженки стали турчанками, но почему-то без фаты... и он благодарил за это Кемалья-Пашу.

Устроившись кое-как, в какой-то небольшой комнатухе в каменном старинном, сыром доме, Сергей Николаевич все сидел и не чувствовал никакого волнения. Он как бы уже не видел ничего совершавшегося вокруг, повторяя слова, совершенно непонятные окружающим: — “кали мера, кали стера, кали перголя”. Будучи классиком по образованию, я изучал латынь, а не греческий и не понимал этого старческого бормотания каких-то псевдогреческих слов, которые он произносил с веселым смехом — “Вот вам и извольте, кали мера, кали стера, кали перголя” — и Сергей Николаевич заливался рассыпчатым смехом. В этом “псевдогреческом” бормотании было какое-то соответствие с затопляющей все катастрофой...

Катастрофа кончилась голосом маршала Петэна по радио

Габриэля, голосом едва-едва слышавшимся, потому что радио старика было каким-то допотопным.

Ощущение полета в бездну как бы прервалось. Все — крестьяне, виноградари, ремесленники, маклаки, бакалейщики, рестораторы, гарсоны кафе, парикмахеры и эти бегущие, как сброд, солдаты, все хотели одного: — что угодно, только чтоб кончилось это падение в бездонную бездну, все боялись одного — чтобы *сюда* не пришли немцы, чтоб не раздавили и их так, как раздавили север, Париж. Мария плакала о телятах, которых боши обязательно зарежут, а она оставила их на продажу. Мишель хотел предпринимать какую-то перестройку фермы и без продажи телят ее не произвести. Люди об этом не говорили вслух, но *это* чувство: все что угодно, только бы поскорей кончилась эта "кали мера, кали стера, кали перголя". И она кончилась.

Ферма старика Габриэля — недалеко от нас, на возвышенности. С нее во все стороны открывался чудесный вид на далекие виноградники, поля, виднелся бывший замок тамплиеров Сегино. Назывался участок Габриэля странно — Пер Бланк. Жил он на нем вдвоем с женой. Хозяйство стариков было все в образцовом порядке, хотя явно было видно, что старики уже уставали. Мы были в хороших отношениях, в особенности после того, как недорого продали им прекрасную телку, подошедшую в пару их собственной телке. Габриэль понимал, что продаст дорого такую красивую пару съезженных молодых рабочих коров.

Габриэль был — старая Франция. Худой, почти тощий, с седыми, чуть вверх усами, тонким лицом, орлиным носом. Всю свою жизнь они прожили тут испольщиками. Но прожили неплохо, скопив малую толику деньжонок и мечтая на старости лет переехать в городок, где-то у родных доживать свой век. Но старик был еще бодр и работал. В противоположность дикому Гарабосу, Габриэль был культурным крестьянином, читал газету, любил поговорить о политике. В первую войну воевал и был ранен под Верденом, когда защитой этой крепости руководил Петэн.

Вот к нему в дом и набились мы все, окрестные испольщики, арендаторы, крестьяне-собственники, услышав, что маршал Петэн произнесет какое-то обращение к французскому народу. У

всех на уме было одно слово — “армистис” (перемирие) — что означало, что немцы не пойдут на юг Франции, не придут сюда, не расквартируют здесь свои войска, не будут забирать скот, хлеб, виноград, вино, не придавят этих французов так, как, наверное, придавили на севере. И эта жажда обывательской, хоть какой-нибудь свободы была так сильна во всех средних французах, в “трудящихся”, что все, набившиеся в низкую комнату Габриэля, к его хрипящему радиоаппарату, с затаенным дыханием дожидались, когда же заговорит маршал Петэн. И вдруг раздался далекий-далекий, словно откуда-то с того света, старческий голос: “Французы!” — все замерли, жадно вслушиваясь в слова обращения, в слова, призывающие к перемирию с немцами, с Гитлером, с инвазией, с вторженцами. И когда раздалось последнее слова старческого голоса, плохо долетающие по старенькому радио — “Я приношу себя в жертву Франции...” — я почувствовал у присутствующих волнение благодарности, что вот в этот момент катастрофы у них во Франции нашелся человек, *взявший на себя* всю позорную тяжесть переговоров с Гитлером, чтобы *прикрыть* своим именем всех их, средних французов, не желающих воевать — плакавших Мишелей, Гудэнов, плачущую о телятах Марию, уверенного в величии Французской империи парикмахера мсье Бургеса, всех их, средних французов, которым было плевать на все, только бы сохранить *свое спокойствие*, пусть вот такое, несчастное, позорное, общипанное, разгромленное...

Бежавший из Франции в Лондон де Голль, хотевший сопротивления во что бы то ни стало, в тот момент был, увы, не с Францией, не с народом. С народом был Петэн. Он и принес себя *в жертву Франции*, выполнив подлинную *волю народа*. Это потом, после победы союзников, Франция сделает вид, что была не с Петэном, что средний француз тоже “победил” вместе с англичанами и американцами. О, нет, он никого не “победил”; потеряв свои гражданские добродетели, он был тогда искренне благодарен, всем своим существом, всей своей кожей, животом, глоткой, желудком девяностолетнему старику маршалу Петэну, своим прославленным именем прикрывшему позор переговоров о постыдном перемирии. Но это было не желание Петэна, а *желание народа*.

APPEL

DU 16 JUIN

F RANÇAIS!

A l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du Gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte, avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires, contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des Anciens Combattants que j'ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur.

En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénûment extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut tenter de cesser le combat.

Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec nous, entre soldats, après la lutte et dans l'Honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.

Que tous les Français se groupent autour du Gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse pour n'écouter que leur foi dans le destin de la Patrie.

Воззвание маршала Петэна

И когда, стыдясь этих своих цивически недостойных чувств, деголлевские судьи после войны судили маршала Петэна, приговорив его к смертной казни, замененной ссылкой на остров Л'Иль Дье, это была трусливая неблагодарность, в которой было постыдно французам признаться. Французская Академия поспешила вычеркнуть имя маршала Петэна из списка "Бессмертных". Вероломство всех французов по отношению к героическому (по-своему) старику могло вызвать у Петэна обоснованное презрение. Но не вызвало.

В прекрасном французском журнале "Historia" в 1975 году (ноябрь) напечатана о маршале Петэне справедливая и правдивая статья Жоржа Блонда с подзаголовком: "На острове Дье французы обращались с Петэном хуже, чем англичане с Наполеоном". Верно. Англичане разрешали ходить Наполеону по всему острову, ездить верхом или в экипаже. Заключенному девяностолетнему маршалу разрешалась в день получасовая прогулка, но только по части двора, опутанной колючей проволокой. А когда старик маршал попросил разрешения делать прогулку по другой части двора, потому что, как он сказал, "оттуда видно море", ему и этого не разрешили: гуляй за проволокой и смотри не на море, а на тюремные стены! Хороши и верны слова Петэна своим адвокатам, приводимые Жоржем Блондом: "Неужели люди могут искренне думать, что я предал? И если так думают, то почему?... Я управлял Францией с любовью. Франция и французы для меня были одно и то же. Я никогда не представлял себе Францию как нечто отвлеченное, как явление лишь историческое... Я всегда любил французов и всегда хотел быть к ним близок...". Де Голль же *"спасал честь Франции"*. Но "честь" — это, конечно, нечто абстрактное. Старый, знаменитый маршал, "слава Франции" (как о нем писалось в учебниках) был уверен, что генерал де Голль, его бывший подчиненный, не продержит его в тюрьме на этом окаянном острове — до смерти. Но Петэн умер именно в этой тюрьме.

И в то же время де Голль, будучи главой государства, ввел в свое правительство заведомого изменника-дезертира из французской армии, лидера ФКП — Мориса Тореза, как "министра без портфеля", заявив, что "коммунисты — такие же французы". Увы, не совсем такие. Даже совсем не такие. Сказанное де Гол-

лем было политически неумно и в корне ложно.

История не только "страшная сказка, рассказанная дураком", но еще и "лживая сказка".

Мы с женой идем по дороге мимо замка Розенэк, в одном из прекрасных, живописных, очаровательных департаментов Франции — Лот-э-Гаронн. Франция уже раздавлена ударом Гитлера. Каркас государственных границ смят, сломан. Мы идем по прекрасной, освещенной солнцем летней дороге мимо замка Розенэк. И мы совершенно потеряны в этом мире. Мы никому, ну совершенно никому не нужны. Никто нашей судьбой не заинтересован. Да и не может быть заинтересован. Всякий француз теперь заинтересован своей гибнущей судьбой и ему уж, конечно, не до каких-то там иностранцев.

Дорога лежит между лесистыми холмами. Леса перемежаются лугами в цвету. Поют птицы. Воздух напоен изумительным ароматом скошенных вянущих трав. Тишина, нигде ни души. Старый замок Розенэк — на склоне холма. Он невелик, больше похож на дом в хорошей усадьбе, дом из дикого камня, от подножья до крыши увит мелкими бледно-розовыми розами. Замерший пейзаж оживляется только бельем, развешанным на веревке, разноцветным, словно живым, вздувающимся при порывах ветра. Почему-то не лает на нас большая, сидящая вдалеке желтоватая овчарка.

Тишина — изумительная. Наслаждаться бы и ею, и лесом, и птицами, и небом, и мелкими розами замка Розенэк. А мы идем — усталые, идем пешком далеко, километров за двадцать пять, наниматься на стекольную фабрику в городке Вианн. Наниматься нам надо потому, что нам попросту нечего есть. Мы от всего давно отрезаны. Друзья-писатели в большинстве уплыли в далекую Америку. Север Франции занят немцами. Кто-то нам сказал, что можно наняться рабочими на стекольную фабрику. И мы идем туда пешком по этой превосходной лесной дороге.

Гляжу я на нее, на эту дорогу, и думаю: ну, конечно, эта дорога чудесна в такой вот летний прохладный день. Но я ничего, никакой этой прелести воспринять не могу, не чувствую ее, по-

тому что мне нечего есть, потому что я озабочен, смогу ли стать рабочим на стекольной фабрике, сможет ли стать работницей жена, а может быть, нас вовсе и не примут, может быть, рабочие там просто не нужны.

И тогда — что? Тогда — голод, настоящий голод на своей крохотной, в пять гектаров ферме, где живем мы впятером с семьей брата. И с нее нет никаких доходов. Брат ходит на поденную работу к богатому соседу-французу, но на это не прокормиться. Наша ферма куплена больше по русской дворянской фантазии — на ней хотел опроститься мой брат с женой и сыном. Но из этих русских "фантазиев" ничего не вышло.

Война отрезала меня от всякого литературного дохода в Париже, — там кончились русские газеты, журналы. Нет и не может быть никаких поступлений из заграницы. И вот я — классический люмпен-пролетарий — иду теперь наниматься на стекольную фабрику.

Даже письма написать некому. В Европе — никого нет. А тени концлагеря Ораниенбург (за мою книгу), несомненно, приближаются. Но дело не в том даже. А в том, что именно в эти дни, когда Франция вступила в войну нехотя, против воли, когда народ ее не хочет ни за что воевать, когда он чувствует, что страна погружается все глубже в хаос несчастья, люди становятся необычайно недобры, злы. И ты, эмигрант, с особой силой ощущаешь, до чего же ты никому не нужен, ну решительно никому. В мирное время ты мог еще быть даже неким развлечением для француза или немца. С тобой могли пошутить, поговорить, удивиться — "до чего же, мол, эти русские какие-то никуда не годные люди, ну да черт с ними, пусть нас объедают!". Но сейчас эмигрант не вызывает ничего, кроме раздраженного чувства назойливости, ненужности. В такие "решительные для отечества минуты" эмигранты, конечно, не нужны, И вот эта потерянная, полная чуждость окружающей тебя стране страшно тяжела. И понятна только эмигранту, только побывавшему этим "инородным телом", этой "иностранный" занозой в чужой нации...

За деревней Лимон, выйдя с лесной дороги на асфальтовую, всю затененную гигантскими платанами, вы увидите стариннейший замок Тренклеон, квадратное шато, построенное в допо-

топные времена. Замок называется по имени своего владельца, а владелец получил это имя от "шевалье вер галан" — короля Генриха IV, о котором в этих краях республиканской Франции любят рассказывать забавные истории. О любовницах короля, о его жизни в недалеком отсюда Нераке, о его страшной смерти от кинжала Равальяка. О Тренклеоне мне рассказал крестьянин Огланьюс, словно в землю вросший древний старичок с безволосым розовым сморщенным личиком, в очках, подвязанных веревочкой, похожий на голландца с картин Терборха.

Король Генрих IV, благоволивший к молодому владельцу замка, на каком-то дворцовом приеме, дабы показать всем свою расположенность к молодому дворянину, которого звали Леон, поднял бокал в его сторону и, предложив выпить своего, вероятно, замечательного, королевского вина, сказал — "Тренк, Леон!". Так эти королевские слова и укрепились за владельцами замка и за самим замком. Замок — какой-то странной архитектуры, окруженное столетними деревьями квадратное здание, скорее, какого-то испано-мавританского стиля.

Но, конечно, сейчас ни я, ни жена замками не увлекаюсь. Отрезанные войной от всего мира, мы идем только с одной надеждой: авось, примут на стекольную фабрику в старинной деревеньке Вианн и тем спасут от голода и дадут возможность жить.

Помню, как сейчас, то странное чувство, которое я испытывал, когда мы подошли к каменным стенам Вианна. Подошли мы со стороны южных ворот. Там стояла старая церковь и на ней, как на многих церквях Франции, обычно незамечаемая из-за своей обыкновенности надпись — "Свобода, равенство и братство". Думаю, такие надписи появились на французских церквях во время так называемой "великой" французской революции. Мне всегда казалось, что церкви были в какой-то мере испорчены этим "лозунгом", хотя надпись, по своему смыслу, конечно, прекрасна. И не только прекрасна, но, в сущности, глубоко христианская. Все дело в том, что смысл этой надписи традиционно понимался не церковно, не по-христиански, а как вызов церкви со стороны лаической революции. Поэтому она мне и не нравилась. Такие надписи были уместнее на государственных учреждениях, хотя никто, в сущности, им

никогда особенно не следовал. Но как максима, были, конечно, хороши — как поддержание политического государственного мифа республики.

Но вот, когда мы подошли к вианнским воротам, и я увидел на церкви эти обычно незамечаемые слова — “Свобода, равенство, братство”, я глядел на них, как будто не понимая их смысла, словно в современной Франции, захватываемой Гитлером, это были уже какие-то допотопные иероглифы, *никому не нужные*. История отбросила этот миф, заменив его

наскоро совершенно другими мифами XX века, мифами варварского насилия, под которыми на моих глазах гибло в Европе все, что осталось еще самого дорогого.

Вианн стоит того, чтоб о нем сказать. Это — крошечная деревня, всего две продольных улицы и три-четыре поперечных. Этот прямоугольник, состоящий из небольших домиков, в большинстве, весьма старых, одноэтажных, со всех четырех сторон обнесен древней каменной стеной с башнями по углам. Правда, один выход из этого древнего городка уже расширили, проломав каменные стены, что, конечно, нарушило общую прелесть старины. Но все равно Вианн казался мне прекрасным, и прожив около него несколько военных лет, я в этом не разочаровался.

Не знаю, как толком назвать Вианн — городок? деревня? местечко? Скорее всего, пожалуй, городок, по-старинному, ведь это был во времена религиозных войн некий укрепленный пункт. Конечно, мы шли с женой, только краем глаза глядя на седую древность, на хаотически цветущие в садах и палисадниках розы и всякие пестрые цветы. Мы были поглощены самым существенным: мы хотели есть, мы хотели устроить свою жизнь как-нибудь, чтобы могли каждый день есть и знать, что и завтра будем более-менее сыты.

Вианн заселен не густо — и всё старушками. Конечно, есть и другое население, старики, даже есть и молодежь и дети (в ограниченном количестве), но не они придают колорит этому гасконскому городку. Стиль Вианна — старушки. Они — во множестве, все в черных платьях, все на вид скромно-сдержанные. Но когда я их узнал поближе, став молочником этого городка, — о, какие же это оказались злостные и воинственные сплетницы, пре-

следовательницы всех своих вианнских недругов и врагов.

Собственно, Вианн, умирающий французский средневековый городок (как и многое умирает во Франции подлинно французское) уже много лет был оккупирован чехами. Какой-то предпринимчивый чех по фамилии Тенк почему-то именно здесь построил небольшую стекольную фабрику, не в самом городке, а чуть поотдаль, в одной трети километра от Вианна. Компаньоном чеха сразу стал богатый мэр Вианна, мукомол Лятуш. Тенк выписал из Чехии стеклодувов и всяких других стекольных мастеров. И таким образом древний Вианн с его умирающими старушками-католичками вошел в "темп современности", обзаведясь неким промышленным предприятием.

На стекольной фабрике

Фабричка — пустяковая, в сущности. Но все же человек до ста на ней работало: чехи (с кучей детей — веселые, шумные детки), французы (в весьма ограниченном количестве, две-три девушки-упаковщицы) и испанцы (эмигранты от Франко, понесшие поражение в гражданской войне, такое же, как и мы, только наоборот). Испанцы были весьма "красные". Кроме чехов и испанцев, на фабрике работало несколько итальянцев, а заведующим обжигательной печью был донской казак Уварыч (Митрофан Уварыч).

От Вианна до стекольной фабрички — минут пятнадцать ходу. Фабрика стояла на асфальтированной дороге, с виду — довольно бедное заведение — досчатые бараки, ничего больше. В бараках — шлифовальные жернова, быстро вращающиеся, словно живые, а около них на небольшом возвышении стояли рабочие, шлифуя всякие стеклянные предметы — вазы, абажуры, стаканы.

Было и отделение выдувальщиков, этот зал всегда напоминал мне что-то дьявольское. Здесь полуголые от жары старые чехи-стеклодувы выдували всевозможные стеклянные вещи с помощью длинных трубок. Столь же дьявольским было и отделение "саблёров", рабочих, шлифовавших стекло сильной струей песка. "Саблёры" играли наперегонки со смертью — кто опередит: они ли заработают хорошие деньги и бросят работу,

или смерть их обгонит и они умрут от чахотки. Обычно, смерть обгоняла таки "саблёров".

"Саблёров" на фабрике было всего два. Я бывал и в их отделении. Два человека работали у особых аппаратов, которые сильной струей песка шлифовали стекло. Работали они в масках, но маски делу помогали мало. Платили "саблёрам" гораздо выше прочих рабочих, потому что директор, старый хитрый лис Тенк, прекрасно знал, что условия их работы — почти смертельны и следует, конечно, как-то "вознаградить" человека за преждевременную смерть. Правда, эти бедные человеки сами напрашивались на смертельную работу в предвосхищении больших заработков. Когда, по прошествии шести месяцев, первые "саблёры" стали умирать, довольно быстро заработав туберкулез, рабочие не сразу сообразили, отчего они заболели. Когда же стали говорить, что быть "саблёром" это все равно что подписать контракт со смертью сроком на год-полтора, дирекция — тот же хитрый Тенк, его коллега Лятуш и другие акционеры — поставили, наконец, какие-то особые насосы, втягивающие песок, благодаря которым процент песка, попадающего в легкие, сильно уменьшался. Но странно, "саблёры" в погоне за заработком, работая сдельно, насосами почти не пользовались, "гнали продукцию". Я видел своими глазами, как эти забытые песком насосы стояли без употребления во время работы "саблёров".

"Саблёры" были интересными типами. Один из них, итальянец, необычайно крепкий молодой мужчина, отец большой семьи, решил выбиться в люди, приехав во Францию из нищей Сицилии. Он не работал сплошь "саблёром", а поработает три-четыре месяца, заработает некую сумму и уходит на землю. С полгода работает как исполнитель-крестьянин на ферме, а потом опять приходит на фабрику и становится у своего зловещего аппарата играть в кошки-мышки со смертью. Дирекция его любила за быстрюю, хорошую работу.

О вредности работы "саблёров" я узнал от казака Уварыча. Он-то меня и предупредил, чтобы я ни под каким видом не брал *любую работу*.

Административный директор фабрики, щуплый молодой французик мсье Пети, принял нас с женой, как и быть должно,

официально-вежливо. На мое предложение нашего труда он чуть-чуть улыбнулся, спросив, работали ли мы когда-нибудь на фабрике?

— Нет, никогда, — ответил я.

— Понимаю, — протянул мсье Пети и на какую-то секунду задумался.

В эту секунду решалась наша судьба.

— Хорошо, — проговорил мсье Пети, — я могу вас взять на работу. И вас, и вашу жену.

Обращаясь к жене, он сказал: — Вы пойдете в упаковочный отдел. Вы умеете упаковывать стекло?

— Умею, — ответила Олечка.

— А вы, мсье, — протянул Пети, — будете у нас контролером.

Я внутренне ахнул: сразу такой "гигантский" пост. И, наверное, больше денег. Но мсье Пети добавил: — Конечно, сейчас вы будете получать, как наш обычный рабочий. Но мы посмотрим...

Я понял, почему назначен на столь неожиданный пост, когда мсье Пети сказал, что ему говорил о нас наш земляк, давно работающий на фабрике. Это был Уварыч. Мсье Пети, конечно, знает, что я никогда не был рабочим, что я "белый" русский и, вероятно, буду на фабрике достаточно хорошей собакой, надзирающей за работой "пролетариата", а если даже хорошей собакой из меня и не выйдет, все равно, подсчитывая выработку, я буду на страже не "пролетарских" интересов, а хозяйских. Мсье Пети ошибался. Он не знал "традиций русской интеллигенции", ее природной симпатии к "трудовому народу", которая жила в лучшем ее полонии и, в частности, в моей семье.

Первое, что меня ошеломило на фабрике — шум. Шум многих, пятнадцати-двадцати быстро вертящихся, цвета грязной воды больших жерновов, в который врезался ритмический звук какой-то электрической машины; тонущие в этом шуме или вырывающиеся из него отдельные людские крики; звон времени разбиваемого стекла. Одним словом, говорить в этом помещении можно только на сильном крике. В барак меня ввел мсье Пети. По тому, как он говорил рабочим и работницам

о том, что вот этот мсье будет вашим контрметром, я понял, что они обо мне уже наслышаны, уже знают, что какой-то русский (а может быть, с подробностями: "белый офицер") будет с этого дня контрметром.

— Э бьен! — сказал какой-то стекольник. В этом его "э бьен" я ничего хорошего для себя не почувствовал. — Пусть, мол, попробует.

Эта стекольная фабричка была хорошей лабораторией для наблюдений по социальной психологии, в частности, по психологии т. н. "рабочего класса". И эта психология опровергала многие мифы, которыми успешно оперируют марксистские социалистические и коммунистические партии. Взять хотя бы знаменитый лозунг — "пролетарии всех стран, соединяйтесь"; "у пролетариев нет отечества". Состав рабочих на фабричке был многонационален: чехи, французы (в небольшом количестве), итальянцы, испанцы и, наконец, русские эмигранты. И вот, став контрметром и невольно войдя по должности в гущу рабочих, я увидел небывалую национальную рознь, если не сказать — вражду. Именно не какую-нибудь другую, а — национальную. Она выражалась в борьбе друг с другом, в подсиживании. Чехи жили своей группой. Испанцы — своей. Итальянцы — своей. Отношения между этими группами давали материал для интересных наблюдений.

У мадам Пруст

Итак, на этот раз мы победили. На какое-то время мы спасены. Но надо где-то жить. И мы с женой сняли комнату в Вианне у мадам Пруст. Мадам Пруст была столь типичной провинциальной француженкой Дю Миди, что о ней стоит рассказать.

Лет пятидесяти. Уже седоватая, скверно выкрашенная, с рыжестью в волосах, она любила носить какие-то странные черные капоты. И, несмотря на свою всегдашнюю неопрятность, ходила напудренная, с ярко накрашенными губами и насурмленными бровями. В доме ее жила и ее мать, древняя полупарализованная старушка, необычайной, видимо, доброты и любви к людям. Но ввиду ее полной "экономической бесполезности",

мадам Пруст обращалась с ней до крайности жестоко, словно хотела только одного, чтобы старушка поскорее съехала с квартиры на вианнское кладбище. Она и не задержала мадам Пруст, при нас умерла в своем кресле.

Больше всего мадам Пруст любила говорить со мной (не с женой) о Париже. О том, как она жила лет тридцать тому назад, когда служила продавщицей в Галери Лафайет. О том, какая в Париже кухня. О том, как элегантны парижане и парижанки. Вспоминала парижские знаменитые магазины и рестораны, в которых она, конечно, никогда не бывала, но которые в воображении ее были тоже ее собственностью, собственностью Франции, собственностью Парижа, и мадам Пруст была ими необычайно горда. Мадам Пруст была совершенно уверена, что лучше Парижа и Франции — нет ничего в мире. Что же, Париж и Франция места большого очарования. Но, все-таки... есть и другие места на свете, не менее прекрасные. Но с этим мадам Пруст не могла бы не только согласиться, но даже понять, ибо весь мир ограничивался для нее только Францией, а в ней — только Парижем, а в Париже — ресторанами и всякими другими приятными для человеческой плоти предприятиями.

— О, Фоли-Бержер! — восклицала она. — О ком се жоли! — О-о, мсье Гуль, вы, конечно, бывали в Фоли-Бержер?!

Будучи человеком воспитанным и не любя огорчать людей, я лгал мадам Пруст, что, конечно, бывал. В восторге она всплескивала руками. А в Фоли-Бержер я был один-единственный раз и, потрясенный этой в буквальном смысле дьявольщиной (причем дьявольщиной довольно-таки ошеломляющей), я, уходя оттуда, закаялся никогда больше не ходить в это, действительно несравнимое ни с чем по своей пошлости и низменности заведение.

— Мсье Гуль, скажите мне, за кого вы? Как вы думаете, кто спасет Францию — маршал Петэн или генерал де Голль?

Зная твердо, что все, что я скажу по этому поводу, как я решу будущую судьбу Франции, будет завтра же рассказано в единственной бакалейной лавке городка, у мадам Дюран, а оттуда, кто знает, может через кого-нибудь дойти и до жандармерии, я уклончиво отражал эти лобовые атаки мадам Пруст, говоря, что для спасения Франции было бы хорошо, если б

маршал Петэн объединился с генералом де Голлем.

— Вы правы! — вскрикивала мадам Пруст. — Я сама думаю об этом точно так же!

И я был вполне спокоен за завтрашний разговор мадам Пруст в лавке мадам Дюран или у зеленщицы, мадам Боннэ, где мадам Пруст ежедневно покупала четверть литра молока и, изредка, тощую теперешнюю газетку, в которой уже не печаталось, впрочем, ничего, кроме правительственных сообщений. Иногда я брал у мадам Пруст старые газеты и развлекался чтением статей вроде — "Час Гамлэна настал!"; "Французские войска — лучшие в мире!"; "Линия Мажино — неприступна!". Увы, все это было уже — давнее прошлое.

Так мы и жили в старом городке Вианн, на берегу реки Баиз. У реки стояла древняя мельница и сразу же у берега начинался прекрасный лиственный лес, где хорошо было в закатный час, когда, по старинной традиции, уже после заката солнца, старые люди выползали из своих домов и рассаживались на ступеньках крылец, на скамейках у домов, говорили о несложных вианнских новостях и о событиях войны, пользуясь какими-то невероятными слухами, которые кто-то привез через границу между оккупированной и свободной зонами. Как известно, в то время Франция была уже разделена на две зоны. И мы, счастливые, жили в свободной.

Конечно, это было настоящее счастье. Мы не были свидетелями вступления немцев в Париж, когда, как рассказывал мне приятель, он видел на парижской улице плачущего французского полицейского: "Осаживал толпу французов, а сам плакал, как ребенок...". Именно тогда, в день вступления немцев в Париж, знаменитый французский хирург Мартель покончил жизнь самоубийством. Мадам Пруст рассказывала об этом самоубийстве с каким-то притворным (по-моему), театральным ужасом, а живший у нее француз-рабочий умно заметил: "Мы на это не способны... Для этого надо быть образованным человеком". Мадам Пруст не поняла этой фразы, возмутилась и начала было даже кричать, что мы все на это способны! Но рабочий в спор не вступил. А выразил он, конечно, очень верную и тогда меня поразившую мысль.

Впрочем, знаменитый профессор Мартель покончил само-

убийством напрасно, как это показала жизнь. Он не мог патриотически-эстетически пережить вида немецких солдат на парижских улицах, стука их подкованных сапог на Елисейских Полях, вида этих серых однообразных форм, марширующих по бульвару Распай. Все это, конечно, так. Но если бы профессор не поспешил уйти, он увидел бы и нечто иное. Увидел бы, как по Елисейским Полям идут, как победители, французские танки знаменитой дивизии знаменитого генерала Леклерка, под неистовые, радостные крики и клики парижан.

Моя работа на фабрике в должности контрметра сводилась к наблюдению за продукцией и подсчету сделанного каждым рабочим за день. Я был весьма либеральным контрметром. И рабочие это если не сразу, то скоро заметили. С ними у меня установились дружеские отношения. Со всеми — чехами, французами, итальянцами, даже испанцами, — кроме одного, красного из красных испанца-коммуниста, который меня возненавидел, вероятно, как "класс", как "белого" русского, как "врага народа". Это был красивый, весь какой-то гуттаперчиво извивавшийся, сильный, похожий телом на обезьяну, типичный брюнет-испанец. Говорил он со мной всегда подчеркнуто грубо, стараясь подловить на каких-нибудь неточностях в записях. Сознаюсь, я тоже чувствовал к нему неприязнь, но не как к "классовому врагу", а как к личности. Это была типичная большевистская личность, сильная, жадная до своей жизни, до своей власти и, вероятно, совершенно беспощадная, жестокая по отношению к жизням чужим. Он был тем самым новым массовым человеком, опорой тирании, который вырвался в большевизме, нацизме, фашизме. Звали его как-то незамысловато — не то Лопес, не то Диаз.

После голодной крестьянской жизни на ферме Пети Комон, даже комната у мадам Пруст, которую мы снимали, с гигантской, почти разваливавшейся постелью, с портретом над нею Генриха Четвертого и его первой жены, Маргариты Наваррской, с напудренной и немытой мадам Пруст, казалась нам счастьем. В особенности прекрасны были воскресенья, когда можно было отоспаться, отдохнуть, прочесть жидкую газетенку, поесть, приготовив на примусе какую-то несложную еду, а потом смотреть в окно и видеть, как неизменно, в три часа дня,

чех-стеклодув Прибыш медленно шагает посредине вианнской улицы в воскресном костюме, с неизменной папироской во рту и — обязательно — в шляпе. Шляпу Прибыш в будни никогда не носил, ходил, как все рабочие, в грязной кепке. Но в воскресенье он надевал к своему парадному костюму серую фетровую, довольно большую старомодную шляпу. Шел он медленно, сначала по одной улице (в Вианне их всего две, не очень-то разгуляешься), доходил до квадратной вианнской площади, обсаженной высоченными старыми каштанами. Заходил в единственный крохотный ресторанчик, похожий на какой-то таинственный разбойничий притон по своей грязи, темноте, запаху вина, серым очертаньям бочонков. В этой корчме Прибыш садился, осторожно снимал шляпу, выпивал стакан вина, не больше, говорил каждый раз одни и те же фразы, и снова отправлялся гулять — по другой уже улице, торжественно неся на голове свою фетровую шляпу. Это было не гулянье, а именно торжественное ношение шляпы на голове. Чтобы сделать ему приятное, я как-то похвалил его шляпу. И Прибыш с удовольствием рассказал, что он купил ее давно, еще в Праге, и сколько за нее заплатил...

Катастрофы приходят внезапно. Так пришла и наша. Она пришла в момент, когда немцы продвигались к югу, заняв половину Франции. Не имея ни сбыта, ни сырья (так, по крайней мере, объяснили нам в расклеенном на фабрике объявлении директора Тенк и Пети), стекольная фабрика закрывается. И первым, кто спросил нас, что же мы теперь будем делать, была, конечно, мадам Пруст. Мы отказались от комнаты. Могли прожить еще одну оплаченную неделю. А после нее наступала прежняя катастрофа: ничего, никого, неоткуда и никуда.

(Продолжение следует)

Роман Гуль

Растет чебрец в расщелинах кремнистых,
И остро пахнет полднем и жарой.
И прошлое разорванным монистом,
Как бусы, светится сегодня предо мной.

А я любила ветер раскаленный,
И ключевой воды прохладу в лютый зной
И выжженных холмов смуглеющие склоны,
И это юг, пьянящий и родной

Екатерина Таубер

Рене Герра

И закаты, и ночь, и прибой,
И пустынные долгие пляжи.
То маяк загорится слепой,
То скала о прошедшем расскажет.

Голос моря и грозен, и строг,
Как далекого грома раскаты.
Поднимается ночь на порог
Предрассветного часа и брата.

Одиночество гордых стихий.
Нет букашки и нет человека.
Но сродни нам любовь и стихи
И пребудут от века до века.

Екатерина Таубер

КНЯЗЬ ИВАН ХВОРОСТИНИН

СЛОВЕСА ЦАРЕЙ И ДНЕЙ

PERSONAE DRAMATIS

Князь Иван Андреевич Хворостинин, в иночестве Иоасаф, родился около 1588 г. Умер 28 февраля 1625 г. в Троице-Сергиевом монастыре. Один из первых русских поэтов. Автор повести о Смутном времени — "Словеса дней и царей и святителей Московских, еже есть в России".

Княгиня Гликерия Хворостинина, в инокинях Геласия, его мать. Погребена в Троице-Сергиевом монастыре 10 марта 1625 г.

Князь Иван Дмитриевич Хворостинин, его брат, воевода в Астрахани. Убит в 1616 г. при осаде города шайками Заруцкого.

Царевич Дмитрий Иванович Угличский, сын царя Ивана Грозного, род. 19 октября 1583 г. Погиб в Угличе 15 мая 1591.

Царь Дмитрий Иванович Московский (Лжедмитрий I) — *Юрий*, в иночестве *Григорий Отрепьев*, род. около 1581 г. Царь с 10 июня 1605 г. Убит 17 мая 1606 г.

Марина-Марианна Юрьевна Мнишек, его жена. Затем жена Лжедмитрия II (Тушинского Вора). Задушена в Коломне в 1614 г.

Царица Мария Федоровна Нагая, в иночестве *Марфа*, 7-я жена царя Ивана Грозного, мать царевича Дмитрия. Умерла 20 июля 1612 г. в Кремле в Вознесенском монастыре.

Ее братья — *Михаил Федорович* (ум. 1612), *Григорий Федорович*, *Андрей Федорович Нагие*.

- Царь Василий Иванович Шуйский*, род. 1553. Царь Московский с 19 мая 1606 г. Пострижен в монахи в июле 1610 г. Умер 12 сентября 1612 г. в польском плену.
- Борис Федорович Годунов*, род. около 1550 г. Царь Московский с 21 февраля 1598 г. Умер 13 апреля 1605 г.
- Царица Марья Григорьевна*, его жена, дочь Малюты Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского. Задушена 10 июня 1605 г.
- Царевич Федор Борисович Годунов*, его сын, род. 1589 г. Царь Московский, свержен и задавлен 10 июня 1605 г.
- Царевна Ксения Борисовна Годунова, в инокинях Ольга*, род. в 1581 г. Умерла в 1622 г. в монастыре в Суздале.
- Царь Симеон Бекбулатович (Саин-Булат)*, крещеный татарин, касимовский царевич, которого Иван Грозный сделал царем в Земщине в 1571 - 1573 годах.
- Капитан Жак Маржерет*, наемник, автор воспоминаний.
- Вальтер фон Розен*, наемник.
- Пастор Мартин Бер*.
- Густав, принц Шведский*, сын короля Эрика XIV. Жених Ксении Годуновой. Умер в Кашине в 1609 году.
- Михаил Игнатьевич Татищев*, окольныйничий, убит толпой в Новгороде в 1609 г.
- Богдан Яковлевич Бельский*, окольныйничий и боярин, любимец Ивана Грозного. Сброшен с раската в Казани в 1609 г.
- Инок Илларион Бровцын*, лицо историческое.
- Мартин Стадницкий*, один из трех братьев Стадницких, польский шляхтич из окружения Лжедмитрия I.
- Юродивый старец Ирinarх*, лицо историческое.
- Инок Александр*, автор жития юродивого Ирinarха.
- Михаил Молчанов*, московский дворянин.
- Старец Касьян Босой*, лицо полуисторическое.
- Старец Фатей Обобуров*, лицо полуисторическое.
- Старец Феодорит Умной*, лицо вымышленное.
- Авраамий (в миру Аверкий) Палицын*, род. 1550. Келарь Троице-Сергиева монастыря. Умер в 1626 г. в ссылке в Соловецком монастыре. Автор воспоминаний о Смуте.
- Князь Семен Харя Иванович Шаховской*, поэт и писатель.
- Архимандрит Дионисий Зобниновский*, род. 1570 г. умер в 1633 г. Игумен Троице-Сергиева монастыря.

Князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский, автор книги о Смутном времени. Умер в ноябре 1640 г.

Царевич Муртаза, лицо полуисторическое.

Рязанец, лицо вымышленное.

III

Инокinya-царица Марфа не знала, ее сын царь Димитрий, или нет. Помнила его жестоким, крикливым ребенком. Подрастая, летом он гонялся по двору за курами и гусями, резал им шеи, бил палкой до смерти, смотрел без детского страха, со странным любопытством, как птицы истекали кровью. Зимой лепил из снега мужиков, а вылепив, бежал за детской сабелькой и сек им головы. Прыгал вокруг, радовался, кричал: "А вот что будет Годуновым от меня! А вот что будет Мстиславским! А эдак вот будет Голицыным!".

Печи в старом углецом дворце топили жарко, до дурноты. Царица открывала окно в снежный двор, смотрела на Митенькины забавы, зевала, скучала, ждала чего-то, боялась, что Митенька вырастет, станет царем, сошлет, не посмотрит, что мать. Он прибежал к ней с розовыми от мороза щеками. Она гладила его голову, гордилась: "Ты у меня царского корня, вот и носом пошел в отца, в Ивана Васильевича". Однако, старика-мужа царица Марья старалась часто не вспоминать, особенно к ночи. Иногда, переев, видела во сне — братьям рубят головы, а ее постригают; тут же и брачный пир, старый царь женится на английской царевне.

Братья от скуки пили. А напившись, делались злы и нетерпеливы. Михайла Нагой, широколицый, с оспинами, хотел больше денег на корм, бранил прижимистого Битяговского скаредом, хриstopродавцем, вором. Брат Григорий, когда делался пьян, подозревал царского дьяка — "Ты царевича хочешь зарезать!".

— Мне твой царевич ненадобен, — отвечал Битяговский. — Он государя царя брат, а я государю слуга. А зачем ты ведунов на двор зовешь, юрода Андриюшку, и женка уродливая, Мамелфа, что ни день у вас наверху ворожит?

Младший Нагой, Андрей, мечтал:

— Федор, говорят, слаб, скоро помрет.

Осоловевший Михайло Нагой оживлялся:

Когда Митяй будет царем, я перво-наперво Москву разорю!

Он, поди, тебя самого разорит, — лениво отвечала Марья.

Шесть лет она старела в Угличе, скучала среди братьев, в рожей, дураков и дур. А в следующем мае, сыром и холодном, спокойная царицына жизнь кончилась — царевич набросился на ножик и умер.

Мертвым она его толком и не видела. В тот день сидела с братом Андреем, кушала белужину, и внизу бабы закричали, что царевича не стало. Царица сбежала во двор, не взглянула на тело, сразу стала бить мамку Василису березовым поленом по голове. Кричала, что царевича зарезал мамкин сын, Осип Волохов. Пробила мамке голову в нескольких местах, устала, велела дальше бить брату Андрею — он как раз тоже спустился во двор.

Ударили в колокола у Спаса. Труп царевича лежал, забытый, лицо выпачкано в мокрой земле и крови. Около него плакали кормилица Арина и постельница Марья. От слободской женки приехал пьяный Михаил Нагой, раскричался, разбил дьячью избу, велел запереть ворота на княжеский двор. Искал, кого сбросить с раската и опоздал: Битяговских с Качаловым и Осипа Волохова люди миром уже затоптали, а с ними подозревали и убили еще человек до десяти.

Братья мучили свои животы, сидели год на цепи. Потом их разослали по дальним деревням. Царицу Марью постригли в черницы на Выксе в монастыре. Стала она инокиня Марфа. Жила там спокойно, вышивала покровы, баловалась рыбкой, даже забыла, в каком году царевича не стало.

И вдруг — кончилось мирное житье. В распутицу — едва не утонула вместе с санями — привезли Марфу ночью в Москву, во дворец к Борису, спрашивать о чужом человеке в Литовских пределах, назвавшемся именем сына. Тут же в палате была царица Марья, насурмленная, злая, в кике с яхонтами. Марфе стало обидно, что Малютина дочь — царица. Захотелось ее подразнить, помучить. Стала упрямитесь, твердить: "Не знаю, сын он

мне или нет. Мертвым Митеньку не видела, смертного его лица. Зашлась тогда в горе, забылась, от слез света белого не узнавала мало что с месяц”.

Царица Марья бросилась к ней с шандалом, царапалась, хотела выречь глаза. Борис еле удержал жену, выбил шандал из рук. Под ними затлел кизилбашский ковер. Царь кричал жене: “Стыдись, Марья! Вот уж ты истинно крапивное семя, Малютина дочь!”.

С тех пор, который уже год, все царицу-инокиню Марфу шпыняли, таскали, требовали — братья, цари, толпа. Опять ее везли с Выксы в Москву встречать новоявленное детище. Опять брат, Мишка Нагой, был пьян, говорил: “Признай его, чего тебе, нам всем будет лучше”. В Тайнинском к ней во вдовью колымагу сел сродник, постельничий Сенька Шапкин, указывал, который ее сын, чтобы зря не вопила на чужом плече.

Царь Дмитрий приехал темнорыж, носом крут, с бородавками. Показался Марфе непохож. Все же она на его плече расплакалась, раскричалась. Плакала не за сына, не от встречи, а за себя, за все свои страхи. И хотелось, конечно, верить, что детище ее и вправду живо.

А другим летом, когда привезли из Углича гроб, смотрела и удивлялась — неужто эта смертная плоть от ее утробы: сама не так стара, а от сына — вот уже и кости. И опять растопырилась, расплакалась, раскричалась.

Князь Иван Андреевич Хворостинин, кравчий и чашник убитого императора Дмитрия, тоже не знал, был ли его государь истинный царевич Дмитрий, иль нет. На четвертый день после смуты он не выдержал, поехал в Кремль. Там сидел новый царь Василий — ябедник, миропродавец и разоритель. Царство его открывалось кровопролитно и мятежно.

На кремлевском откосе над Москвой-рекой валялись удушенные царские борзые. Чернело выбитое дворцовое окно — оттуда Дмитрий тряс бердышом и кричал — “Я вам не Борис!”. На Годуновском дворе складывали на подводу зарезанных польских музыкантов и их инструменты — везти в Чертолье, в открытую скудельную яму. Там, среди убитых, уже лежали царь Дмитрий, Мартын Стадницкий, патер Помасский.

Во дворце, куда Иван пришел сам не знал, зачем, его увидел Бельский, погнался, повалил: "Вот ты где, щенок! Ты при Расстриге в случае был!". Стал трясти над Иваном редкой бородой, глаза безумные, красные. Собирался бить тяжелым посохом. Неведомо откуда, будто из стены, вышолз новый царь Василий, прикрикнул на Бельского: "Опомнись, Богдан! Негоже старое поминать. Князь Иван нам родня". Был Шуйский маленький старик, глаза под навислыми сивыми бровями еле видны, будто слепой. Конопатую руку с крупными жилами держал у уха, словно хотел все недослышанное услышать.

Царь сел на лавку, зажмурился.

— Не твоя забота, Богдан Яковлевич, казнить. Все в царской руке — и казнь, и опала, и милость, это смотря по тому, как о том государя Бог известит. Мы князя Ивана жалуем, посылаем в Углич с Мишкой Татищевым за нетленными мощами. А ехать им без мест.

Царь Василий пригорюнился. Охнул, перекрестился.

— Зарезан был царевич Димитрий как незлобивый агнец по умшлению лукавого раба.

"Совестью ты, царь Василий, мало изнежен", — подумал Иван. Он смотрел на маленького царя и удивлялся, как это люди так искренно врут. Не он ли, Василий, говорил, что царевич убится сам собою, а потом говорил, что вовсе не убится, но спасся от Борисовых клеветов и жив, и вот он, в Москве, — царь Димитрий.

Шуйский подглядел исподтишка:

— Взгляд у тебя, князь Иван, и впрямь недобрый, потаенный какой-то. Нехороший.

Вдруг царь сполз с лавки на пол тяжелым кулем и захныкал, держась за сердце:

— Предатели! Тати! Воры!

Но тотчас встал. Зевнул:

— Шуку бы сейчас верченую, да с ленивой капусткой. Распорядись, князь Иван, принести. Что ж, Богдан Яковлевич, может, ты и прав, надо князя Ивана проучить маленько, по-отечески, а там пусть едет в Углич.

В монастырь его, на вечное покаяние! — ощерился Бельский.

Иван не дождался посоха по своей спине, убежал. Слышал вослед дребезжащий царский смех: — "Беги, беги, далече не убежишь! Про щуку-то не забудь!".

Он зашел в темный собор Вознесенского монастыря и услышал надгробное псалмопение: "Кая житейская сладость пребывает непричастна печали? Где есть мирское пристрастие, где есть привременных мечтание, где есть золото и серебро, где есть рабов множество и молва? Все — персть, все — пепел, все — сень. Ныне житейское лукавое разрешается торжество суеты".

Перед алтарем молча стояли несколько черниц, одна из них плакала.

— Где же гроб? — спросил Иван у послушницы.

И, еще не дождавшись ответа, понял, что отпевают царя Димитрия, мать отпевает. Он подошел к царице и спросил:

— Твоего сына отпевают?

Она не ответила, залилась слезами.

— Ее сына, ее! — услышал Иван шопот на ухо. Рядом оказался монашек, остроносый, остроплечий, а глаз его Иван не разглядел. Приехал к себе домой и на воротах прочел прибитый престелный лист, что царь Димитрий жив.

Углич был запустелый город, совсем деревня. Колокола едва звонили, больших не осталось, сослали по дальним городам. В княжеском дворце жил принц Густав, сын безумного шведского короля Эрика. Иван его навестил, а Татищев не пошел: "Какое мне приобщение с иноверными?".

Густав поил Ивана сладкой тягучей настойкой из Melissa цвета изумруда, надежды и весны. Жаловался, что совсем обрусел, что скучает без старой любовницы Эммы, которую еще царь Борис велел отправить обратно в Данциг. Рассказывал о Флоренции, где долго жил.

— Люди теперь недостаточно верят, — говорил принц Густав, — и не обладают сильным воображением. Потому-то и все искусства стали так зыбки. Восхищаюсь вашей русской способностью делать жизнь искусством. Вы замечательно живо верите в фантазии.

Он показал Ивану свою лабораторию в старой пыточной избе, где занимался извлечением философского ртути — квинтэссенции всех материальных вещей. Недаром Немоевский говорил Ивану в Москве о принце Густаве, как о втором Парацельсе.

— Если извлечь ртуть из каждого животного, растения и камня и соединить, — Густав уже был нетрезв от своей мелиссы, — это поможет обрести новую молодость. Впрочем, вам, князь, рано беспокоиться.

Они вышли на гульбище. Солнце еще не село, но уже показалась луна.

— У женщин причина всех болезней — луна, — заметил Густав. — Это неоспоримо. Но какого она существа — смерзшийся ли кристалл, либо сгущенное облако, либо особый воздух?

Татищев с подьячими долго не могли отыскать могилу царевича. За временем угличане забыли, показывали разное. Нашли, наконец, вдового попа Федота Огурца. Родню попа Федота после угличского разоренья отослали в Пелым, самому ему резали язык, да неумело, мог кое-как говорить. Он указал на место в соборе, у алтаря, где копать:

— Сильно вправо не берите. Там мой сын положен, попович. Вы его не потревожьте. Умер тоже девяти лет, через неделю, как царевича не стало. Сам его тут клал, около Димитрия Ивановича, потому и помню.

Принц Густав провожал погребальный обоз до последней заставы, за пригородными полями, у темных лесов. Он был в коротком немецком кафтане, сидел в седле нетвердо, а рядом, держась за стремя, шла рыжая мордовка.

— Еще одна из русских фантазий, фюрст, — говорил Густав, указывая плетью на трясшийся на подводе гроб. — В Москве, я вижу, готовят новое моралитэ. А вы уверены, Йоханн, что у вас там под гробовой парчой — не попович?

Он посмотрел на небо, на замерцавшие над бледным закатом звезды.

— Боюсь вас огорчить, фюрст, своим пророчеством, но вы отправляетесь в путь под недоброй звездой. Вон там, над елью, Каникула — звезда из созвездия Большого Пса. Вы будете странствовать в мысли и в теле, и всем будете странны. Впро-

чем, что вам делать в Московии? А мне — в Европе?

Принц повернул назад, в Углич. Отъехал с десятков саженей, обернулся, крикнул Ивану вдогонку:

— В своих странствиях обязательно побывайте во Флоренции! А в Москве не забудьте передать царевне Ксении поклон от неудачливого жениха.

Иван отстал от обоза. Смотрел на звезду Каникулу, смотрел вслед принцу Густаву, как тот ехал рысцой через гречишное поле по тропе назад, в запустелый Углич, круто кренясь в седле с бока на бок, а за ним бежала, еле поспевая, мордовка-любовница, держась за хвост принца иноходца.

"Я в Москве не высижу, убегу воровать к братцу Ваньке в Астрахань. Или в Литву", — сказал себе Иван и тронул в лес, за огнями, за погробальным обозом, по Ростовской дороге.

В Борисоглебском монастыре под Ростовом гроб поставили в зимнем соборе. Ночь была жаркая. То и дело погромывало. Цвела черемуха, в монастырском дворе стоял ее душный, пряный запах. В окрестных прудах стрекотали в громкой любовной истоме лягушки. После полуночи он пришел в собор, отослал гробовых старцев, приподнял парчу, смотрел в гроб. Составы у мертвеца сильно распались, разошлись в тление. "Как же телесное естество может опять восстать в первую красоту?" — подумал Иван, ужасаясь своему сомнению. Кто-то совсем близко, за стеной, стал бить молотом по наковальне. Испуганная мышь побежала в алтарь. Иван закрыл мертвеца парчой, вышел на паперть. На ступенях сидел молодой монашек с короткой русой бородой.

— У вас тут кузня? — спросил Иван.

— Старец Иринарх, — ответил инок. — Сердце у него горит. Иногда бьет молча, а иногда кричит: "Я — великая наковальня, о нее разобьется всякая грешная душа". — Вздохнул, позавидовал. — Удивляюсь я на старца, на храбрость его борьбы.

Утром, после панихиды, молодой монах подошел к Хворостинину:

— Я, чернец Александр, тоже о воскресении мертвых некогда мыслью колебался, как ты вчера у царевичева гроба. И все

мечтал неустроенное устроить и несовершенное совершить. Теперь смотрю за старцем, старец искусен и прозорителен. Хочешь, провожу?

Иван про себя удивился. Пошел за чернецом.

Старец Иринарх сидел под соборной стеной на цепи, в каморе чуть больше собачьей будки. Тут стояла и наковальня. Иван потянулся приложиться, но Иринарх отдернул руки, спрятал подмышки. А потом упал на колени, стал ползать в сухом кале и пыли, куда пускала цепь. Пожаловался:

— Кости сотрясены, плоть к ним прилипла!

Повернулся к князю Ивану задом, забубнил в бороду:

— Не хочу тебя, скверный человек, в твоём доме бесы не по углам вешаются, а внутри сидят, развалившись.

На коленях он вполз в будку, а оттуда вышел во весь рост, с молотом. Оказался высокий, худой, с красными, как у Бельского, глазами. Иван подался назад, испугался, что Иринарх его зашибет. Старец стал бить молотом по наковальне и петь:

Из глубины воззвал,
Имя Господне призвал,
Мужайтесь, не ужасайтесь,
Грядет беда неумолима,
В ум человеческий невместима
За всего мира безумное молчание
О лжецарях преткновенное лгание.

Ивану краесловие юродивого понравилось. И вдруг ему на слух сами собой пришли первые в жизни собственные вирши —

Зрите наши злые нравы,
Будьте душами своими здоровы,
Не сыпьте злата перед свиньями,
Да не потопчут своими ногами

Он еще раз повторил их про себя, чтобы лучше запомнить.

Иринарх будто услышал — бросил молот, сел на корточки и обыкновенным голосом сказал:

— Гусыни лисам проповеди читают.

Ивану стало неприятно и он пошел от старца прочь. Иринарх ему вслед пел:

Зрение меня устрашает,
Душа нехорошее предвещает.
Будешь чернец, прежде смерти умрешь,
Гроб себе келию обретешь.

Татищев с мощами, подьячими, гробовыми старцами и стрельцами уехал сразу после полудня. Иван выехал к вечеру с нововыезжим черкесом Асаналеем. Инок Александр вышел их проводить до опушки подмонастырского бора.

— Ты старца прости, — сказал Александр. — Устал он. Приходят, любопытствуют. Куда ему с цепи податься? Приковался по обету до смерти.

— Отчего он такой нечистый, в кале? — спросил Иван.

— Что ж, — вздохнул Александр, — составы и сосуды плоти — прах и смрад, чего скрывать. Кто, прохладно живя, на небо взойдет? Я вот тоже хотел преложиться в юродство, да куда, мне не по силам. А как душевное око сохранить нетленным?

У трех берез на одном корню, у часовенки Александр сел на еловый пенек, перевел дух.

— Тут и прощаемся.

Дурманно пахла лесная фиалка. Недалеко зафыркал еж. Прошелестела в траве гадюка. Из-под цветущего куста калины выбежала зайчиха, за нею заяц, побежали, косые, петляя, между сосен. Ласточки устраивались на ночлег под часовенной крышей.

— Ветер до чего кроткий! — говорил, будто сам с собой Александр. — Вон и ласточки проповедали нам весеннюю тишину. Уже и лето пришло. А в воздухе — смерть и тревога, не уходят. Я все думаю, кабы опять вернулись те времена, когда все звери были праотцу Адаму милы и послушны.

За рдеющими в заходящем солнце стволами сосен показались всадники в лисьих малахаях.

— Разбойники? — насторожился Иван.

— Какое там! — откликнулся Александр. — Царевич Муртаза с мурзами, племянник царя Симеона Бекбулатовича. Догоняют царевичев гроб. Езжай с ними, вместе будет веселее.

Царь Василий с синклитом встретил мощи в Красном Селе.

Плакал, вздыхал, лазил цепкой рукой в гроб, тряс орешками, вынутыми из детской ладони. Царица Марфа причитала, билась, отходила на руках у боярынь и, отдохнув, опять бросалась вопить у гроба.

Ивану издали покойник показался неожиданно свеж, совсем не те истлевшие кости, над которыми он стоял в Борисоглебском соборе. "Наверное, Мишка Татищев подменил. Зарезал какого-нибудь маленького поповича, ему не в диковину".

В Кремль на прославление мощей Иван не поехал, отправился домой. Челядь показалась ему подозрительна — слуги прятались по углам, шептались, охали, не смотрели в глаза. Мать больше молчала, а то вздохнет, будто сейчас что-то скажет — и ни слова. Жена была у дяди Голибесовского — ради его немощей. Иван о ней и не спросил, словно забыл.

На своей половине он не нашел подаренной Аштоном "Дианы на охоте" и ковра Стадницкого. "Спрячала от греха в чулан", — повинилась мать. К ночи завыл пес Разбой. Выл, не унимаясь, с час и больше. Иван выходил во двор, ласкал его, бил, наконец, велел увести прочь из усадьбы. Вернувшись в дом, поставил перед собой кувшин романеи, выпил до капли и уснул.

Видел себя во сне совсем маленьким, лет двух, с нянькой, на берегу быстрой реки. Кругом леса, холмы, висит полная луна, скачут обезьяны. На другой стороне реки, напротив того места, где они стоят с нянькой — не холм даже, а целая гора с плоской вершиной. В гору медленно идет царь Димитрий в овчине и с дудкой, и ведет за руку его, маленького Ивана. А он, Иван, глядит на царя Димитрия, на себя на горе, и спрашивает няньку: "Где же я, там или тут?".

Нянька наклоняется к нему, маленькому, и отвечает: "А ты, князюшка, и там и тут". И указывает на вдруг посветлевшую вершину плоской горы: "Смотри, Ванюша, кто к нам пожаловал, маменька!". Там на большом толстом коричневом борове сидят вобнимку царица Марина Юрьевна в красном платье и его мать, княгиня Гликерия в зеленом немецком наряде и собираются тронуть вниз, под гору.

У Ивана Что Под Вязом ударили к полунощнице. Забил в свою колотушку юродивый Алешка, живший в клетке у ворот.

Иван проснулся и стал вспоминать детские бархатные сапожки, какие видел на себе во сне. "Должны быть в старой рухляди, надо спросить мать. Видеть гору — к чему это? К горю, что ли". Долго, однако, не думал, опять заснул.

Наутро за ним пришли приставы, московские жильцы Темир Печенегов и Мамлей Бармалеев. Зачитали роспись его винам, княгиня вынесла Отреченные книги, "Аристотелевы Врата", латинский требник.

Когда Ивана повезли, мать не выдержала, выбежала, простоволосая, вслед:

— Прости меня, дуру, ради Христа!

Он от нее отвернулся:

— Что ж ты мне вчера не сказала, знала, небось?

— Боялась, что убежишь, — плакала княгиня. — Тебе на исправлении лучше будет. В Иосифове монастыре, там и гробы родительские!

Держась за подводу, она шла переулком, вопила над Ивановом, как над покойником — "Ох, сироты мы с тобою!".

Он не выдержал, закричал:

— Все-то ты, матушка, врешь! Ты предателя Иуды сестра!

Родительские гробы в Иосифовом монастыре, за церковью Иоанна Предтечи, за старым приделом заросли татарником, повителью, осотом, лебедой. Там были положены дед, Иван Михайлович Хобородинский, отец, Андрей Старко, дядя Петр.

Монастырь стоял в пустыне: с одной стороны болотистый еловый лес, с другой — низменные поля. В крутых берегах текла маленькая речка Сестра. В селе Спинове, недалеко, — богорядный монастырек для престарелых старцев. А дальше, на много верст — ни жилья, ни души. Под большим монастырем — пруд, почти озеро, илистый, мутный, в камышах и мощном аире, с гниющими по берегам ветлами и осинами.

Встретил Ивана келарь, старец Феофил:

— Вот ты и сподобился, князюшка, поклониться прародительским гробам. При Расстриге, чай, все было некогда. Место у нас караулистое, не убежишь. Мы тут тебя во всем исправим. А нет, так пристроим на грешную главу клубук, образ древлего благочестия, под ним и умрешь.

Старцы были жадные, кровопивливые, из мелких боярских детей, из престарелых кромешников царя Ивана. Обитали будто на покое, а все в них жила давняя тревога, прежняя житейская злоба. Ивана поселили рядом с большим поваренным старцем Фатеем Обобуровым. Велели ходить на все службы, дверь кельи для всякого держать открытой. Первое время был за ним учрежден караул из детенышей, а потом смилостивились, оставили без сторожей.

Старец Фатей заглядывал к Ивану по нескольку раз на дню, любопытствовал:

— Ну, како ты тут, князек, своего жития веятьель? Смотри, чтоб уста у тебя были на молитву, а очи на бдение и слезы.

Иногда он располагался у Ивана надолго, приставал с расспросами:

Ведомого плута Гришку не признал, не признал ведь, а?

— А кто ж его признал? — спрашивал Иван.

— Признать-то признали, бес многих попутал, но и береглись тоже. А ты мира сего перелестного славой прельстился.

Старец облизывал губы, по голосу было слышно, что завидовал. Не отставал:

— Какое же такое там у тебя в Москве было в грехах каляние и валяние?

— Намутили на меня много, а я без вины, — отвечал Иван.

Фатей пах гнилой капустой, гремел ключами, сетовал:

— В амбарах у нас большое мышеедство, надо бы поставить людей с колотушками. Эдак совсем обеднеем, с кружкой по миру пойдем.

— С оловянной или с серебряной? — любопытствовал Иван.

Старец будто не слышал. Бубнил свое:

— Ты бы сельцо завещал, хоть какое маленькое, в наследие вечных благ. Глядишь, отец келарь к тебе помягчает, да и огонек выше засияет на родительских гробах.

Приходил к Ивану из Спирова пьяница и озорник, старец Касьян Босой. Тайно приносил вино и мед: — "Вот и нам великое утешение". Вспоминал времена, когда был дядькой царевича Ивана Ивановича, учил его пускать стрелы: "А царевич был лют, ох лют, весь в батюшку, в царя Ивана Васильевича". Рас-

сказывал, как воевал в Ливонских пределах, как добры и понятливы ливонские немки и как громко кричали и метались в Волхов новгородские бабы, когда опричники крушили торг у Ярославова Дворища.

Касьян любил Ивановы рассказы о диковинных странах и зверях.

— А василиски, они каковы? — спрашивал Касьян.

— У василиска, — говорил, веря и не веря, Иван, — лицо и волоса девичьи, от пупа — змеиный хвост и крылаты.

А крокодил?

У того хребет аки гребень, сам весь — уста. Живет лютей зверь в реке Нил.

Когда приходил старец Фатей, Касьян прятал вино, ворчал:

— У ты, кервер проклятый!

Фатей огрызался:

— Ты в меня, старец, злыми словами не кидай. Лучше за собой гляди, чтоб уста твои располагались на молитву, а очи на бдение и слезы.

Фатей прилеплялся к киоту, громко шептал: "Кадило молитвенное, тимьян благоуханный". А маленькими зоркими глазами шарил по углам, прикидывал, куда Касьян спрятал вино.

— Тебе что, старец, у себя молиться негде, так ты по чужим кельям ходишь? — нетерпеливо спрашивал Касьян.

Но скоро не выдерживал, расслаблялся, вытаскивал из потаенного хранилища вино, приглашал Фатея. Всякий раз, разливая, приговаривал:

— Руси веселие пити, не можем без этого быти.

Лето перешло на другую половину. Давно замолкли птицы. Зори приходили яркие, холодные, но уже к полудню небо заволакивали низкие, с тяжелым свинцовым подметом облака. Над жнивьем закружились черные лохмотья грачиных стай. Заладили обмочливые дожди, состарился монастырский огород. На дворе детеныши шпарили кипятком с крапивой бочки под соленье. У старца Фатея стало много хлопот, заглядывал он к Ивану реже. С вопросами не приставал, делился ожиданиями:

— Бруснику поставили на моченье, и рыжики холодные уже стоят, голубчики. Скоро и живопросольную рыбу привезут. Медвяный квас бродит хорошо. А там из северных деревень по-

везут нам тешу, осетров, белужину. На Рождество всем будет утешение.

После Дожінок Касьян Босой пришел с вестью, что Москва со всех сторон обдержана войсками царя Димитрия. — "Волною морскою покрыл гонителя-мучителя, под землею скрыл спасенных отроков", — прогнусавил он с удовлетворением. — Не добрался царь Иван Васильевич до Шуйских, а зря.

— Ты, отче, веришь, что царь Димитрий жив? — спросил Иван.

Касьян сразу не ответил. Посмотрел в окошко-бойницу на желтый с красными вкрапинами клен, сказал:

— Вон и ласточки из колодца больше не выпархивают, легли на дно. А ты, князь Иван, все тут сидишь, брюхо греешь. Верю я, не верю, что за беда, кабы был моложе, поехал казаковать с новыми царевичами. Золото огнем плавится, а человек напастями. Я тебе в Спиrove на винокурне припас мерина, на левый глаз он крив, обе ноздри пороты, а бегает резво. Езжай на Можайск, та дорога лучше и бесстрашнее.

Старец Касьян пошел из Ивановой кельи прочь, распевая: "Съеден был, но не удержан в персях китовых Иона".

IV

К рассвету монастырские слободы и овраги затянуло туманом. Он писал всю ночь, устал и теперь открыл Постную Триодь — "Гряди, душа моя страстная, плачь о своих деяниях, помяная первое обнажение во Едеме, им же изгнана еси от сладости".

Временами на него находила дрема, книга падала из рук, и он видел себя молодым кравчим на свадебном пиру у царя Димитрия. Вот он ругает старых неуклюжих стольников за обнос не по чину. Вот принесли лебедя под взваром с шафраном. Вот он хочет поднести царице Марине Юрьевне чашу кенареи, а дородная панна Казановская отнимает у него чашу и цыкает: "Не с той стороны подходишь, лайдак!". Он всегда смеялся над

широкими юбками панны Казановской, а они пригодились: государыня Марина спряталась под ними и уцелела.

Вот они сидят со слепым царем Симеоном Бекбулатовичем на ковре и едят руками пилав.

— Я твой отец знал, с ним на поход ходил, — говорит старый татарин. — Я твой мать знал, хатун, добрый, красивенький кыз.

Они выходят на высокое крыльцо ветхого царского дворца в Кушалине. Волга покрыта мелкой свинцовой рябью, под низкими холодными облаками тянет к югу последний журавлиный клин. Слепого царя поддерживают под руки мурзы Кулбердыш и Чилибей. Он жадно ловит терпкий осенний воздух ртом, широкими ноздрями. И вздыхает: "Всё — темный!"

Его плоское лицо расплывается в плаче, слезы капают из невидящих глаз в крашеную хной бороду. Симеон ищет рукой Иванов локоть, сжимает его:

— Я твой отец знал, кардаш, я твой мать знал, я свой конец не знал!

Вдруг из сада внизу раздается пронзительный, незнакомый Ивану крик. И он видит, как из опавшего куста бузины вылезает обезьянья морда, а потом и вся тварь. Царь Симеон хохочет, хлопает в ладоши:

— Ты мой сестра сына знаешь, царевича Муртазу? Его обезьян. Муртазе с ним весело. Зовет обезьян когда — жена, когда царь Московский.

В дверь кельи кто-то заскребся.

— Не спишь, старец Иоасаф? Обо всех написал, или, может, кого позабыл?

— Опять ты!

— Кто же, кроме нас, старец Иоасаф по своим грехам бодрствует? — проблеял рязанец. — Я к тебе за адамовой головой.

— Ничего у меня нет, никакой головы.

— Посмотри под лавкой, сразу увидишь. Ротмистра Бобовского голова, со старой осады. Я ее летом в пруду нашел. Вчера у тебя был, да забыл с собой прихватить.

— Врешь, не был ты у меня никогда.

— Я к тебе часто захоживаю, старец Иоасаф, только ты меня не замечаешь. Все сам с собой, да об своем.

Иван взял свечу, заглянул под лавку. Там лежал череп. И он вспомнил, как видел ротмистра Бобовского в Тушинском таборе, зимой, у подлужного царька. Ротмистр, пьяный, ехал в санях в обнимку с розовощекой маркитанкой Зосей. Скрипел под полозьями снег, взвизгивала Зося, пушились усы у ротмистра Бобовского, скакали черкесы по сторонам, а поверх бурого медвежьего полога сидели на краю саней озябшие музыканты с восточными нежными глазами и играли на виолах.

“Смерть наносится, но бессмертье последует”, — сказал себе, в который раз желая поверить, Иван и поднял череп с пола. И подумал: каков ротмистр Бобовский в бессмертии — тоже ездит на санях, а музыканты играют ему на виолах?

— Не зябнешь, старец Иоасаф? — спросил за дверью рязанец.

— Пойдем на пруды, послушаем, как шумит водичка. Адамову голову сложи в рогожку, зачем ей зря видеть белый свет. Мы ее в Келарском пруду упокоим — до Страшного Суда.

Они прошли Подол, потом Луковый огород. На Келарском пруду слушали воду подо льдом, утопили в проруби рогожку с черепом. Пошли дальше, на Клементьевский. В обоих прудах вода стонала, как старая баба — значит, быть где-то пожару иль смерти.

У часовни на Красном холме протоптанная в снегу дорожка кончилась, но рязанец продолжал идти вперед в глубоком снегу. Иван устал, сел у взъерошенной одинокой елки. В руки стала кидаться стужа, он их грел подмышками. А когда встал, чтоб идти, как ни искал, не мог найти следов рязанца.

— Да где же ты?! — крикнул он громко.

— Я ту-та! Ту-таа! — заблеял рязанец. — Я в поле. Ищу для тебя царевича Муртазу.

Иван посмотрел в сторону Благовещенской рощи. Там на опушке стоял рязанец, а рядом с ним обезьяна в плаще и в ботфортах. И не было к ним никаких следов по снегу. Он охнул, побежал назад, к монастырю, и услышал за собой блеющий смех: “Беги, беги, далеко не убежишь!”

Под Можайском ночью выпал первый снег, а к утру растаял. В Можайске, на Брыкиной горе, на посаде у Лужецкого монастыря он зашел в кабацкую избу, купил на две гривны вина. Сел сам с собой за пустой стол и стал думать, куда теперь ехать. За соседними столами кабацкие яржки бражничали, играли в карты, в зернь. Лысый полуголый шпынь пел дурным голосом:

Беспечального меня мать породила,

Гребешком кудерцы расчесывала.

Кто-то положил ему на плечо тяжелую руку. Он поднял голову и увидел Маржерета.

— Далеко собрались, джск?

Иван обрадовался.

— Так, мыкаюсь, гуляю. Я думал, Яков, ты давно в Неметчине, в Литве.

— Задержался в Серпухове у почтенной немецкой вдовы-шинкарки.

Маржерет присел к Ивану за стол. Пододвинул к себе вино, сделал добрый глоток. — Я тут с Розеном. Еду к себе в Бургонь, в Сен-Жан-де-Лонь. Если, конечно, не помешают события. — Наклонился, зашептал: — За день до моего отъезда из Серпухова у немки ночевал князь Грегуар Шаховской с двумя польскими дворянами. Князь дал ей пригоршню золота. Это, говорит, тебе сегодня, а завтра приедет царь Димитрий, отблагодарит щедрее. Весь день я ждал до вечера, никто не приехал.

Маржерет сделал еще глоток вина, вздохнул:

— Ах, мой друг, мне только тридцать семь лет, а будто прожил два века!

Подошел Вальтер Розен.

— Hilf Gott! Это вы, фюрст!? И в таком маскараде, в сермяге, в бараньей шубе! Удивительная страна! Поехали с нами в Ревель!

Ночами подмораживало. Дороги были тверды, но настоящего снега не было, так, легкая пороша, почти иней. Останавливались они в ямах, постоянных дворах, лошадей не меняли, давали отдых своим. Боялись тараканов, раскладывали по углам хлеб, чтобы те не очень донимали и засыпали под их шуршанье. Несколько раз ночевали в стогах сжатого, необмолоченного хле-

ба, прикрытого досками. От застарелых причин Розен долго не мог сидеть на лошади, поэтому делали частые привалы. Розен кутался в песцовую шубу, жаловался: "Не могу жить без нежных растений — без лаванды, без винограда, без оливо". Он обычно плелся в хвосте, пел —

O Seligkeiten,
Vergangen Zeiten...

Маржерет мурлыкал свое — о маргаритках, которые стыдятся белых ножек Николетт. На привалах он украдкой считал золото в кушаке. Иван вспоминал, как царь Димитрий говорил: "Подожди, князь Иван, поедешь в чужие земли, посмотришь. В чужих странах люди живут веселее".

Под Новгородом они нашли на дороге замерзшего цыгана с живым медведем. Далеко впереди слышался печальный звон цымбал.

— Какой глухой и унылый звук! — заметил Маржерет. — Вполне соответствует гению здешнего народа.

Маржерет застрелил медведя из аркебузы. Делился опытом: — Оружие страшно местом: аркебуза в лесу, кинжал в тесноте.

В Новгородской слободе висели на облетевших осинах четыре немца, знакомые доктора медицины — Шварцкопф, Вайскопф, Бюлер и Мюллер. Маржерет сказал с удовлетворением:

— Но мы, по-видимому, живы.

Розен откликнулся:

— Не счастье ли, что мы, наконец, покидаем владения царя Василия со всеми его почтенными сообщниками в убийствах и предательствах, всеми этими купцами, пирожниками и сапожниками?

В Псковских лесах, болотах, пустынях выли волки. Под Псковом они встретили юродивых. Юродивые шли босые, гремели веригами, бились об землю, кричали, что им являлись святая Параскева Пятница и святая Настасья, велели заповедать Христов закон.

— Как утомительны, как неизобретательны эти плешивые гимнософисты! — ворчал Маржерет.

Маскарад часто подлинен, — серьезно заметил Розен.

— Нет больше истины в Новом Израиле! — кричали юро-

дивые.

А была ли? — спросил Розен.

Иван все же украдкой перекрестился.

Чем ближе они подъезжали к Ливонской границе, тем грустнее ему было. Все чаще вспоминался родительский дом в Москве. Двор крепко огорожен и тынен. Ворота к ночи замкнуты, а собаки сторожливы. Ставни на окнах обиты листовым кованым железом. Икона в нише в сенях. Слюдяной фонарь на крыльце. Налево нужник. В верхней горнице бревенчатые стены пахнут пивом. А весь дом осенью пахнет яблоками и укропом.

Вспоминал ночные московские звоны. Вот ударили в колокола на патриаршьем дворе. Потом в Чудове. Потом у Покрова Во Рву. Теперь и в Китай-городе. А там и в Белом Городе, и в Замоскворечьи.

Вспоминал летний полуденный зной на Язуе. Высокие, заросшие желтым донником берега. Мельницы. Купанье розовотелых девок, их визг и гам. Перстенек с бирюзой, упавший под ракетой в быструю воду.

За Изборском, у часовни Николая в сжатом поле он остановил кривого мерина и сказал попутчикам:

— Дальше я с вами не поеду. Не могу. Потяну назад, домой. Такова злая фортуна моего сердца.

— Вы так и умрете рабом жесточайших фараонов, — сказал Розен.

— Возможно, мы еще увидимся, — сказал Маржерет.

Иван долго стоял на виду у Изборской крепости, на холме у большого креста на Труворовом городище. Подошла рыжая собака. Виляла хвостом, ласковая. Он наклонился с коня ее погладить. Она его укусила.

Со стороны Пскова на Запад бежали низкие тучи. Видно было, как там и сям они проливались косыми дождями. Потом пошел мокрый снег. Он перевязал тряпицей укушенную руку и поехал на кривом мерине на Восток, на Русь, в Смуту.

Юрий Кашкаров

ОДА ИЗГОЯ

Нева и Невка... Мойка... Изобилие:
Взад и вперед кочующей воды.
Стихия. Воля вольная... Насилие:
Явление естественной беды.

Раскидано размытое величие.
Иголочкой игла и шило — шпиль.
У чуди-ночи белой безразличие....
Охотнички: ату Россию! Пиль!

Свое болотце да и всю Империю
Не охватили циркули Петра...
Обителью высокопарной меряю —
Той бело-синей, Смольной — до утра.

Зрю пятиперстие и пятисвещие.*
Развейся, Достоевский мутный сон!
Еси молитвенное благовеще
Хождение-кружение колонн.

А мера бóльшая — Святая Ксения.**
Часовенка. Крапива. Лопухи.
Спасется ею от уничтожения
Град оный... Или лгут сии стихи?

Чудная-чудная несла кирпичики
И строила неведомое нам.
Не яблочко печеное, а личико.
Вы фрейлина у Приснодевы там.

Санкт-Петербург-Амхерст, Новая Англия.
Июль-август 1983 г.

Юрий Иваск

*Строитель Смольного монастыря (не Института) Растрелли сблизил все пять куполов храма, и они напоминают пять перстов или пять свечей.

**Св. Ксения Петербургская была недавно причислена к лику святых. Жила при Елизавете Петровне и Екатерине II. Часовня над ней — на Смоленском кладбище — привлекает многих паломников.

ПЕРСИДСКАЯ СИРЕНЬ

ОЧЕРК

В середине мая весна незаметно перешла в лето. На смену острой, волнующей напряженности, висящей в воздухе, пришло ощущение отцветающего, тоскливого и пыльного спокойствия.

Эта история случилась в 1966 году, в одном из пригородов Саратова. Там проходила трамвайная линия, которая по мере удаления от центра становилась все более кривой и запущенной. Вдоль трамвайной линии до последней остановки тянулись бесконечные заводы, серые и унылые. На одном из них, заводе, выпускавшем холодильники, два года назад прессом придавило сорокадевятилетнего рабочего. У него осталась жена и пятилетний сын.

Вокруг заводов ютились убогие заводские поселки. Здесь росло много тополей. Тополя были неровно обстрижены и все лето стояли, белые от пыли.

В одном из таких поселков жил семилетний Валерка с матерью и бабушкой, сын придавленного прессом рабочего. Мать звали Александрой Васильевной, а бабушку — Прасковьей Федоровной. Бабушка поселилась у них сразу после гибели отца. Дочери нужна была ее помощь, да и Прасковья Федоровна уже еле могла управляться со своим хозяйством в деревне. Деревня была в Тамбовской области. Таких замечательных березовых рощ и соснового бора, как там, Валерка нигде больше не видел. За откосом — речка, узкая и прохладная. Рыба в ней клевала раньше, чем забрасывали удочку. Местные мальчишки на велосипедах с разгона прыгали с крутого обрыва — и тут же оказы-

вались на середине. От деревни у Валерки оставалось воспоминание хотя и общее, но необыкновенно живое.

Каждой квартире в поселке принадлежал сарай. Из открытых дверей сараев на солнечный двор выползала сырая, темная прохлада. Изнутри сараи были похожи на лавки старьевщиков, может, чуть побогаче. Под сараями — погребка, там лежали в песке морковь и картошка, стояли бочки с помидорами и огурцами.

Два года тому назад всю комнату занимал отец. Он лежал в гробу, балконные двери были открыты настежь. В полосе солнечного света танцевали пылинки. Обезображенное тело отца было до шеи затянута красноватой материей.

Мать ночевала на кухне, бабушка — в коридоре. Так продолжалось три дня. Валерку на это время отправили к одной из маминых знакомых. Там тоже были маленькие дети. Мать каждый день приходила к Валерке, и глаза у нее были заплаканные. Из разговоров взрослых Валерка уже знал, что его отец умер. Но он еще не вполне понимал, что это значит. Он и не мог этого понять, потому что не видел мертвого тела.

Однажды, когда бабушка еще не вернулась из леса, где собирала лекарственные травы, Валерка зашел на кухню. Мать гладила. Валерка с минуту ковырял в носу, не зная, как начать, а потом спросил:

— Мам, а почему наш папа умер?

Он любил отца, хотя почти не видел его. Тот приходил с работы поздно, когда Валерка уже спал. По выходным отец пропадал в гараже. Он занимался ребенком мало, а когда занимался, делал это как-то тяжело и неуклюже. Вообще, Семен Григорьевич был тяжелый человек. И жизнь его была тяжелая, и смерть тяжелая. И все, что он ни делал, было как-то тяжело.

— Не знаю, сынок. Все хорошие люди умирают, — ответила мать после долгого молчания.

А я хороший?

— И ты хороший.

— Значит, тогда и я умру?

Александра Васильевна погладила сына по голове.

— Нет, маленькие дети не умирают.

Несколько секунд Валерка что-то обдумывал.

— Тогда, значит, и ты умрешь. Ведь ты хорошая и совсем не маленькая.

Когда-нибудь и я умру, — вздохнула мать.

— А бабушка?

— И бабушка тоже умрет.

Валерка не отставал:

А папе сейчас хорошо?

— Да... я так думаю.

— А почему ты плачешь?

— А это так, не обращай внимания. — Мать крепко прижала к себе голову сына.

— Знаешь что, — Валерка решительно освободился, — если папе хорошо, то тогда и я хочу умереть. Чтоб ему там не было одиноко.

— А как же я? — спросила мать, серьезно глядя на Валерку. — Ведь мы тогда останемся с бабушкой одни. Кто же нам будет помогать?

— Ну хорошо, — сказал Валерка, немного подумав, тогда я сначала вам помогу, а потом уже умру.

Через несколько дней Валерка снова появился на кухне. Мать и бабушка пили чай. Только что прошла гроза, из раскрытого окна пахло свежей зеленью, недавним дождем.

— Мам, а мам! Мальчишки во дворе говорят, что папу зарыли в землю. Это правда?

— Правда, — тихо сказала мать.

— В земле ведь холодно и сыро. Как же там может быть хорошо?

— Так душа-то не пойдет в землю, — вмешалась бабушка. Душа-то, она легче воздуха. Ты ему так и объясни.

Мать строго посмотрела на Прасковью Федоровну. Она не любила, чтобы та рассуждала о "посторонних вещах", как их называла мать, в присутствии ребенка. Бабушка сразу умолкла. Валерка ждал ответа. Наконец, потеряв надежду, он сказал, смущенно уставясь в пол:

— Вы уж меня извините, но я подумал и решил совсем не

умирать. Я не хочу, чтобы меня зарывали в землю. Так что вам придется умирать одним.

Валерка подозрительно-испытующе посмотрел на мать и бабушку.

— Да ведь не умирать-то нельзя... — начала было бабушка, но мать опять ее оборвала.

Она была какой-то странной, бабушка Прасковья Федоровна. Верующая, а в церковь не ходит, над священниками подсмеивается. А сама тайно крестила Валерку у знакомого батюшки. Из-за этого у них с зятем вышла сильная ссора. Крещения сына Семен Григорьевич простить теще так никогда и не смог. Врачей Прасковья Федоровна не признавала, лечилась травами. К страданиям — животных ли, людей или своим собственным — бабушка была странно безразлична — “Что ж, все умрем, стало быть, так и надо”. Она перевидала на своем веку много смертей, сама была на пороге смерти. Но плакала Прасковья Федоровна только тогда, когда вспоминала о каких-то своих ошибках, которые нельзя уже было исправить.

За ужином, качаясь на табурете и дуя на кашу, Валерка спросил мать:

— Мам, а ты не забыла, что у тебя послезавтра день рождения?

Вот ты мне и напомнил.

Что тебе подарить? Опять послушание, как в прошлый год?

Подари еще лучшее послушание, чем в прошлом году.

— А что тебе папа всегда дарил? А, я знаю, что! Я знаю! Александра Васильевна улынулась.

— Тебе совсем не нужно дарить мне то, что дарил папа.

— Это почему же не нужно? — обиделся Валерка. — Ведь ты сама мне сказала, что я теперь вместо папы.

— Ну хорошо, хорошо...

Сирень в этом году уродилась на славу. Не была сада, где бы не благоухали душистые гроздья. В лесу сирень тоже росла, но лесной дикой сирени было далеко до садовой.

Королевой сирени считалась махровая, или персидская сирень. Ее цветки состояли всего-навсего из четырех лепестков, но

лепестки эти были необыкновенно крупные, яркофиолетового цвета.

Персидская сирень росла в садах у частников. Дома у частников были каменные, добротные, сады — большие и ухоженные. Между частниками и мальчишками всех возрастов шла война. Война эта была молчаливая, упорная и беспощадная. Правила ведения войны были приблизительно установлены. Мальчишки срывали не все, что можно было сорвать, и уносили не все, что можно было унести. Они ни в коем случае не ломали деревьев и не били стекол. В свою очередь, если хозяин сада ловил кого-нибудь из налетчиков, он мог, по своему желанию, избить его, отвести к родителям или сдать в милицию. Последние две меры наказания были малоупотребительны — к чему лишние осложнения?

Обе стороны были по-своему хитры и жестоки. Дети разрабатывали самые утонченные планы налета и организовывались в группы по три-четыре человека. Владельцы садов обносили забор двойной колючей проволокой. Их собаки приучались не лаять и умышленно плохо кормились. Почти у всех частников были ружья.

Валерка помнил, что отец дарил матери в день ее рождения именно персидскую сирень. Мать любила сирень. Теперь отца не было, но вместе отца был он, Валерка, и Валерка уже представлял себе, как будет выглядеть букет *его* сирени в хрустальной вазе, на праздничной белой скатерти в комнате перед открытым балконом.

Ребят было четверо, старшему не исполнилось еще и пятнадцати. Они договорились, что двое полезут в сад, а двое будут стоять "на стреме", наблюдать по обе стороны дороги, не идет ли кто. Одним из этих двоих был Валерка. С большим трудом уговорил он ребят взять его с собой. Они боялись, что он слишком маленький и в случае чего не сможет убежать.

Великолепная персидская сирень росла в глубине сада и начисто закрывала дачу. Сад принадлежал полковнику в отставке Леонтьеву. Все знали, когда полковник дома: у ворот стоял новенький красный "москвич", а из-за забора время от времени на дорогу летели пустые бутылки.

Сегодня "москвича" не было, и из сада не слышалось ни звука. Двое ребят, не мешкая, перелезли через изгородь. Немного погодя стоявший "на стреме" Валерка увидел шедшую по дороге пожилую женщину с бидонами. Он негромко свистнул. Выскокшие из сиреневых кустов дети бросились в разные стороны.

Вслед за ними тотчас же показался высокий, полный мужчина в майке, с красноватым, обрюзгшим лицом. В руках он держал ружье. Это был полковник Леонтьев. Полковник только что проснулся и, по обыкновению, хотел уже приложиться к бутылке великолепной мадеры. Мадера и другие заграничные вина регулярно поставлялись ему шофером начальника милиции. Услышав свист, он захватил ружье и вышел в сад.

Ребят и след простыл, кроме Валерки, зацепившегося за колючую проволоку.

Полковник вдруг увидел безобразно обломанные ветки сирени, той самой сирени, которой он так гордился и букет которой всегда брал с собой, когда шел в гости. Леонтьев крепко выругался и тут заметил маленькую фигурку у дальней изгороди. Фигурка отчаянно дергалась и что-то кричала. Это Валерка звал товарищей на помощь и изо всех сил старался не плакать.

Полковник выстрелил. Фигурка на заборе перестала дергаться. Леонтьев выронил ружье и вытер со лба пот. Женщина на дороге охнула и выпустила из рук бидоны. Молоко пролилось в широкую лужу; в середине ее беспомощно барахтался маленький жучок.

Полковник сделал несколько шагов в сторону выстрела. Теперь он отчетливо увидел темнорубовые капли на зеленых листьях хмеля.

Мальчик не шевелился. Он лежал на изгороди и был похож на подстреленную дичь.

Вокруг стали собираться прохожие. Полковник Леонтьев вышел к ним через калитку.

— Ну вот, допрыгался, — сказал Леонтьев, глядя на Валерку. — Видит Бог, не хотел. Ружье дернулось.

— Это бывает, — спокойно согласились мужики. А женщина, та самая, что выронила бидоны, еле слышно сказала: — Матери-то какво будет!

Вызвали "скорую помощь". Сняли Валерку с проволоки. Думали, что он уже мертв. Но он от сотрясения на минуту очнулся и сказал: "Мамке моей ничего не говорите". Затем снова потерял сознание. До больницы его живым не довезли.

Александра Васильевна возбудила дело об убийство своего сына полковником Леонтьевым. Дело сначала приняли, нельзя было не принять. Ходили слухи, что она собирается устроить из похорон нечто вроде обвинительной процессии. С нее взяли слово не делать этого, заверив, что виновные будут наказаны. А потом постепенно дело замяли. Александра Васильевна писала в высшие инстанции. Приходившие оттуда ответы сходились в одном — постановление городского суда обжалованию не подлежит, потому что убийства не было, а был только несчастный случай.

Александра Васильевна и Прасковья Федоровна остались одни. Они мало разговаривали друг с другом. Когда выходили на улицу, держались под руки и шли осторожным мелким шагом. Соседи говорили, что они сделались очень похожи друг на друга.

С. Ильин

*

Да, иногда стихи мне удавались,
Но, к сожаленью, только иногда.
Из под пера ватагой вырывались
Слова и рифмы, звезды и года,

И проносились головокруженьем
По всем мечтам и всем воображеньям
По Риму, по Парижу, по Москве,
Чтобы застыть в слепящей синеве.

А день-то, день! — сплошное вдохновенье:
Перемешались рифмы и слова.
И надо всем, как "Скорбный Ангел Мщенья,"
Монблан в снегах, как в ризах Божества.

К. Померанцев

НОВОГОДНЕЕ ЛЕТО

В священных городах, где травяные руны
струятся на ветру, и высятся руины,
окрашен ягуар не охрою в кумирне...

...Но камень орошал живой и страшный сок.
И низкорослый жрец вот этот мой комок
(на миг пригрезилось) из-под соска извлек.

При том, что ломит грудь, — лагуны на чертá мне
причудливо-чудных и чар, и очертаний?
И в наслажденьях — боль, а в бедах — не считаем.

Я раньше верил: жизнь есть не юдоль скорбей,
пир небожителей, где только радость пей.
А вот что жизнь: — Браток, опохмели скорей!

Нежно-божествен мозг у сей дрожащей твари,
и выращен в душе все-мировой чувстварий.
Но, что ни говори, — бутылка не товарищ.

У барракуды жор, — огнем блеснул зрачок,
как бы сама волна — живая; что за чорт?
И в душу заглянул с усмешкою мрачок.

Страх одиночества, страх смерти, страх безумья
глодают бирюзу Карибского лазурья,
за то вливая в глаз позорную слезу мне.

Как слоно-паровоз, когда-то Китоврас,
неповоротливостью был силен как раз,
об угол бытия и я — реберьем — хрясь.

До кожных волдырей ошпаренный кораллом,
тому скорее рад, что болью — боль караю,
кокос до молока гвоздем расковырял я.

И разом хлынула вся жалкость жалких лет,
о невозможном невозможный сладкий бред, —
одно большое Да на все былые Нет.

И к вящей правоте гаданий и решений
не давит ни ярмо, ни петля, ни ошейник.
И в беглого раба вцепился рак-отшельник.

Февраль 1984 г.
Дмитрий Бобышев

МОЛИТВА АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ

Ангеле Божий, Хранителю мой,
братик небесный в нелюбе земной!

Наших нежнейше-неслышных бесед
на языках человеческих нет.

Слух ни глагола не выловит. Лишь
духу звучит эта теплая тишь.

Что́ это: зов? Или весть? Или знак?
— Что-то... А сердце оттукнется: Так!

Братик! Самой неразрывью своей
что-нибудь сделай, и мраки отвей.

Вот я, и вот они все потроха
Божьего грешника и батрака.

Что́ я могу? Только душу — по шву...
Как получился, таким и живу:

крепкий, работал, и, слабый, грешил,
разве что дар не менял на гроши.

Выпрями, если можешь, состав.
И в обстоятельствах не оставь.

18 апреля 1984 г.
Дмитрий Бобышев

”МЫ” И ”ОНИ”

”Мы и они”: так противостояли исстари в России, как и во всякой другой стране, два слоя, две группы людей — руководящие и руководимые. В каждом народе были свои специфические черты этого противостояния в разные эпохи.

Тогда как у других народов разница между управляющими и управляемыми уменьшалась из-за демократизации правления, в России эта разница после революции усилилась и превратилась в пропасть.

”Вы — руководящие, а мы трудящие!” — так говорили и говорят в Советском Союзе простые люди, колхозники, рядовые рабочие. Партия — и народ, привилегированная каста — и простые советские люди. Особенно драматичен этот разрыв был в СССР во время коллективизации и во все время сталинизма. Вспомним деревенскую прозу Овечкина, Тендрякова, Дороша, Яшина, Абрамова и более близких к нам Шукшина, Распутина, Белова, там мы найдем яркие примеры этого противостояния.

Прекрасно описал превращение хороших простых людей в советской деревне в механические бездушные ”рычаги” партии Александр Яшин в небольшом рассказе ”Рычаги”, появившемся в недолговечной ”Литературной Москве” в период краткой оттепели в 1956 г.

Иван Коноплев, бригадир-полевод говорил до партийного собрания: ”Начальники наши с народом разговаривать разучились, стыдятся... На рычаги надеются, только и заботы, чтобы в сводках все цифры были круглые”. Другой партийный собеседник говорит про районного бюрократа: ”Людей не слушает, все сам решает, люди для него — только рычаги, ведь знает, что мы

получаем в колхозе по сто граммов на трудодень, а все твердит, что с каждым годом увеличивается благосостояние; коров в нашем селе не стало... дома в деревне стоят заколоченные”.

Но когда партсобрание началось, голос председателя “вдруг приобрел твердость и властность, борода расправилась, удлинилась, глаза посуровели, в них исчез живой огонек, который поблескивал в минуты простой дружеской беседы”. Эти простые мужики превратились в “них”, хотя из непартийных была только уборщица старуха Марфа за широкой русской печкой.

Николай Жданов в рассказе “Поездка на родину” (“Лит. Москва” 1956) рассказывает, как советский бюрократ Варгин приехал в родную деревню на похороны старушки матери, умершей одинокой, грустившей, что сын не навестил ее перед смертью. Бывший кузнец, теперь сторож говорит ему: “Мы с твоим отцом большими дружками были. Теперь ты, слышь, в руководящих. Так ведь это — кому что. Люди-то мы все одинакие”.

Выпив водки, кузнец проговорил, щуря лукавые глаза: “Ну вот, вы, стало быть, руководящие, мы — производящие, так вот оно и выходит”.

Солдатка Деревлева жалуется “руководителю” из города на районных уполномоченных. “Вот что я у вас спросить хотела: верно ли, нет ли с нами сделали? Мы сегодняшний год конопля семьдесят четыре гектара сеяли. Только покоснь зацвела, а тут, глянь, и яровые созрели. Мы, было, жать да скирдовать, а нам молотить велят, да вывозить заготовки за тридцать девять верст, да два перевоза, да у элеватора простоишь... Пристали уполномоченные: вези да вези! ... Пока возили — и конопля урожай упустили и недожатое наполовину осыпалось. А сами теперь опять без хлеба! Вот ты и рассуди, хорошо ли это?”

На это городской бюрократ не нашел лучшего ответа, как сказать: “Вопрос политический, на первом месте у нас всегда должно стоять — государство. Все зависит от уровня сознательности масс — и он замолчал, чувствуя, что говорит не то.”

Эмтеесовский инженер резюмировал положение так: “Деревня жила бы во много раз лучше, если бы поменьше было казенных бодрячков”.

В период хрущевской оттепели можно было так писать. Но

вот прошло без малого тридцать лет, а своего хлеба не хватает. Увлечение "промышленным содержанием" скота привело к тому, что пастбища потеряли свое бывшее значение и командуют скотоводством сторонники стойлового хозяйства. Во многих хозяйствах луга превратились в "неудобья". Урожаи трав низкие: от земли только берут, а она хоть и кормилица, но и она есть просит. Увлечение концентрированными кормами, поставляемыми государством, приводит к уменьшению надоя и скот от них только жиреет. Приходится разъяснять руководителям, что корова — жвачное животное и ее организм приспособлен для переваривания трав. А на Руси потеряли былую любовь и уважение русского крестьянина к луговым травам.

Вся история нашего народа, по существу, — история отношений между командующей верхушкой и подчиненными низами. Были периоды деспотизма, были и периоды послабления и большей связи и понимания. Подлинный сплав мог бы получиться после Февральской революции, когда наступила "небывалая свобода", но неразумность Временного правительства и его главы не защитили ее от уничтожения в Октябре. День разгона Учредительного Собрания в январе 1918 г. должен был бы отмечаться, как день всенародного траура и плача.

Противопоставление "руководящих и трудящихся" уходит в века глубочайшей древности, в доисторическое время, оставшееся в народной памяти благодаря сказкам и былинам.

Обратимся, например, к былине-загадке "Святогор и Микула Селянинович".

"Святогор-богатырь выехал во чисто поле гулять, так, без всякой задней мысли, поразмять кости, силой с кем-нибудь помериться.

По моей да по силе богатырской

Каб державу мне найти, всю землю поднял бы.

Встретился ему "прохожий" мужичок с сумочкой за плечами. "Едет Святогор рысью, а прохожий все идет передом. Во всю прыть не может он (Святогор) догнать прохожего. Закричал тут Святогор, да громким голосом: "Гой, прохожий человек! подожди немножечко — не могу догнать тебя я на добром коне".

Прохожий послушался Святогора, остановился, снял из-за плеч сумочку и сложил ее на землю. "Наезжает Святогор на эту

сумочку; своей плеточкой он сумочку пощупывал: как урослая, та сумочка, не тронется. Святогор перстом с коня ее потрогивал: не сворохнется та сумка, не шевельнется. Святогор с коня хватал ее рукой, потягивал: как урослая, та сумка не поднимается. Слез с коня тут Святогор, взялся за сумочку; он приладился, взялся руками обеими, *во всю силу* богатырскую натужился, от натуги по белу лицу ала кровь пошла, а поднял суму от земли только *на волос*, по колена ж сам он в мать сыру землю угрыз. Взговорит ли Святогор тут громким голосом: ”Ты скажи же мне, прохожий, правду-истину, *а и что*, скажи ты, *в сумочке на-кладено?*”

Взговорил ему прохожий да на те слова:

— *Тяга в сумочке от матери сырой земли.*

— А ты сам кто есть? Как звать тебя по имени?

— Я Микула есть, *мужик*, я Селянинович, я Микула — *”меня любит мать сыра земля”*.

Глеб Успенский в XIX веке писал о ”тяге земли”, ее власти над русским крестьянином. Приведем цитату из этого знаменательного очерка:

”Вот сейчас из моего окна я вижу: плохо прикрытая снегом земля, тоненькая в вершок зеленая травка, а от этой тоненькой травинки в полной зависимости человек, огромный мужик с бородой, с могучими руками и быстрыми ногами. Травинка может вырасти, может и пропасть, земля может быть матерью и злой мачехой. — что будет, неизвестно решительно никому. Будет так, как захочет земля; будет так, как сделает земля и как она будет в состоянии сделать... И вот человек в полной власти у этой тоненькой травинки. Ведь она только через год, почти день в день, принесет на мужицкий стол ломоть хлеба, но может и не принести — она сама во власти каждой тучки, каждого ветерка, каждого солнечного луча... Сколько перемен, неожиданностей и огромных последствий, сопутствующих этим неожиданностям! Для этой травинки, для того, чтоб она могла питать, нужна масса приспособлений, масса труда, масса внимательности во взаимных человеческих отношениях. Нужна работающая жена, которая могла бы участвовать в этой массе труда, нужна скотина, уход за скотиной, нужны орудия и т.д., и все это для этой травинки.

Представьте себе, что выйдет, если мы, оценив результаты в деньгах, дадим этих денег любому крестьянскому двору втрое больше, чем он вырабатывает в течение года, — что выйдет? Образуется не семья трудящихся, занятых людей, а толпа ртов, у которых вся жизнь — сплошная пустота, что мы и видим в семьях, где живут, как говорится, "на готовые деньги"; тогда как владычествующая над ним земля и труд, к которому она обязывает, наполняют все его существование, объясняют ему необходимость и надобность каждого шага, каждого поступка, каждого помышления".

И дальше он объясняет, почему русский крестьянин мог жить и переносить всякие трудности, пока он жил "в любви" с землей:

"Огромнейшая масса русского народа до тех пор и терпелива и могуча в несчастиях, до тех пор молода душою, мужественно-сильна и детски-кротка — словом, народ, который держит на своих плечах всех и вся, — народ, который мы любим, к которому идем за исцелением душевных мук, — до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит *власть земли*, покуда в самом корне его существования лежит *невозможность* послушания ее *повелений*, покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют все его существование. Оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, — добейтесь, чтоб он забыл "крестьянство", — и нет этого народа, нет народного мирозерцания, нет тепла, которое идет от него. Остается один пустой аппарат пустого человеческого организма. Настает душевная пустота, "полная воля", то есть неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное "иди, куда хошь,"...

Что произошло с русскими крестьянами после того, как большевики дали им "землю и волю"? Сначала ополоумели от восторга и наделали много ужасного, т.к. "все позволено" было. Потом "руководящие" стали грабить их самих и заставили голодать. Когда многие взялись за топоры и винтовки, их усмирили пулеметами латышей.

Образумившись, "руководящие" дали немного свободы и крестьянское, а вместе с ним и всеобщее хозяйство оздоровело,

жить стало легче. Крестьянин во все силу снова принялся за привычную работу на земле. Росло благосостояние крестьян и всей страны. Тут-то “руководящие” и испугались: как бы “они” не укрепились и не потребовали более осмысленного образа жизни. И стали опричники по всей земле крушить крестьянство под самый корень: загоняли в рабскую неволю колхозов, ссылали на север и восток без всякой помощи, чтобы вымирали, чтобы самого крестьянского духа больше не было. Плюнули в самую крестьянскую душу.

А земля? Земля, конечно, осталась, на ней работали нерадиво бывшие крестьяне из-под палки, исполняя неразумные, а иногда и безумные “планы”. Другие крестьяне превратились в горожан, в полуинтеллигентов, “образованщиков”, тех “новых людей” с душевной пустотой, которых Сталин легко превращал в палачей, тюремщиков. Ведь и религии их упорно лишали.

Но “идти, куда хочешь” их не пускали, им предусмотрена была соответствующая роль в тюремном режиме. А их детей “кондиционировали” в мертвой идеологии с самого младенчества.

Рассказы, очерки и романы талантливых советских писателей-деревенщиков свидетельствуют о том, что в корень истребить крестьян все же большевикам не удалось за шестьдесят семь лет их диктатуры. Писатели оплакивают ценнейший слой русского народа, принесенного в жертву мертвой идеологии и жадной и трусливой бюрократии. И все еще есть это противостояние “мы” и “они”.

Сельское хозяйство искусственно держат в “черном теле” бюрократического централизма и не вылезают из неурожая, покупая зерно в Америке.

И “богатырь”, который от нечего делать разнес в прах целую русскую державу, так и не может поднять с земли аллегорическую сумочку — русское сельское хозяйство — так как его не любит мать сыра-земля и он ее не любит, мечтая превратить в фабрику.

Н. Первушин

В АФИНАХ

За стёклами афинского такси
Сияют солнцем древние колонны,
Центр города пространством застеклённым
Вращается вокруг своей оси.
Меняется афинский светофор,
Как будто в стёклах прыгают столетья
И дик бензин в афинском этом лете,
В низине между двух соседних гор.
Тут шлем Перикла или храм Тезея
И вдруг — сирены полицейский визг,
Но тишина афинского музея
Самодовлеюща, как обелиск.
Там амазонка горячит коня —
Скажи, куда ты скачешь, Ипполита,
Обломок мраморного монолита
Преобразив в биение огня.
Струится свежесть складками туник
И конский мускул, как мгновенье, чуток
Вращенье улиц и вращенье суток
Впечатаны в скульптурный этот миг.
Далёкой флейты вековая глушь
Вмещает голоса вселенной,
И памяти селения — блаженны
И верится в переселенье душ.

1982

Олег Ильинский

НАРОДНЫЕ РАССКАЗЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО И АГИОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Среди народных рассказов Толстого очень мало имеющих определенный и единственный первоисточник, но частичное сходство — образов стиля, сюжета — можно обнаружить в них нередко. Кроме того, следует оговориться, что народные рассказы заимствуют свой материал не из собственно житий святых, а из поучительных повестей и рассказов, публиковавшихся в "Прологах".

Впрочем, существенной разницы между проложными поучительными повестями и житиями святых нет; по мнению многих исследователей, в "Прологи" эти повести попали "более всего из патериков и житий святых".¹

В силу последнего обстоятельства дальнейший анализ народных рассказов, основанных на поучительных повестях, входит в нашу тему как одна из ее составных частей, тем более, что и сам Л.Н. Толстой смотрел на поучительные повести и рассказы как на материал, абсолютно аналогичный житиям.

Поучительные повести и рассказы интересовали Л. Н. Толстого еще в 70-х годах — и не только как материал для художественных произведений, но и в личной духовной жизни. Любопытно проследить по письмам Л. Н. Толстого и по воспоминаниям его современников, как часто во второй половине жизни

1. Н. Петров, О происхождении и содержании славяно-русского Пролога (Иноземные источники), Киев, 1875, стр. 115-116.

писатель был под впечатлением того или иного проложного сюжета или образа. Вот, для примера, отрывок из письма Л. Н. Толстого к В. И. Алексееву (учителю старшего сына Толстых):

“Я был в это время болен и теперь совсем поправился. И, верите ли, жалею. Больным я был много ближе к Богу. Помните, есть житие монаха, который умер, но не успел помириться с врагом. Его там пожалели, что за это его нельзя впустить в лучшее место рая, и оживили его, чтобы он исправил это дело. Вот он и ожил в гробу и рассказывал, как там, в раю, было хорошо, какое великолепие, прохлада, дүхи райские везде, и как вдруг его из этих райских мест (когда решение было его оживить) повели на задний двор и на заднем дворе привели к вонючему гноюищу, яме и велели лезть туда, и как ему было ужасно видеть, нюхать, прикоснуться, не то что лезть. Но нечего делать, велели лезть. И он с отвращением влез. И, влезши, вдруг потерял отвращение и очнулся, и гноюище и было его самое тело.² Ну вот, я нечто подобное испытываю”.³

Устойчивый читательский и житейский интерес к поучительным повестям и рассказам вылился у Толстого, как это часто у него бывало, в интерес творческий, в результате чего и были написаны “народные рассказы”. Первым из них следует назвать “Два брата и золото”, написанный в 1885 г. и имевший очень близкое соответствие с проложным чтением, озаглавленным “Повесть святого Феодора, епископа Едесского о столпнице дивнем иже во Едессе”.⁴

Рукописи толстовского рассказа представляют собой две редакции и несколько черновых набросков. Из этих рукописей видно, что, начиная работу над рассказом, Л. Н. Толстой всемерно пытался переделать его первоисточник применительно к русской жизни, отчего в дальнейшем отказался, так что в окончательном тексте вернул действие из сибирского села в окрестности Иерусалима, где происходят события проложного чтения. Таким образом, сравнивать с проложным чтением как первоисточником

2. Легенда опубликована в “Славяно-русском Прологе”, чтение на 28 марта.

3. Л. Толстой, том 65, стр. III.

4. “Славяно-русский Пролог”, чтение на 7 января. В дальнейшем все цитаты из “Повести св. Феодора епископа Едесского...” даются по этому изданию.

следует текст второй редакции толстовского рассказа, поскольку именно этот текст наиболее близок к первоисточнику. Ознакомимся с сюжетом проложной повести.

Давно-давно, еще в первые века христианства, в земле Едесской жили два брата, Афанасий и Иоанн. Хотя братья жили в соседних пещерах, они общались только по воскресеньям — прочие же дни проводили в безмолвии, посте и молитвах. Однажды, когда они вышли собирать корни, которыми питались, Афанасий, вышедший немного позднее брата, увидел, что тот вдруг остановился, точно что-то его испугало, а затем бросился бежать назад в свою пещеру.

Афанасий с опаской подошел к тому месту, от которого бежал Иоанн, и увидел большую кучу золота. Он снял свой хитон, насыпал в него золото и унес к себе в пещеру сколько смог унести. Не сказав ничего брату, он пошел в город, купил большой дом, устроил в нем приют для странников и основал монастырь, а оставшиеся деньги роздал бедным. После этого он решил вернуться в свою пещеру.

Дорогой туда он стал "высокоумствовать", гордясь своими деяниями и осуждая брата за то, что тот не захотел сделать людям добро. Однако, преградивший ему дорогу ангел возгласил, что Афанасий недостоин даже видеть своего брата и обещал ему это лишь через пятьдесят лет покаяния и жизни на столпе, да к тому же соединение это было обещано лишь в "обителях небесных", а не на земле.

Как видим, идея проложной повести — отрицание богатства и благотворительности. Эта идея, близкая Толстому еще с начала 80-х годов, в период его знакомства с повестью об Едесском столпнике, воспринималась особенно остро: как раз тогда он работал над трактатом "Так что же нам делать?", одна из главных идей которого была та же. Прочитав повесть, писатель сразу принялся за ее обработку. Переработка оказалась существенной, хотя повесть и была ему по душе.

Первое отличие между первоисточником и переделкой встречается нас уже с начальных слов: в "Прологе" рассказ ведется от лица "некоего столпника" (одного из братьев) и обращен к епископу Феодору: ответ на его вопрос, сколько лет и по какой причине тот живет на столпе. Толстой же излагает события от

лица стороннего человека, автора повести, и потому начинает свое изложение не лирическим зачином, а обычной экспозицией рассказчика о том, что "в дальние времена недалеко от Иерусалима жили два родных брата".⁵

Последующий анализ толстовского рассказа показывает, что он имеет ряд отличий от первоисточника. Сравним, например, эпизод, который является завязкой всех событий повествования: находка братьями золота. Толстовский рассказ об этом несколько пространнее, имеет авторские пояснения, в нем раскрыта психология героев, их переживаний и поступков. При всем том психологический анализ в его рассказе краток и строг, фразы четкие и простые. Текст "Пролога": — "И во один день по пустыни разно себе ходяще, зелие собирающе, и узре аз брата моего внезапно ставша и крестообразно вообразивша и тако прескоча место и, бежав, в свое место влезе. И видех громаду злата просыпану".

Текст Л. Н. Толстого: — "В один понедельник, когда братья вышли на работу и разошлись уже в разные стороны, старшему брату, Афанасию, стало жаль расставаться с любимым братом, и он остановился и оглянулся. Иоанн шел, потупив голову, в свою сторону и не глядел назад. Но вдруг Иоанн тоже остановился и, как будто увидав что-то, пристально, из-под руки стал смотреть туда. Потом приблизился к тому, на что смотрел, потом вдруг прыгнул в сторону и, не оглядываясь, побежал под гору и на гору, прочь от того места, как будто лютый зверь гнался за ним.. Стал подходить он и видит, что-то блестит на солнце. Подошел ближе — на траве, как высыпана из меры, лежит куча золота беремени на два".

В проложной повести не объясняется, почему один из братьев старательно собрал золото. Сказано лишь, что он едва донес его и что брату о своей находке ничего не сказал. Читатель только из последующего текста узнает, куда пошло найденное золото. У Льва Толстого размышления Афанасия довольно длинны и для читателя вполне убедительны. (На золото он собирается творить добрые дела). Введение в

5. Л. Толстой, том 25, стр. 28. В дальнейшем все цитаты из рассказа "Два брата и золото" даются по этому изданию.

повествование этих размышлений — очень удачно, поскольку их несомненная первоначальная убедительность усиливает изумление читателя, когда внезапно открывается их абсолютная несостоятельность.

Дальнейшее повествование — о жизни Афанасия в городе и о его благотворительной деятельности переданы Л. Н. Толстым с кардинальными изменениями подлинника. Проложная повесть в этом месте написана невероятно сложно (особенно усложнен синтаксис), толстовский же рассказ не только упрощен, но и стилизован на народный лад. Это заметно в употреблении чисто фольклорных приемов, например, троичности (прожил Афанасий три месяца, осталось у него три тысячи золотых, построил он три дома, нашел трех благочестивых старцев и одного поставил начальствовать над приютом, другого — над больницей, а третьего — над странноприимным домом и т. д.).

Как именно Л. Н. Толстой упрощал текст проложной повести, можно легко проследить при анализе эпизода с явлением ангела после того, как Афанасий горделиво подумал, сколько добрых дел он совершил.

Текст "Пролога": — "Ангел, ярим воззрев оком, рече ми: "Почто славишися? Глаголю бо ти, яко весь труд твой толико времење здание; церкви и монастыря и все, еже сотворил еси, не сравняются ни единому скочению брата твоего, идеже обратную громаду злата прескочил есть, не бо злато прескочи, но оного богатого прескочи пропасть, якоже и убогий Лазарь, и легко во Авраамльское прииде место: он тщается Богови угодити, ты же человеком".

Текст Л. Н. Толстого: — "И только подумал это Афанасий, как вдруг видит, стоит на пути ангел и грозно глядит на него. И обомлел Афанасий, и только сказал: "За что, Господи?" И открыл ангел уста и сказал: "Иди отсюда. Ты недостойн жить с братом твоим. Один прыжок брата твоего стоит дороже тех твоих дел, которые ты сделал золотом твоим". И стал Афанасий говорить о том, скольких бедных и странных он накормил, скольких сирот пригрел. И ангел сказал ему: "Тот дьявол, который положил это золото, чтобы соблазнить тебя, научил тебя и словам этим".

Но кроме изменений отдельных эпизодов, выражений и

слов, Лев Толстой произвел также и некоторые изменения идейной направленности повести. Прежде всего, он стремился освободить свой рассказ от аскетических мотивов. Братья у него проводят время не в посте и молитве, а в помощи своим трудом вдовам, сиротам и больным. Его Афанасий не строит монастырь, а только больницу и приют для вдов, сирот, странников и нищих.

Характерна и переделка Л. Н. Толстым финала проложной повести. В "Прологе" прощение приходит к Афанасию не только (а, пожалуй, и не столько) после его раскаяния, но по выполнении им определенного "урока" — пятидесятилетнего стояния на столпе и созерцания того, как в загробном мире ангелы с радостью окружают души праведников, а бесы снуют взад и вперед возле грешников. А у Л. Н. Толстого Афанасий получает прощение не после пятидесятилетнего пребывания на столпе и уже после смерти (В "Двух братьях и золоте" стояния на столпе нет вообще), а сразу, как только он понял несправедность совершенного им и искренне раскаялся.

"И тогда обличила Афанасия совесть его, и познал он, что не для Бога делал он дела свои, и он заплакал, и стал каяться. Тогда отстранился ангел с дороги и открыл ему путь, на котором уже стоял Иоанн, ожидая брата. И стали братья жить по-прежнему, то есть трудами рук своих служить Богу и людям".

В "Прологе" находит себе параллель и другой рассказ Льва Толстого — "Чем люди живы", написанный несколько раньше (в 1882 г.). Натолкнул писателя на сюжет этого рассказа сказитель Олонецкого края Василий Петрович Щеголенок, с которым он познакомился в марте 1879 г. в Москве, у известного фольклориста Е. В. Барсова. Как раз в этот период Щеголенок, работая с Е. В. Барсовым, П. Н. Рыбниковым и А. Ф. Гильфердингом, "сказывал" им для записи русские былины (с его слов было записано более 3000 былинных стихов). Льву Толстому В. П. Щеголенок показался "интересным", "очень умным и хорошим стариком" и он пригласил сказителя в Ясную Поляну. Василий Петрович приехал к Толстым в июне и пробыл у них (с перерывами) до августа, постоянно что-нибудь рассказывая.

В дневнике и записных книжках Льва Толстого за эти месяцы

можно найти записи, сделанные со слов Шеголенка новые для писателя слова и выражения, пословицы и поговорки, а также целые легенды. Некоторые из этих легенд Лев Толстой впоследствии положил в основу своих рассказов. Таковы рассказы "Два старика", "Три старца", "Корней Васильев", "Молитва", "Старик в церкви", а также уже названный рассказ "Чем люди живы".

Легенда, положенная в основу последнего рассказа, имеет долгую историю, восходя к древнему восточному источнику. Попав с Востока и в западные, и в славяно-русскую литературы, эта легенда в каждой из них изменилась в соответствии с национальными особенностями среды бытования, ее литературными традициями и целями, которым она должна была служить.

На Руси она вводится в сборники церковно-учительного содержания, в том числе и в "Славяно-русский Пролог". Она называется там сказанием "О судах Божиих неиспытанных" и помещена под 21 ноября. В составе этих сборников она представляла готовый материал для художественной обработки писателями, с другой же стороны, являлась книжным источником для народных легенд, которые, в свою очередь, продолжали жить и видоизменяться соответственно условиям поэтического творчества в народной среде.

Во Франции эта легенда стала источником романа Вольтера "Задиг, или Судьба", в Англии — новеллы Парнелла "Пустынники ангел", в России — рассказа Льва Толстого "Чем люди живы", а также многочисленных устных сказаний. Так, А. Н. Афанасьев в своем сборнике легенд приводит устный вариант этой легенды, записанный в Воронежской губернии и озаглавленный (как и легенда В. П. Шеголенка) "Архангел".⁶

Любопытно, что со слов В. П. Шеголенка легенда была записана не только Л. Н. Толстым, но и безымянным священ-

6. А. Афанасьев, "Русские народные легенды", Москва, 1859, стр. 88-90. Толстой, конечно, знал афанасьевский вариант легенды, но при работе над рассказом "Чем люди живы" никак его не использовал. Н. С. Лесков, сравнивавший оба произведения, писал: "В афанасьевской легенде нет почти ничего того, что написано в сказке "Чем люди живы": ни сапожника, ни дратвы, ни барина с крепким лбом". (Н. Лесков, Собрание сочинений в 11 томах, Москва, 1956-1958, т. XI, стр. 453).

ником из Кижей. Таким образом, мы имеем четыре варианта легенды: проложная повесть, две записи со слов Щеголенка (сделанные Кижским священником и Львом Толстым) и рассказ "Чем люди живы". Их сравнение говорит о том, что к проложной повести близка лишь запись священника, легенда же Щеголенка и рассказ Толстого отошли от нее, главным образом из-за художественной отделки.

Запись, сделанная Кижским священником, имеет ярко выраженную назидательно-религиозную направленность содержания и сухую манеру изложения. В тексте нет ни наивности и образности народного устного сказания, ни (с другой стороны) совершенства художественного произведения, в котором бы чувствовалась рука мастера. Вот наглядное сравнение.

Текст В. П. Щеголенка в записи священника:

"Шьет день, шьет неделю, шьет месяц и год. Говорит мало, а все шьет и шьет, никуда не ходит, только в праздничные дни ходит в церковь к утрени и обедне, а то и к вечерне, — и никогда не смеется, только раз в течение года заметил хозяин, что он улыбнулся".⁷

Текст В. П. Щеголенка в записи Л. Н. Толстого: — "Много показывать не нужно (в сапожном ремесле). Год вскружился. Раз ухмылил подмастерье".

Текст рассказа "Чем люди живы": — "Какую ни покажет ему работу Семен, все сразу поймет. Только и видели раз, как он улыбнулся. День ко дню, неделя к неделе, вскружился год".

Очень интересно проследить на процитированных отрывках отношение тех, кто их записывал, к народным выражениям В. П. Щеголенка "год вскружился" и "ухмылил подмастерье". Священник передал их совершенно нейтральной городской лексикой (а второе выражение даже с некоторым налетом канцеляризма): "... шьет неделю, шьет месяц и год" и "только раз в течение года он улыбнулся". Л. Н. Толстой, делая запись непосредственно за рассказчиком, отметил оба непривычных для горожанина слова, однако, в процессе работы над рассказом

7. Цитирую по книге: А. Пономарев, "Памятники древнерусской церковно-учительной литературы", СПб, выпуск 2, 1896, стр. 216-217.

одним из них пожертвовал: по-видимому, писатель опасался, что слово "ухмылил" может вызвать представление об иронии, насмешке, да и слишком уж густа была бы стилистическая окраска для городского уха. Впрочем, и после удаления этого слова Толстой не был уверен, что все его читатели поймут оставшееся народное выражение и поэтому поставил его в окружение слов, которые подготавливали его точное восприятие: "День ко дню, неделя к неделе, вскружился и год".

Хотя Л. Н. Толстой сохранил легенде ее "легендную сущность", он явно работал над тем, чтобы создать в рассказе иллюзию реальности изображаемых в нем событий. Достиг он этого нагнетением в текст большого числа бытовых деталей, крестьянских слов и простонародных обычаев. Кроме того, он вставил повествование об ангеле в обрамление из совершенно реалистических начала и окончания.

Вот каково начало толстовского рассказа: "Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире. Ни дома своего, ни земли у него не было, и кормился он с семьей сапожной работой".

После такого реалистического вступления повествование приобретает стилистические черты легенды, которая оканчивается рассказом о вознесении ангела на небо. Затем вновь — возвращение к сугубо реалистическому стилю: изба затряслась, Семен, его жена и дети попадали от страха на землю, а "когда очнулся Семен, изба стояла по-прежнему, и в избе уже никого, кроме семейных, не было".

Уже упоминалось, что при работе над рассказом "Чем люди живы" Л. Н. Толстой использовал только легенду, записанную со слов В. П. Щеголенка, хотя и был знаком с проложной повестью. Во всяком случае, писатель не только не воспользовался характерными оборотами языка, образной системой и прочими элементами проложной повести, но даже идейное направление этого произведения изменил.

Хотя идея проложной повести — неисповедимость воли Божией — в толстовском рассказе сохранена ("людям не дано знать, что им нужно для жизни"), но она приобретает здесь подчиненное положение. На первый же план выдвигается мысль о необходимости для людей обладать внутренней чистотой, любовью ко всем людям. Сам Л. Н. Толстой эту мысль выразил

следующим образом: "Живы все люди тем, что есть любовь в людях".

Вспомним, как сместил Л. Н. Толстой идейные акценты проложного первоисточника при работе над рассказом "Два брата и золото" и увидим, что, работая над рассказом "Чем люди живы", писатель сделал то же самое и с наименьшей решительностью. Из дальнейшего текста читатель может убедиться, что эти изменения являются проявлением общего творческого подхода Л. Н. Толстого к первоисточникам при их обработке (в 80-х и 90-х гг.).

Примерно ту же мысль, что в рассказе "Чем люди живы", Л. Н. Толстой положил в основу рассказа "Где любовь, там и Бог" (1885 г.). Своим непосредственным источником толстовский рассказ имеет рассказ французского священника и писателя Рубена Сайяна "Le père Martine" (точнее — источником послужил анонимный русский перевод рассказа Р. Сайяна, напечатанный в религиозно-нравственном журнале "Русский рабочий").

Связь между произведением Л. Н. Толстого и журнальным рассказом совершенно очевидна даже при беглом знакомстве. К тому же и сам Л. Н. Толстой признал рассказ "Le père Martine" источником своего произведения, когда в октябре 1888 г. писал его автору: "Рассказ "Где любовь, там и Бог" есть не что иное, как перевод и приспособление к русским нравам вашего чудесного рассказа "Le père Martine". Рассказ мне очень понравился; я лишь немного изменил стиль и прибавил несколько сцен".

В то же время нет никаких сомнений, что, работая над переработкой журнального текста, Л. Н. Толстой мысленно обращался к прочитанным в последние годы проложным повестям и рассказам, развивающим мысль о том, что те, кто помогают ближним своим и дают милостыню нищим, тем самым "Христу в рuce дают". На эту тему написана, например, проложная повесть "О некоем игумене, его же искуси Христос во образе нищего".

В повести рассказывается, как к игумену, который прежде был "нищелюбив, последи же славолюбив", явился сам Христос под видом нищего и, убедившись в перемене, происшедшей в игумене, лишил его своей благодати. "Не удобь есть вельбуду

сквозь иглине уши пройти, ни богату в царство небесное"⁸. — заключает автор свое повествование.

Столь же проблематичной, как у рассказа "Где любовь, там и Бог", является связь с агиографическим произведением и у рассказа "Три старца" (1886 г.). Лев Толстой записал рассказ со слов В. П. Щеголенка, однако, этому сюжету можно найти соответствие и в древней русской письменности, даже в нескольких источниках. Правда, ни с одним из этих источников у легенды Толстого нет полного совпадения (сюжет является типичным примером "бродячего"), однако, основные идеи, "дух" их совершенно одинаковы.

Между тем, именно это в свое время и оспаривалось как критикой, так и властями. Рассказ был опубликован в мартовской книжке журнала "Нива" и тотчас же попал под обстрел недоброжелателей, обвинивших автора в "дурном направлении". Дурным оно было потому, что Л. Н. Толстой приписал своим старцам, не знавшим ни одной молитвы, и святость, и дар творить чудеса, из чего выходило, что при желании человек "может спасти себя сам, помимо пастырей церкви".

Критика так раздула "антицерковную идею" "Трех старцев", что, когда через год Толстой хотел издать легенду отдельной книжкой, цензура не разрешила. "Защитники" писателя не нашли ничего более веского, как оправдать его "отсутствием основательных познаний в богословии". Только Н. С. Лесков выступил с подлинной защитой Л. Н. Толстого — и от его критиков, и от его "защитников". Свою защиту в статье "Лучший богомолец" он начинает с выступления именно против "защитников".

"Граф Лев Толстой хорошо знает все то, что в наших специальных журналах называется богословием. И он, очевидно, знает еще гораздо больше этого".

В своей статье Н. С. Лесков утверждает, ссылаясь на свидетельство известного романиста Г. П. Данилевского, побывавшего незадолго до того в Ясной Поляне, что для Л. Н. Толстого "Пролог" является настольной книгой и что именно из "Пролога" Л. Н. Толстой берет "темы, дух, тон и направление" своих

8. "Славяно-русский Пролог", чтение на 18 октября.

народных рассказов. Чтобы показать читателям, что представляют собой в действительности проложные повести, Н.С. Лесков пересказывает в своей статье проложное "Слово от Лимониса о Мурине дровосече", а также отрывки из "повествования Памвы" и из повести, помещенной в "Прологе" под 8 сентября.

В заключение Н. С. Лесков пишет, что тема рассказа Л. Н. Толстого — та же, что и тема нескольких проложных житий и что "нет ничего дурного в том, что простолюдинам предлагаются нравственные повествования, схожие с историями, заимствованными из "Пролога" — из книги, назначаемой церковью для благочестивого и назидательного чтения".

Почти одновременно с "Тремя старцами", в 1886 г., Л. Н. Толстой написал рассказ "Много ли человеку земли нужно". Агиографическую основу рассказа точно определить невозможно, хотя он и имеет много совпадений с "Житием святителя Леонтия Ростовского" (чтение на 23 мая) и "Житием преподобного Авраамия Ростовского" (чтение на 29 октября). Впрочем, еще Геродот рассказывает в своей "Истории" (книга IV, глава 7) скифское предание о предоставлении земли некоему обреченному человеку — столько, сколько он может объехать на коне. Рассказ "Крестник" (1886 г.) очень соблазнительно вывести из проложных чтений — некоторые из них имеют с ним много одинаковых моментов. Так, "Слово еще не осуждати никогоже" (чтение на 5 сентября) рассказывает, как некий князь купил отрока, "скифина родом", и отослал его для крещения к некоему пресвитеру. Вскоре после возвращения отрока с крестин князь послал его за крестным. Отрок нашел в церкви пресвитера, но это был совсем другой человек. Крестивший же его, "яко молнию имаше лице и светился яко солнце", исчез. Оказалось, что отрока крестил сам Господь, чтобы не дать совершить этот обряд пресвитеру, на которого была наложена эпитимия, запрещающая совершать церковные таинства.

А в проложном рассказе "О монахе Иоанне Колове" есть соответствие другому эпизоду толстовского рассказа — об искуплении крестником своих грехов. В "Крестнике" Л. Н. Толстой пишет о том, что старец приказал крестнику во искупление грехов, зарыв в землю "три сухих чурака", носить во рту из-под

горы воду и поливать их, пока из них не вырастут три яблони. Вот как этот эпизод — с рассказом и о самом грехе Иоанна — передается в "Прологе":

Однажды Иоанн сказал своему брату Даниилу, с которым он подвизался в подвиге, что отныне не желает заботиться о своем теле и потому не будет ни пить, ни есть, а станет "жить, как ангел в пустыне". "Снем ризы, наг", он ушел из кельи и побрел, куда глаза глядят. На беду его в ту ночь ударил сильный мороз, и Иоанн, не вытерпев стужи, вернулся. Покаявшись в своей самонадеянности, он ушел к некоему старцу Павлину, прислуживал ему и обещал слушаться его во всем. Тогда старец взял "сухо древо, потче на горе, и рече ему: "По вся дни напой корчагою воды, дондеже плод сотворит". Бе же далече их вода, до вечера итти и приити заутра. И по три лета сотвори се и оживе древо, и принесе плод его. Старец же в церкви братии глаголя: "Примите и ядите, се есть плод послушания".

Легенду, подобную толстовскому рассказу, излагает и апокриф "Повесть о сыне крестном, како Господь крестил младенца убогого человека". Впрочем, как ни близки отдельные элементы толстовского рассказа к тому или иному произведению древнерусской литературы, его источник следует искать в сборнике А. Афанасьева "Русские народные легенды", с чтения которого началась работа Л. Н. Толстого на рассказом "Крестник". Но и в сборнике А. Афанасьева нет одной определенной легенды, которую можно было бы считать исходной в работе писателя — по видимому, таких легенд было две: "Грех и покаяние" и "Крестный отец".

Недаром, читая сборник А. Афанасьева в поисках сюжетов для своих народных рассказов, Л. Н. Толстой жаловался одному из собеседников, что не находит сюжетов, которые он мог бы использовать полностью: "Все в обломках — один обломок здесь, другой надо искать в другом месте. Если составить как следует эти обломки, что может выйти!"

В сборнике А. Афанасьева обнаружил Л. Н. Толстой и еще одну легенду, которая была основана на древнерусской религиозно-нравственной повести и произвела на него сильное впечатление — "Повесть о царе Агее и како пострада гордостью". Писателю захотелось сделать драматическую обработку

повести, и он довольно много трудился, используя также и другой источник — запись устного пересказа легенды, носящей заглавие "Гордый богач".

Работа продолжалась до начала апреля 1886 г., когда Толстой получил письмо от В. Г. Черткова, ведущего работу издательства "Посредник". Между другими московскими новостями В. Г. Чертков, не знавший о работе Толстого над "Драматической обработкой легенды о гордом Аггее", сообщил: "Гаршин написал прекрасно "Правителя Аггея". Он вложил туда все то хорошее, чем он владеет — теплоту, нежность. Он сначала появится в "Русской мысли", и мне очень интересен ваш отзыв".

Отзыв этот Л. Н. Толстой высказал В. Г. Черткову, по всей вероятности, при личной встрече — во всяком случае, до нас он не дошел. Однако, как именно оценил писатель гаршинский рассказ, мы можем судить по тому, что сразу же по его прочтении работу над собственной переделкой легенды о гордом Аггее он прекратил.

Чтобы закончить анализ произведений Л. Н. Толстого, созданных под влиянием древнерусской агиографии, нам остается побеседовать лишь о рассказе "Отец Сергей", задуманном автором в январе 1890 г. и писавшемся с перерывами несколько лет. (Готовым к печати писатель его так никогда и не считал, и опубликован рассказ был лишь после его смерти, в 1911 г.).

Впервые Л. Н. Толстой упомянул название "недавно задуманного рассказа" в разговоре с В. Г. Чертковым (перед отъездом того из Ясной Поляны 29 или 30 января 1891 г.). Вероятно, именно потому, что этот пересказ был устным, да к тому же с прибавлением обещания пересказать "сюжет в письме, чтобы не забыть", возник слух, что этот сюжет Толстой увидел во сне. Слух циркулировал довольно упорно, особенно потому, что о нем (уже как о бесспорном факте) упомянул в своей биографии Толстого П. И. Бирюков.⁹

9. П. Бирюков, "Биография Льва Николаевича Толстого", Москва, том III, 1922, стр. 135. К сожалению, миф о явлении сюжета во сне не умер до сих пор. Он попал, в частности, и в весьма интересную статью Р. Плетнева "Отец Сергей" и "Четыре Миней", опубликованную в 1955 г. в "Новом журнале" № 40.

Между тем, нет никакого сомнения, что рассказ написан совсем не под влиянием сновидения, а на основании внимательнейшего изучения "Жития святого Иакова Пустынника" (или Постника). Этот первоисточник не исключает и существования живых прототипов образа о. Сергия. Отдельные черты внешности, характера или жизненных коллизий героя рассказа взяты писателем у знакомых ему Булатовича, Дурылина, Черткова, у себя самого. Главная идея "Жития св. Иакова Пустынника" — необходимость смирения и всепобеждающая сила покаяния.

Вот каково содержание этого жития. Неподалеку от города Порфирнона в Финикийской стране подвизался некий отшельник по имени Иаков. Жил он в пещере, строго придерживался постной пищи и получил за свою чистую жизнь дар исцеления от болезней и изгнания бесов. Благодаря этому его широко посещали "как верующие христиане, так и неверные самаряне". И вот, один из самарян по наущению дьявола решил соблазнить святого, воспользовавшись для этого услугами блудницы. Та пришла к его дому, стучала в дверь и просила впустить ее внутрь. Старец медлил, а когда, наконец, приоткрыл дверь и увидел женщину, то решил, что это — дьявольское привидение. Он снова захлопнул дверь и стал на молитву, надеясь, что Господь прогонит злого духа. Наступила полночь, а женщина все стучала и взывала: "Смилуйся надо мной, ты уже показал, что ты воистину раб живого Бога! Отвори мне дверь, чтобы не сделатьсь мне у твоей двери пищею хищников".

Старец, наконец, прислушался к ее мольбам и спросил, кто она и что ей нужно. Ответила она так: "Я из монастыря девического и была послана игуменьей в город ради некоторых надобностей. На возвратном пути объяла меня темная ночь, заблудилась я и пришла сюда. Умоляю тебя, человек Божий, смилуйся надо мной и не допусти, чтобы растерзали меня дикие звери у самых твоих дверей. Разреши мне эту ночь пробить у тебя, пока не засияет новый день, когда отправлюсь я в свой путь". Старец пожалел женщину и впустил ее. Он предложил ей хлеба и воды и, оставив ее во внешней келье, сам заперся во внутренней.

Через некоторое время блудница начала стонать и, заявив, что она больна, стала просить о помощи: "Молю тебя, святой отец, помоги мне, огради крестом, ибо страшно болит мое серд-

це". Старец вышел к ней и начал растирать ее грудь елеем. Желая вызвать в старце похоть, женщина просила мазать и согревать ее грудь сильнее. Отшельник исполнил ее желание, но, чтобы не пробудилась в нем похоть, сжигал на огне свою левую руку — пока его пальцы не упали в огонь. Увидев это, блудница ужаснулась и, бросившись к его ногам, стала умолять святого простить ее. Тот простил ее и отослал к епископу, который, оставив ее, поместил в девичий монастырь.

Через некоторое время некая девушка, обуянная злым бесом, начала призывать имя Иакова. Девушку привели к святому, он ее исцелил, после чего сотворил еще много исцелений, и слава его разнеслась очень широко. Старец испугался тщеславия и переселился в другую пещеру, где прожил много лет, питаясь только зеленью.

Понемногу отшельник стал гордиться своей славой, и дьявол, воспользовавшись этим, наслал на него искушение. Дьявол стал говорить дочери некоего богача, которая была им одержима, что оставит ее только по слову святого Иакова. Девушку привезли к святому, и он ее исцелил, а затем, по желанию родителей, оставил у себя еще на три дня.

Хотя ранее отшельник, будучи еще молодым, сумел победить себя, теперь, под влиянием дьявольского искушения, изнасиловал девушку и к тому же, испугавшись, что она все расскажет родителям, убил ее. Затем он бежал, впал в отчаяние, скитался и, наконец, покаялся. Постепенно Господь стал прислушиваться к его мольбам, и он достиг великой святости.

Даже простой пересказ "Жития св. Иакова Пустынника" не оставляет сомнения, что именно оно положено в основу значительной части рассказа "Отец Сергей" — повторяются не только события, но и многие подробности жития. Совпадают даже такие мелочи, как внешняя непривлекательность дочери богатых родителей и Марьи.

Есть в "Житии св. Иакова Пустынника" несколько эпизодов, которые хотя и играют в нем важную роль, однако, в тексте рассказа "Отец Сергей" отсутствуют. В его первых редакциях эти эпизоды не только присутствовали, но и были там совершенно необходимы. Наиболее яркий из них — повествование о периоде жизни героя между грехопадением и бегством от монашества. В

житии это — убийство дочери богатых родителей. То же мы читаем и в первых редакциях толстовского рассказа, где о. Сергей убивает дочь купца.

В окончательной редакции о. Сергей только замышляет убийство, но оно не может состояться — по случайности: "Она расскажет, — подумал отец Сергей. — Она — дьявол. Да что же я сделаю? Вот он, тот топор, которым я рубил палец". — Он схватил топор и пошел в келью.

Келейник встретил его.

— Дров прикажете нарубить? Пожалуйте топор.

Он отдал топор. Вошел в келью. Она лежала и спала. С ужасом взглянул он на нее".

Думается, что Толстой исключил это убийство из окончательного текста потому, что в конце рассказа ему предстояло возродить о. Сергия, и обременение его совести еще одним, и таким тяжким грехом значительно усложняло авторскую задачу, ибо отвлекало читателей от главного.

Вероятно, по той же причине Толстой не обременяет свое повествование рассказом о намерении о. Сергия убить себя, намеки на что есть и в "Житии св. Иакова Постника", и в редакции рассказа 1891 года. В окончательной редакции рассказа осталось лишь упоминание о намерении о. Сергия утопиться или повеситься, которое он не в силах исполнить.

Не включив несколько эпизодов из "Жития Иакова Постника" в окончательный текст рассказа, Л.Н. Толстой дополнил повествование рядом эпизодов, хотя и отсутствующих в житии, однако, типичных для агиографической литературы. Наиболее характерный из них — явление ангела о. Сергию, когда он заснул, наконец, измученный мыслями о своем грехопадении и ненужности дальнейшей жизни.

"Иди к Пашеньке, — указал ангел, — и узнай от нее, что тебе надо делать, и в чем твой грех, и в чем твое спасение". Он проснулся и, решив, что это было видение от Бога, обрадовался и решил сделать то, что ему сказано было в видении".

Интересно отметить, что в самом тексте толстовского рассказа есть ссылка на житие преподобного Иакова, правда, без упоминания имени святого. Я имею в виду рассуждение о. Сергия в момент его колебаний, выйти ли к симулирующей болезни

Маковкиной:

”Да, я пойду, но так, как делал тот отец, который накладывал одну руку на блудницу, а другую клал в жаровню. Но жаровни нет... Лампа”.

Думаю, что произведение Толстого является переработкой ”Жития св. Иакова Постника” и приведенные доказательства убедительны. И все же утверждать безапелляционно, что рассказ основан на житии — значило бы несколько упрощать дело.

Прежде всего потому, что сюжет рассказа — шире сюжета жития. В рассказе, например, целых две главы посвящены изложению событий жизни князя Стивы Касатского (будущего о. Сергия) до пострига — учение, гвардейский полк, блестящая карьера, предполагаемая женитьба, уход в монастырь — все, что дает представление о жизненных интересах героя, его стремлениях, его характере, то есть о том, что помогает читателям глубже оценить психологию его поступков после пострига.

Но не только сюжет рассказа шире сюжета жития — шире и его идейное содержание. Недаром писатель много раз заявлял, что его произведение ”не только”, ”не столько”, ”не совсем” о чувственности (как сперва решили его друзья: нечто, вроде ”Крейцеровой сонаты”).

Конечно, вопросы чувственности, половых отношений интересовали Л. Н. Толстого в течение всей жизни — в разные годы разными своими сторонами. Продолжали они его интересовать и в 90-ые и в 900-ые годы. Однако, с возрастом все большее место в размышлениях писателя стала занимать другая — тоже очень давно волновавшая его проблема — проблема славолубия, или, как ее называл сам Толстой, ”мысль о славе людской”.

Друзья-единомышленники писателя воспринимали его духовную жизнь упрощенно, недооценивали ее мучительный характер, и даже самые близкие из них считали главным в духовной жизни Толстого то, что было главным для них самих, а для него давно уже стало второстепенным.

В. Г. Чертков, например, первым услышавший от Л.Н. Толстого о замысле ”Отца Сергия”, понял его так, что тема рассказа — чувственность, к тому же в практически-назидательной трактовке. Именно потому еще в самом начале работы над рассказом он так настойчиво просил закончить его хотя бы ”не в лите-

ратурной форме, а в форме простого рассказа для нескольких друзей, чтобы они получили духовную помощь в борьбе с чувственностью”.

Л.Н. Толстой всегда решительно возражал против подобного понимания рассказа “Отец Сергей”; возразил он и на это чертковское письмо: “Борьба с похотью тут — эпизод, — писал он, — или, скорее, одна ступень; главная борьба — с другим: со славой людской”.

А через месяц, 14 марта, в письме к одному из поборников толстовских коммун В.П. Золотареву, писатель, осуждая “внешность этих коммун” и утверждая необходимость “итти в своих требованиях дальше”, заявляет, что “чувствует в себе потребность деятельности только для Бога с исключением всего того, что во всякой деятельности есть личного и тщеславного. Вы спрашиваете о моей истории Отца Сергия, — продолжает Толстой. — Там я хотел бы выразить эти две различные основы деятельности. То он думает, что живет для Бога, а под эту жизнь так подставилось тщеславие, что Божьего ничего не осталось, и он пал; и только в падении, осрамившись навеки перед людьми, он нашел настоящую опору в Боге. Надо опустить руки, чтобы стать на ноги”.

С первых же страниц рассказа читатель встречается с эпизодами, из которых понимает, как много значит для князя Стивы Касатского “забота о славе людской”. Читатель перелистывает несколько страниц — князь Касатский превращается в отца Сергия, но из поступков монаха, из его слов и жестов, из комментирующих авторских реплик (иной раз почти навязчивых) он убеждается, что и в монашестве герой не преодолел славолубия.

Не преодолел, совсем не преодолел! Хотя почти никогда не понимал этого сам. Только в конце рассказа, бежав от подвижничества и поселившись у приятельницы своего детства Пашеньки, кроткой, безответной и жертвенной женщины, он вдруг понял: “Я жил для людей под предлогом Бога, она живет для Бога, воображая, что она живет для людей. Да, одно доброе дело, чашка воды, поданная без мысли о награде, дороже благодетельствованных мною людей. Но ведь была доля искреннего желания служить Богу?” — спрашивал он себя, и отвечал, беспощадно себя осуждая: “Да, но все это было загажено, заросло

славой людской. Да, нет Бога для того, кто жил, как я, для славы людской. Буду искать его”.

И о. Сергей вновь уходит от мирской суеты, но это уход не от людей. Он совершает одно доброе дело за другим, но теперь он не только не ждет благодарности за свое служение, но и не принимает ее. “И понемногу Бог стал проявляться в нем”.

Таким положением в рассказе темы борьбы со славолубием Л.Н. Толстой резко сдвигает акценты “Жития св. Иакова Постника”. Этот сдвиг тем более заметен, что в толстовском рассказе сильно ослаблено внимание к религиозно-церковной стороне изображенных в нем событий. Недаром С. Булгаков писал, что “при всей православной внешности о. Сергия из него удалены все действительные элементы православного старчества. Даже в монастырь он поступает не из любви к Богу и стремления к единению, но по мотивам поруганной гордости, как бы мстя кому-то”.¹⁰

Критики сразу заметили эту недоработанность религиозно-церковной темы в рассказе. Одни писали, что в нем “могущество дьявола показано неодолимым”, в силу чего “монашество не удовлетворяет монаха”, и это естественно отодвигает религиозно-церковную тему на задний план; другие писали, что автор недостаточно компетентен в религиозно-церковных вопросах — в такой степени, что даже допускает “смещение двух совершенно разных понятий — монашеского пострига и священнического рукоположения”; третьи писали, что в рассказе проявляется “забвение основ христианства”, и это делает его “неправдивым и полным внутреннего безбожия”...

Одни из авторов этих (и подобных им) обвинений были правы, другие судили слишком субъективно или подходили к вопросу недостаточно широко, но никто из них не отметил того, что для нас, исследующих связи произведения литературы XIX века с древнерусским житием, особенно важно, что Л.Н. Толстой, используя в своей работе агиографический сюжет и

10. С. Булгаков, “Человекобог и человекозверь”. — “Вопросы философии и психологии”, 1912, кн. II, стр. 55.

житийный характер героя, даже не попытался стать на позиции агиографа, создавшего этот сюжет и этот характер.

После всего сказанного подведем некие итоги. Прежде всего следует отметить, что интерес к агиографическим произведениям Древней Руси у Л.Н. Толстого был устойчивым, возникнув в конце 60-ых годов и продолжаясь, в сущности, до конца его жизни. Однако, отношение писателя к агиографии, как к первоисточнику его собственных произведений, в течение этих десятилетий в корне изменилось.

Если в 60-х и 70-х годах его переводческим кредо был буквализм и осторожность в обращении с текстами житий граничила с педантизмом, то уже в 80-е годы он допускал в своих обработках агиографических произведений весьма решительные и разнообразные изменения.

Конечно, некоторые из этих изменений были вызваны лишь необходимостью приспособить произведения средневековой литературы к вкусам и взглядам читателей XIX века; вполне закономерно, что в ходе этой процедуры первоисточник должен был потерять отдельные специфические древнерусские элементы и приобрести элементы, присущие новой художественной литературе.

Но дело было не только в этом. Дело, главным образом, было в том, что, начиная с 80-х годов, интерес Л.Н. Толстого к эстетической стороне древнерусской литературы резко уменьшился и был едва ли не полностью заменен интересом писателя к ее этической стороне. Об итоге этого внутреннего процесса, приведшего Л.Н. Толстого к сугубо моралистической оценке и всех жизненных явлений, и явления литературы, в том числе агиографической, он сам ясно написал в "Исповеди":

"Сближался я с народом, слушая его суждения о жизни, о вере, и я все больше и больше понимал истину. То же было со мной и при чтении "Четьи Минеи" и "Пролога". Исключая чудеса, смотря на них, как на фабулу, выражающую мысль, чтение это открывало мне смысл жизни".

Таким образом, перерабатывая во второй половине своего творчества житие святого или проложную повесть, Л.Н. Толстой мог отбросить казавшиеся ему совсем несущественными (а с точки зрения автора-агиографа очень и очень существенные,

но противоречившие толстовским взглядам) эпизоды, соединить воедино эпизоды из разных произведений, дописать от себя то, что никогда не могло бы появиться из-под пера средневекового монаха, даже изменить идейную направленность первоисточника на прямо противоположную.

Недаром один из видных исследователей древнерусской письменности, известный своим пietetом перед ее текстами, А.И. Пономарев возмущался тем, что Л.Н. Толстой и его последователи заимствовали из проложных повестей и народных легенд "только фабулу, а смысл и освещение содержания даются у них уже прямо в духе проповедуемого ими противоцерковного учения".¹¹

И все же обращение Л.Н. Толстого к агиографическим произведениям сыграло для русской культуры положительную роль. В этом плане интересно свидетельство Н.С. Лескова (тем более важное, что Н.С. Лесков не вполне одобрял характер толстовской работы над житиями), который утверждал, что именно "благодаря Льву Толстому русское образованное общество теперь понемногу знакомится с легендами византийского происхождения".¹²

А. Опудский

11. А. Пономарев, "Памятники древнерусской церковно-учительной литературы". Вып. II. СПб, 1850, стр. 217.

12. Н. Лесков, "Собрание сочинений в 11 томах, том 8, стр. 580.

Не сегодня, так завтра здесь выпадет снег,
Наша осень ушла без следа,
Лишь умерших друзей снова снится набег, —
На свиданье пришли, как тогда.

Огонек не угас, но хозяина нет
И хозяйка давно уж не та...
Только в доме осталась от прожитых лет
Теплота

Екатерина Таубер

“Я любил на земле все краски,
Все цветы и лесную тишь.
Мед осенний, густой и вязкий,
Шелестящий речной камыш;

Теплоту пушистого зверя,
Беззащитные почки весны,
Дружбе каждого дерева верил,
Пожимал лапу сосны.
Одиночество жизни нищей
Принимал... Вот и ты прими!”

— То в моем опустевшем жилище
Голос друга, тепло семьи.

Екатерина Таубер

ПАМЯТЬ ДУШИ И СЕРДЦА

"Я унес Россию так же как и многие мои соотечественники, у кого Россия жила в памяти души и сердца"

Роман Гуль

I

Пытаясь откликнуться на выход первых двух томов трилогии "Я унес Россию", я сразу же почувствовала, что не могу сделать этот отзыв кратким, как того обычно хочет редактор. Эти книги Романа Гуля необычайно компактны: каждая глава, каждая страница так полна фактами, наблюдениями и мыслями автора, что хочется обратить внимание читателей на содержание каждого отрезка воспоминаний, часто имеющих большое историческое значение.

Открыв первый объемистый том, "Россия в Германии", читатель сразу же невольно превращается в собеседника автора — кажется, что слушаешь живую речь человека, прожившего долгую и интересную жизнь, и делящегося всем, что сохранила его поистине великолепная память. Пользуется автор для этого разговорным языком, часто темпераментным, со множеством отступлений, делающих книгу совершенно своеобразной. К тому же надо сказать, что Роман Гуль повествует о многом, чего большинство читателей уже не знает, не успело пережить или увидеть собственными глазами. Поэтому рассказываемое автором представляет огромный интерес.

Роман Гуль. Я унес Россию. Апология эмиграции. т. I. "Россия в Германии", 382 стр. с илл.; т. 2. "Россия во Франции", 351 стр. с илл. Нью-Йорк, Изд-во "Мост", 1984.

Выбор названия книги автор объясняет так: "Я унес *свою*, настоящую Россию, а в поддельной жить не хочу". И эту "свою Россию" Гуль пронесит по трем странам, где ему довелось жить в эмиграции. Роман Гуль предупреждает читателей: "Я не пишу историю русской эмиграции ... Хотя жаль, что она еще не написана. Но хочу, чтоб моя книга была неким *справочником* по истории зарубежной России. Разумеется, мой справочник будет субъективен. Это неизбежно, как почерк... Дам не только (зарубежную) биографию мою и мой семьи, но и общий, чисто фактический фон".

Ярко рассказав о своей семье и предках, автор, естественно, счел нужным познакомить читателей и с тем, "кто пишет эту книгу". И здесь особенно показателен предельно откровенный рассказ о том, почему студент юридического факультета Р. Гуль, призванный в армию, произведенный в 1916 г. в прапорщики, участвовавший, согласно послужному списку, "в боях и походах против Австро-Венгрии", счел необходимым принять участие в Белом движении, а позже ощутил столь же настоятельную потребность уйти из него. Проделав вместе с братом "Ледяной поход" в рядах Корниловского Офицерского Ударного полка, раненый в бою, он после ухода из Белой армии очутился в Киеве, где был призван в войска гетмана Скоропадского, взят в плен петлюровцами и, вероятно, погиб бы, если бы немецкое командование не вывезло пленных Педагогического музея (после памятного старым киевлянам взрыва) в Германию, в лагерь, откуда Русская Военная миссия направляла желающих на фронты гражданской войны.

Гуль от дальнейшего участия в гражданской войне отказался. Причина была не только политическая, но, как он подчеркивает, и душевная. Во-первых, он "всем существом чувствовал, что *такая офицерская* армия победить не может. Несмотря на доблесть и героизм ее бойцов... к белым народ не шел: господа. Здесь сказался один из самых больших грехов старой России: ее сословность. И связанный с нею страшный разрыв между интеллигенцией и народом". Вторая причина — душевная. Воюя против Австро-Венгрии, Гуль воспринимал войну, "как некий национальный рок", но узнав до конца, что такое *гражданская война*, пишет он, "я почувствовал, что *убить русского человека*

мне трудно. Не могу.” Вызывая неодобрение и удивление многих товарищей и начальства, братья Гули остались в Германии чернорабочими. И тут Роман Гуль решил записать “правдивогололенно” все пережитое в гражданской войне. Закончил карьеру офицер Р. Б. Гуль, родился писатель Роман Гуль, автор многих книг (первой из которых был “Ледяной поход), вот уже шестьдесят с лишним лет не покидающий литературного поста.

Очутившись в 1920 г. в Берлине, Р. Гуль тесно сошелся с семьей В. Б. Станкевича, бывшего приват-доцента Петербургского университета, позже комиссара Ставки при начштабе Верховного Главнокомандующего, в эмиграции занявшегося созданием организации “Мир и Труд” и изданием журнала “Жизнь”, проповедовавшего внутреннее замирение России вместо гражданской войны. Журнал просуществовал очень недолго, но все же молодой писатель успел напечатать там отрывки из своего первого произведения. Целиком “Ледяной поход” вышел в издательстве С. А. Эфрона. Книга возбудила большой интерес, но многие бывшие военные отнеслись к ней неприязненно, обвиняя автора в “сгущении красок”. В Советской же России книга пользовалась большим успехом, была переиздана, ее похвалил Горький, но когда власти разобрались, что писатель осуждает гражданскую войну *вообще*, “Ледяной поход” исчез с прилавков, оставшись лишь на полках закрытых фондов крупных библиотек.

Едва успев приобрести известность как писатель, Р. Б. Гуль в Берлине становится секретарем библиографического журнала “Новая Русская Книга”, который редактировал с января 1922 г. профессор международного права А. С. Яценко. Р. Гуль пишет: “Нужно сказать, что “Н. Р. К.”, по-моему, была прекрасным журналом. А редакция ее — интереснейшим местом. К нам приходило множество писательского народа: и высланные из Сов. России профессора и писатели, и писатели-эмигранты, ставшие берлинцами, и писатели, приезжавшие из Сов. России на время.”

Набросав очень яркий, но не слишком лестный портрет самого редактора, Р. Гуль дает меткие, нередко безжалостные зарисовки посетителей редакции. Интереснейшие странички посвящены Ходасевичу, Алексею Толстому, Эренбургу, Андрею Белому, Ремизову, Соколову-Микитову и многим другим.

Еще до работы в редакции “Новой Русской Книги”, бывая в

семье Станкевичей, Гуль встречался с лицами, сыгравшими видную роль в февральской революции (Черновым, Церетели и др.) Тогда же он познакомился с Сашей Черным и Мариной Цветаевой, о которой пишет весьма проникательно.

Даже мимолетные упоминания о людях, встреченных на жизненном пути автора, всегда сопровождаются у Гуля какими-либо краткими чертами, передающими и их внешний облик и внутреннюю суть. Такая "живопись" — характерная особенность писательской манеры Романа Гуля.

В 1922 г. он познакомился с Б. И. Николаевским, меньшевиком, охваченным страстью к собиранию архивов — "это была всепожирающая главная страсть его жизни". Страницы, посвященные рассказу о создании "уникального русского архива" Николаевского, чрезвычайно интересны. О дружбе с Николаевским Р. Гуль много говорит в обоих томах; вероятно, Николаевскому будет посвящено немало страниц и в третьем, готовящемся к печати томе.

Из всего, что происходило памятного в редакции "Новой Русской Книги", Роман Гуль особенно выделяет получение в январе 1923 г. "через верного человека" длинного, страшного письма Максимилиана Волошина о зверствах Белы Куна и Землячки в Крыму и волошинской рукописи "Стихов о терроре", которые тот просил опубликовать за границей (что и было сделано). Проф. Яценко был старым другом Волошина.

Для библиографического журнала материала в то время было вполне достаточно. Р. Гуль отмечает, что "один год в Германии русских книг вышло больше, чем немецких", подкрепляя это ошеломляющее сообщение ссылками на солидные источники. В этом отношении чрезвычайно интересна пространная глава "Книжное дело", насыщенная фактами, многие из которых являются откровениями даже для искушенного читателя. В частности, впечатляют страницы, посвященные "путаной голове и путаной душе" Максима Горького.

Не менее ценна глава о русских театрах и русской музыке в Берлине двадцатых годов. Но даже такой справочный материал эмоционально окрашен то строками из "легких" стихов Агнивцева, то рассказом о его печальном конце в СССР, куда он вернулся в 1923 году.

Гуль подробно останавливается на множестве русских культурных и общественных организаций, существовавших в то время в Берлине. В этой главе он уделяет место и работе русских художников — "в тогдашнем Берлине их было много и разных," — и деятельности "Дома искусств". В те годы приезжавшие из РСФСР художники, актеры и писатели (напр., Б. Пильняк, А. Кусиков, Вл. Маяковский и др.) свободно общались со своими собратьями-эмигрантами и высланными. В "Доме искусств" Гуль впервые увидел Есенина с Айседорой Дункан, которым посвящена довольно мрачная глава его воспоминаний.

Переходя к политической жизни эмиграции, Р. Гуль дает безжалостную оценку двум идеологическим течениям, зародившимся в Русском Зарубежье в начале 20-х годов — евразийству и сменовеховству. Первое из них объединяло группу молодых блестящих ученых и писателей (кн. Н. С. Трубецкой, В. Н. Ильин, Г. В. Флоровский и др.), считавших, что в СССР создан особый евразийский мир, долженствующий идти своим путем, что, по сути, явилось попыткой построить иллюзорный "мост примирения" с советской действительностью. Кончилось тем, что в 1923 г. ОГПУ сумело убедить руководителей движения в том, что "евразийство перебросилось в СССР". ОГПУ создало ложные "контакты", а затем полностью развалило движение, из которого ушли все его основоположники, оставшиеся же и вернувшиеся на родину (кн. Д. Святополк-Мирский, С. Эфрон, муж Марины Цветаевой, и др.) были там уничтожены.

Не менее блестящими представителями русской интеллигенции в эмиграции была создана и вторая "иллюзия примирения", начавшаяся с выхода в 1921 г. сборника "Смена вех", содержащего статьи зачинателей этого движения, бывших московских профессоров-юристов Ю. В. Ключникова и Н. В. Устрялова. В гражданскую войну оба они были членами правительства адмирала Колчака, а теперь поверили, что НЭП — это первый шаг к ликвидации коммунистической революции, примирение власти с населением, усиление роли крестьянства и постепенный переход России к формам правового государства. В сменовеховство верили и широкие круги населения СССР. В своих иллюзиях лидеры сменовеховцев были искренни и заплатили за это жизнью — все были уничтожены чекистами.

В главе "П. Н. Милуков" Роман Гуль рассказывает, как крайне непримиримый к большевизму вождь русского либерализма в возрасте 83 лет, в 1942 году, стал автором большой статьи "Правда большевизма", которую написал под влиянием советских побед на фронте, повлиявших на "архикабинетные иллюзии знаменитого ученого историка". Такую же "иллюзию примирения" в конце войны разделял и лидер правого крыла русских либералов В. А. Маклаков, глава Нансеновского комитета в Париже, восхищавшийся "патриотизмом народа, доблестью войск".

Р. Гуль посвящает особую главу "возвращенчеству", не представлявшему никакой "группы", не выдвигавшему никакой "новой идеологии". Это были высланные "умеренные социалисты" А. В. Пешехонов, Е. Д. Кускова, ее муж С. Н. Прокопович и писатель М. А. Осоргин. Каждый из них по-своему проповедовал "возвращенчество", и Роман Гуль прекрасно обрисовывает этих заблудившихся "проповедников". Очень ценно приведенное Гулем письмо Владислава Ходасевича, раскрывающее роль ГПУ, умело действовавшего через Е. П. Пешкову (первую жену Горького) для поощрения "возвращенчества".

Чрезвычайно интересна глава "В газете 'Накануне'". Это сменовеховское издание начало выходить с марта 1922 г. в Берлине, но встретило недружелюбное отношение со стороны эмиграции. Сам Гуль стал сотрудничать в "Литературном Приложении", дав по просьбе Алексея Толстого отрывок из своей повести.

После возвращения Алексея Толстого в РСФСР, Р. Гуль стал редактировать "Литературное Приложение" но к сменовеховцам-политикам никакого отношения не имел. В "Литературном Приложении" печатались многие писатели из Советской России (Михаил Булгаков, Осип Мандельштам, К. Федин, М. Волошин, Корней Чуковский, и др.). Там же сотрудничала жившая в Берлине Нина Ивановна Петровская — "Рената" из "Огненного Ангела" Брюсова и его долголетняя любовь; в то время, вспоминает Гуль, она уже "производила страшноватое впечатление". Не знаю, стоило ли приводить рассказы Н. И. Петровской о патологически непристойных выходках Бальмонта и можно ли полагаться на их достоверность?

Волнующей и высокохудожественной частью первого тома является глава "Бегство матери из Сов. Союза". Удиви-

тельно лирично и с большим писательским мастерством Р. Гуль рассказывает о подвиге матери, заучившей по старой военной семиверстке путь и пошедшей вместе с няней своих детей пешком в Германию.

Огромной душевной болью пронизаны воспоминания о жене автора Ольге Андреевне, с которой Роман Гуль счастливо прожил пятьдесят лет. Лично мне при чтении этих страниц было грустно, так как я знала О. А. и сама с теплотой и благодарностью вспоминаю о ее радушии и доброжелательности. Ольга Андреевна несомненно заслужила пристальное внимание читателей — “в общении с людьми она не чувствовала и не видела их разницы: богатых и бедных, аристократов и пролетариев, белых и черных, черных и желтых. Поэтому в нашей зарубежной жизни множество самых разнородных людей любили ее.”

Чтоб попасть из Москвы в Берлин, где она вышла замуж за Романа Гуля, свою девичью довоенную любовь, ей потребовались черты “русских женщин этой породы: решимость, бесстрашие, самообладание”. Впрочем, как мы узнаем из дальнейших воспоминаний эти качества в ней проявлялись и на протяжении всей эмигрантской жизни.

Большая глава, полная интереснейших фактов и иллюстрированная многими фотографиями, посвящена дружбе с Константином Фединым. Наезжая в Берлин, Федин тогда еще не был генсеком, а позже председателем Союза Советских Писателей, лауреатом сталинских премий, депутатом Верховного Совета. Федин был в те времена “писателем Фединым”, свободным, вернее, “полусвободным”, как подчеркивает Гуль. Многое интересное из его рассказов сохранил для нас Гуль.

Мемуарист дал также ряд ярких зарисовок и других советских писателей, с которыми ему довелось встречаться в Берлине — Л. Сейфуллиной, Н. Никитина. И. Груздева, М. Слонимского, Ю. Тынянова.

Вследствие экономической катастрофы Германии “Берлин под конец 20-х годов перестал быть столицей Русского Зарубежья”. Тогда, как пишет Р. Гуль, из Берлина “начался исход” интеллигентов-эмигрантов, главным образом в Париж, ставший новой столицей Русского Зарубежья.

Роман Гуль не решился покинуть Германию, но из ставшего

не по карману Берлина перекочевал с женой, матерью и братом с семьей в расположенную недалеко от столицы деревню Фридрихсталь. Только няни, пришедшей с матерью пешком из России, уже не было с ними: она не выдержала жизни в Берлине — бани нету, в церкви колокола нету, простора нету, — и, обливаясь слезами при расставании с дорогими ей людьми, поехала в родное Вырыпаево, где и погибла во время коллективизации.

С приходом к власти Гитлера, тон воспоминаний Р. Гуля резко меняется. Писатель болезненно воспринимал новый режим — обратную медаль большевизма. Террор охватил Германию. Роман Гуль пишет: "В гитлеровской тоталитарной Германии я не мог душевно и психологически жить". К счастью, Б.И. Николаевский достал для четы Гулей французские визы, но пока писатель размышлял, откуда взять деньги на переезд, он сам попал в концентрационный лагерь Ораниенбург (Заксенхаузен). Причиной тому было недоразумение: название книги "Генерал БО" было изменено в переводе на немецкий в "Boris Sawinkow. Der Roman eines Terroristen" — "а дурак-гестаповец по подзаголовку романа решил, что я террорист".

Помещенный "до выяснения обстоятельств" в лагерь, Гуль наблюдал, как руками арестованных заброшенный пивной завод превращался в заправскую тюрьму. Он вспоминает пытку недоеданием, которой подвергся и сам; "лечение" арестованных, издевательства над ними, особенно над еврейской молодежью; пытки, вплоть до убийств.

"Вызволил" Р. Гуля из концлагеря, где он просидел 21 день, неожиданный покровитель — зубной врач Ольги Андреевны, русский немец Гуго Менчель, оказавшийся старым, видным нацистом (партбилет No 4!), к которому она бросилась за помощью.

"3 января 1919 года Господь Бог унес меня от ленинского тоталитаризма в свободную Германию. А 3 сентября 1933 года — от гитлеровского — в свободную Францию". Так заканчивает первый том своих воспоминаний Роман Гуль.

II

Поезд подходит к Парижу. "Каруселью отбегают сиреневые домики, плещущие розами палисадники, как картонные, вертят-

са сероствольные платаны, кудрявые девушки в пестрых платьях пролетают мимо, их застлали рекламные щиты коньяков, пудры, прованского масла.” В пустоватом вагоне — Роман Гуль с двадцатью франками в кармане и единственным адресом, куда можно “ткнуться” — к Б. И. Николаевскому. Жена поехала в Ниццу, к своей тете; остановиться в Париже вдвоем было не на что... Но Б. И. оказался в больнице, и только случайно Гуль нашел приют у знакомого по Берлину — Владимира Пименовича Крымова, бывшего издателя журнала “Столица и Усадьба”. Роман Гуль дает очень живой портрет этого богача, ловкого дельца, заграничей даже приумножившего свое состояние. Крымов любил собирать у себя за столом самых разнообразных интересных людей. И жизнь в Париже начинается для Р. Гуля именно с завтрака на вилле Крымовых, на котором присутствует и Александр Иванович Гучков, бывший председатель Третьей Государственной Думы, осмелившийся с думской трибуны назвать Распутина “проходимцем, хлыстом, эротоманом, шарлатаном”, а позже привезший государю проект отречения. Неудивительно, что писатель глядит на него “во все глаза” — оказалось: “умен и бывалый большой человек.”

Но как ни интересно было у Крымовых, при первой возможности Р. Гуль переехал в комнату знакомого русского шофера, открывшего ему мир русских военных, севших за руль и топивших свою горечь в дешевом красном вине. А затем нашлась и собственная комната, куда приехала Ольга Андреевна. Пришли и небольшие заработки. Гули начали свою парижскую жизнь.

Одной из первых встреч в Париже была встреча с А. Ф. Керенским и, забегая вперед, Р. Гуль дает яркий и соответствующий оригиналу портрет “заграничного” Керенского. Я могу об этом судить, так как сама встретила А. Керенского у его большого друга, издательницы “Нового Журнала” М. С. Цетлиной, в день нашего приезда приютившей нас у себя в Нью Йорке. В разговорах с нами, точно так, как пишет Р. Гуль, Керенскому явно хотелось “примериться” — поймут ли его, бывшего “главу” Февраля, новые советские люди. Вероятно, зная что в СССР изображали его бегство из Гатчинского дворца в форме сестры милосердия, он при первом же знакомстве как-то очень уместно

рассказал о том, что его спасла принесенная одним "верным человеком" матросская форма, в которой он и прошел сквозь бушующую толпу.

С воспоминаниями о Керенском у Романа Гуля тесно переплетаются и воспоминания об Ираклии Георгиевиче Церетели, относившемся к Керенскому резко-отрицательно. Сам Церетели был обаятелен и своеобразен, целен, бескомпромиссен. Может быть, поэтому во всей своей зарубежной жизни (около 40 лет) эмигрантской политикой, ни русской, ни грузинской не занимался. Роман Гуль записал ряд важных для истории русской революции рассказов Церетели.

Приехав в Париж в 1933 г., Роман Гуль захватил "отблеск того потрясающего русского Парижа", каким он был в конце 20-х годов. Многие страницы Р. Гуля посвящает описанию существовавших в Париже русских церквей, высших учебных заведений, говорит о русских ученых (многие из которых работали во французских научных учреждениях, как, например, в Пастеровском институте), о философах, писателях, поэтах, о русских общественных организациях, о прессе, и издательствах, русских театрах (в этой же главе он с юмором рассказывает о постановке его собственной неудачной пьесы "Азеф" в "Русском Театре"). Очень интересна глава "Русские во французском кино", в частности, сведения об И. И. Мозжухине.

Глава "Русские художники в Париже" сверкает россыпью блестящих имен; многим из них автор дал краткие, точные характеристики. Касаясь русской музыки в Париже 20-х и 30-х годов, Роман Гуль подчеркивает, что она была "явлением не русским, а мировым" — там жили и работали Стравинский, Прокофьев, Глазунов, Гречанинов, часто приезжал концертировавший по всему миру Рахманинов, а также Н. К. Метнер. Интересные сведения сообщает автор о целом ряде менее известных широкой публике музыкальных деятелей, внесших ценный вклад в русскую музыку. Не прошел Гуль и мимо русских зарубежных хоров, духовных, и светских, не забыл и о цыганских хорах и о знаменитых исполнителях "цыганщины".

Хороша глава "Монпарнас". Р. Гуль признается: "Я одним боком всегда любил богему. А "другим боком" не очень, не чересчур". Описывая знаменитые кафе Монпарнасса, писатель го-

ворит, что никогда сам не мог бы стать неким "монпарно" (так французы называют завсегдатаев Монпарнасса).

Париж и литературная работа, дававшая скромные заработки, половина которых неизменно отсылалась семье в Фридрихсталь, не отвлекали Р. Гуля от тревожных мыслей о судьбе близких, оставшихся в Германии. Автор посвящает несколько глав рассказам о своих посещениях видных русских эмигрантов с просьбой подписать прошение о визах для своих близких. Хотя все те, к кому он обращался (П. Н. Милуков, В. Л. Бурцев, А. И. Гучков, И. Г. Церетели), охотно подписали такое прошение, оно не произвело ни малейшего впечатления на французских чиновников.

Конкретную помощь Р. Гулю оказал бывший русский посол в Швеции К. Н. Гулькевич, которого Фритьоф Хансен пригласил в Лигу Наций работать в отделе помощи русским эмигрантам — он выхлопотал писателю ссуду для аренды фермы (в то время во Франции было много брошенных ферм, в особенности, в Департаменте Лот-и-Гаронн), а такой шаг давал некоторый шанс на получение визы. Но и тут дело не сдвинулось с места.

Наконец М. С. Маргулиес, известный до революции петербургский адвокат, а в Париже — очень видный масон, хорошо знавший по этой линии депутата этого департамента, предложил помочь семье Р. Гуля при условии, что писатель вступит в масонскую ложу — тогда о нем можно хлопотать, как о "брате".

Для Романа Гуля, не имевшего представления о масонстве (кроме описанного Львом Толстым посвящения Пьера Безухова в масонство) оказалось новостью существование в Париже лож "Свободная Россия", где досточтимым мастером был Маргулиес, и "Северная Звезда", где такое же положение занимал Н. Д. Авксентьев; обе ложи входили в "Великий Восток Франции". Кроме того, в "Великой Ложке Франции" было еще шесть русских лож.

Любопытные данные содержатся в небольшой главе исторического характера "Кто из русских были масонами", и еще больший интерес представляют уже личные воспоминания Р. Гуля — "Русские масоны в Париже" с описанием его посвящения и "агапы", т.е. "братского застолья" — его писатель определяет как

”приятное общество культурных, интеллигентных людей”. В следующей главе, ”Среди масонов”, Р. Гуль набрасывает портреты многих из ”братьев”. В частности, встретился он с М. Н. Сейделером, в свое время предлагавшим от имени офицерской организации устройство побега из России великому князю Михаилу Александровичу после его отречения.

М. Н. Сейделер предложил Роману Гулю от имени своей сестры, графини Людмилы Николаевны Воронцовой-Дашковой записать ее рассказы о вел. кн. Михаиле Александровиче, с которой она была дружна и чей покойный муж еще с детства был его самым близким другом. Писатель помещает в книге все записи рассказов Л. Н. о вел. кн. Михаиле Александровиче.

Л. Н. Воронцова-Дашкова как-то сказала Роману Гулю, что Н. П. Саблин, бывший флигель-адъютант государя, капитан второго ранга гвардейского экипажа хочет, чтобы Гуль записал и его рассказы. Зная о близости Саблина к императорской семье, понимая историческое значение того, что он мог рассказать, Р. Гуль согласился. К сожалению, ухудшение здоровья больного Саблина скоро оборвало эти записи. Тем не менее то, что Саблин успел рассказать, очень интересно и представляет несомненную историческую ценность.

Записи рассказов другого парижского эмигранта, А. Д. Нагловского, сына свитского генерала, резко отличаются по темам и тону от сообщений графини Воронцовой и Н. П. Саблина. Еще в Александровском лицее Нагловский увлекся марксизмом, студентом вступил в социал-демократическую партию (большевиком) и к революции 1917 г. был уже старым большевиком, близко знавшим всю партийную верхушку. Назначенный в свое время торгпредом в Италию, он порвал с большевиками и бежал в Париж, став ”невозвращенцем”. Из его рассказов Р. Гуль приводит только три — о Ленине, Троцком и Зиновьеве, На этих чрезвычайно ценных свидетельствах человека с очень острым умом, к тому же насыщенных фактами, я останавливаться не буду — там важна каждая строка.

Над приданием всем этим записям литературной формы Роман Гуль работал за колченогим столом в убогой комнатенке на пятом этаже, за которую уже с полгода нечем было платить. Иногда не было денег даже на пакет чая, и оставалось надеяться

только на чудо. И оно пришло, вернее, даже два чуда вместе — были получены визы для всей семьи, а затем пришла телеграмма от художника Лазаря Меерсона, писавшего в Лондоне декорации для фильма с Марлен Дитрих. Режиссер Жак Федер и знаменитый "продюсер" Александр Корда вызывали писателя в качестве "технического советника", предлагая баснословный по тем временам гонорар. Нищете пришел конец.

Федер ставил фильм по роману английского писателя Джеймса Хилтона из времен русской революции, стараясь не допустить ни малейшей "клюквы", а прочтя по-французски книгу Романа Гуля "Азеф", решил, что автор будет ему незаменимым советником. В Англии Гуль проработал шесть месяцев.

Гуль был поражен, что, по сравнению с Парижем, в Лондоне была как бы разлита "разумность, ясность и доброжелательность". Во время шумихи, возникшей перед отречением Эдуарда VIII, писатель "увидел воочию, как им, англичанам, *дорог и нужен король*. Мне была завидна эта английская органическая естественная глубокая привязанность к своей истории, к своей монархии." И писатель, никогда не бывший "записным монархистом", с горечью пишет о "чувстве нигилизма и анархизма, вымахнувшем в России в начале революции". Все же, уезжая в начале 1937 г. из Англии, "Роман Гуль остро почувствовал, что жить в Англии не мог бы — он уже тосковал по свободному укладу парижской жизни и с радостью поспешил во французскую столицу.

По настоянию брата Роман Гуль купил возле живописного городка Нерак маленькую ферму с более чем скромным домом, куда вся семья и переселилась летом 1937 года.

"Но кто знает свою судьбу? — пишет Р. Гуль. — Эта ферма во время войны спасла меня от ареста нацистами и неминуемой смерти, ибо в войну немцы искали меня за книгу "Ораниенбург"... А Лот-и-Гаронн оказался в "свободной зоне" Франции. И тут до меня дотянуться было трудно. Тем более, что мы с Олечкой вскоре ушли рабочими на стекольную фабрику в Вианн, а потом все четверо стали сельскохозяйственными батраками".

Все главы, относящиеся к жизни в Гаскони, написаны блестяще. В них, как и в главе о бегстве матери из России, ярче всего выступает Роман Гуль как художник слова, и эмоциональ-

но они больше всего трогают читателя. К тому же они все разнообразны. В главе "За работой" описание гасконского пейзажа и работы пахаря тесно переплетается с невеселыми мыслями автора, а перед глазами читателя отчетливо встает старый крестьянский дом, где в красном углу висит икона — копия "Троицы" Рублева, а на стене дешевая литография — портрет Пушкина работы Тропинина. "Александр Сергеевич глядит на свисающие с балок пучки укропа, связки лука, чеснока, на все бедное убранство комнаты."

Очень лиричны и художественны описания двух таких непохожих друг на друга соседей семьи Гуль, как старый донской казак Иван Никитич, никак не приживающийся на французской земле, и старый гасконец Гарабас, для которого весь мир "здесь, на восьми гектарах пшеницы и виноградника". А глава "Молотьба" с ее грубым весельем и обильным угощением помогающих друг другу соседей вызывает в памяти "Сельскую свадьбу" Брейгеля.

Но выше всего стоит сильная, талантливо написанная и глубоко волнующая глава "Смерть матери", заканчивающая второй том воспоминаний Романа Гуля.

Оба тома воспоминаний совершенно своеобразны. Входящие в них главы часто резко отличаются не только по содержанию, но по характеру изложения, давая писателю возможность проявить себя с самых разнообразных сторон. Кроме того, они поражают чрезвычайно широким охватом разных слов русской эмиграции. Хотя, по словам Романа Гуля, он давал только "набросок" того, что внесла в культуру Запада "зарубежная Россия", этот "набросок" превратился в широкую и впечатляющую картину.

В каждом томе отлично составленный указатель имен, что очень облегчит работу будущих исследователей. Жаль, что приведя полный библиографический список своих произведений и их переводов на разные языки, Р. Гуль не присоединил к ним и списка хотя бы наиболее значительных отзывов о его книгах. Надо принять во внимание, что такие материалы, разбросанные по изданиям стран русского рассеяния, не всегда могут быть обнаружены исследователями творчества русских зарубежных писателей и всякое указание на содержащие их издания было бы

очень ценным.

Будем благодарны писателю за выход двух объемистых томов, представляющих большой интерес для любого читателя и будем с нетерпением ждать появления третьего тома, пожелав автору "Апологии эмиграции" здоровья и сил для завершения своего поистине подвижнического труда.

Татьяна Фесенко

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	70	130	250
Заграница	97	184	357
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн. Америка, Южн. и Центр. Африка	126	242	474

ЖЕНСКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ

28 октября 1957 г.

После нескольких дней пребывания в камере на иркутской пересылке, среди ужасающего гама, криков, похабной ругани, драк, для меня стал постепенно выясняться состав населения нашей огромной камеры. Политических, кроме меня, почти не было. Иногда попадались, правда, одна-две деревенские старушки, сидевшие за "болтовню", но они долго на пересылке не задерживались.

Было некоторое число растратчиц, спекулянтки, женщин, обвиненных в воинских преступлениях. Среди них попадалось много милых, интеллигентных женщин или напрасно обвиненных, или принужденных к первой и единственной в жизни растрате или спекуляции невыносимыми условиями жизни и голодом. С этими женщинами я быстро сходилась и "мои милые растратчицы", как я их мысленно называла, были той средой, общение с которой спасало меня от ада, который меня временами окружал.

Постепенно я начала разбираться в воровской среде, которая мене окружала.

— Надо обратиться к Маше Поповой, она, может быть, вернет, — говорила какая-нибудь из моих растратчиц, когда у нее исчезала вещь.

Начинается буйный спор между двумя блатными или блатной и "фрайршей", т. е. женщиной, не принадлежащей к

* См. "Н.Ж.", N. 150-153, 156.

блатному миру. Ужасающая ругань, визг, вопли несутся из толпы, окружающей спорящих. Наконец, раздается: "Идем к Маше! Маша — она справедливая"

Кто же эта Маша Попова, имеющая такую моральную власть над этой буйной вольницей?

Рано утром, часов в пять, когда вся камера еще спит, я подхожу к огромной шайке, стоящей около бака с водой. В это время нет толкотни и можно основательно помыться над шайкой. Вместе со мной подходит молодая женщина, почти совсем обнаженная, в одних коротеньких трусиках. Она брюнетка с красивыми черными глазами, недурна собой, стройна, лет тридцати. Места над шайкой много, мы мирно моемся друг против друга. Моя визави тратит очень много воды. Я уже знаю, что "красючки", как воровки называют хорошеньких крупных воровок и бандиток, следящих за своей внешностью, очень чистоплотны.

Я с большим интересом посматриваю на свою визави. Ах, как мне мешает моя близорукость! Дело в том, что она почти с головы до ног татуирована, и мне смертельно хочется прочесть эти синие надписи. На одной лопатке у нее восходящее солнце и под ним — надпись о солнце и свободе; на другой лопатке изображена тюремная решетка, а под нею надпись: "Решетка и тюрьма — вот наша судьба!". На одном бедре, почти до колена, вытатуирован огромный бокал, обвитый змеей (древний символ медицины); на другом бедре — тоже какой-то рисунок. На руках от плеч до кистей — во всех направлениях любовные и похабные надписи.

Это — Маша Попова, паханша нашей камеры.

Говорят, что она румынка (скорее, обрусевшая молдаванка, т. к. ни на каком языке, кроме русского, она не говорит). У нее девятая судимость — "по документам", т. е. по тем документам, с которыми ее арестовали в последний раз. А сколько было судимостей по другим — Бог весть.

Она чрезвычайно развратна: у нее бесконечное число любовников во всех тюрьмах и лагерях. Она сильно пьет, когда может достать водку. У нее туберкулез. У нее — худшая из венерических болезней. Блатные с сожалением говорят о ней, что она жжет свечу своей жизни с двух концов; долго так она не

выдержит. Ругается она, как только может ругаться блатная. Страшные, поганые слова выкрикиваются хриплым, грубым голосом — характерным голосом профессиональной преступницы.

Но в душе у этой потерянной женщины еще тлеет какой-то человеческий огонек. Недаром блатные говорят о ней с нежностью, а женщины, не принадлежащие к преступному миру, изредка находят у этой воровки, а быть может убийцы и прости-тутки, некоторую защиту от обид, причиняемых ее вольницами.

Однажды на углу верхних нар появилась блатная девчонка лет семнадцати и стала плясать и петь. Она, очевидно, умела делать и то и другое; мне сказали, что она выступала в каком-то ресторане. Но что она пела? Как плясала? Шумная аудитория, сперва с удовольствием притихшая, и та поперхнулась. Среди общего оторопелого молчания раздалось лишь несколько сконфуженных смешков:

Я в моих сорок пять лет мало видела и слышала неприличного в жизни. В той высококультурной среде, в которой я жила всю жизнь, этому места не было. Даже моя жизнь, жизнь одинокой женщины не сталкивала меня с грязными сторонами бытия, прежде всего потому, что я жила все в той же среде и, во-вторых, из-за инстинктивного отвращения ко всякой грязи.

Поэтому для меня было неожиданно то, что происходило на верхних нарах нашей камеры. Девчонка танцевала и пела что-то неимоверно неприличное. Но еще хуже слов были ее телодвижения. Повторяю, ко всему привыкшая камера, в которой едва ли не половина была блатных, и та замерла. И вдруг раздался резкий, повелительный голос Маши Поповой:

— А ну-ка, слезай!

Оторопевшая девчонка, до тех пор весело улыбавшаяся и явно гордившаяся своими "талантами", сконфуженно и беспрекословно перервала свое выступление и полезла вниз. Маша Попова подозвала ее к себе.

— Ты, может быть, думаешь, что мужикам это понравится, — стала она ее отчитывать при всех. — Не понравится. Это еще нам, кто постарше, кому под тридцать, нам все можно. А такой девчонке, как ты — не положено. Да и мужикам это не нравится, когда девки очень молодые и такие испорченные. Запомни.

Это "ultimo ratio" - "мужикам, (т. е. их же бандитам) не

понравится” — подействовало на девчонку. Больше она не выступала.

Второй по рангу была Нина Столярская. Хорошенькая девушка с длинными косами, с нежным и невинным личиком. Посмотришь на эту милую с виду девушку, послушаешь иной раз ее разговор — не верится, что она — закоренелая воровка, а может быть, и бандитка с семью судимостями “по документам”.

Однажды Нина Столярская пришла ко мне, скромно села и с полчаса вела беседу о том о сем, абсолютно не касаясь тюремных тем и своей среды. Я смотрела на нее и думала: “Ну ни дать ни взять, какая-нибудь харбинская машинисточка”. Уходя, Нина спросила меня:

Ну как, умею я себя вести, если захочу?

— Еще как умеете, Нина!

— Ну вот, я хотела вам показать, что умею.

А вскоре Нина Столярская несколько часов пролежала на подоконнике, осыпая самой невероятнейшей бранью тюремную повариху, имевшую свободное хождение по двору и вынужденную по своей работе много раз проходить мимо окон нашей камеры. Неистовая брань была самого провокационного свойства, рассчитанная на ответы, которые воспринимались с восторгом, и возвращались с огромными процентами. К вечеру измученная повариха рыдала в кабинете у начальника пересылки; ужин запаздывал, а нежная девушка Нина Столярская бурно праздновала победу над поверженным врагом.

О третьей из “громких” блатных, Тане Санниковой, по кличке “Танька-Барыня”, расскажу подробнее, тем более, что она оставалась в камере дольше двух других и долгое время, до появления “генеральши” преступного мира, была по рангу старшей.

Танька-Барыня была маленькой женщиной лет 27, довольно хорошенькой. Барского в ней не было ничего, и я вначале удивлялась, почему ей дали такую кличку. Но вскоре я убедилась, что кличку она получила не даром.

“Опер” время от времени наносил личные визиты Таньке-Барыне. Внезапно открывались двери и в камеру с шумом вхо-

дило несколько дежурных. Впереди — опер.

— Санникова! Сюда с вещами!

Танька-Барыня кряхтя и ворча собирала на верхних нарах свои бесконечные чемоданы, баулы, кулечки. Когда она, вся увешанная ими, семенила маленькими и неохотными шажками к грозному оперу, то и вправду вдруг становилась похожей на старосветскую помещицу, собравшуюся со своими многочисленными баульчиками и кулечками навестить приятельницу в соседнем уезде.

Кличка, оказывается, до смешного подходит к Таньке. Но Таньке не до смеха. Ее чемоданы и баульчики раскрываются и их содержимое осматривается знающим глазом.

— Шевиот? Краденое! — синий шевиотовый костюм летит направо. — Шелк? Краденое! — шелковое платье бордо летит следом. — Мужские шевровые сапоги? Краденое! — сапоги ложатся рядом с костюмом и платьем. — Ситец? Это, пожалуй, свое, — ситцевое платьишко летит налево в небольшую кучку.

Распотрошив таким образом Танькины чемоданы под Танькины вопли, причитания и ругань, на которые он не обращал ни малейшего внимания или отвечал довольно ядовитыми и остроумными репликами, опер спокойно удалялся в сопровождении дежурных, несших чемоданы с Танькиным имуществом. Танька раздражалась ему вслед совершенно неистовой бранью. Но недели через две, при следующем визите опера, у Таньки оказывалось опять столько же или даже еще больше краденых вещей.

Иногда Танька в результате обыска отправлялась на три дня в карцер. Сидя там, она перекликалась с соседними карцерами, пела, ругалась от души.

Процесс "выжимания" из Таньки-Барыни краденых вещей повторялся приблизительно каждые две недели и превратился в одну из развлечений камеры. Откуда же она, не выходя из камеры, брала эти вещи?

В камере она крапа сравнительно мало. "Курочить", т.е. отнимать насилеиом, а попросту, грабить ей тоже не удавалось из-за хорошего отношения начальства к "фрайерам". Пробовала она отнимать у новичков угрозами, но однажды нарвалась на меня, и стала считать меня силой, с которой приходится считаться.

Но у Таньки оставался один безотказный способ наживы: темные делишки с соседними мужскими камерами, откуда она получала ранее или уже на пересылке украденное и "раскуроченное". Например, на моих глазах показались вдруг в окне сапоги, привязанные к длинному шесту, протянутому из окна соседней мужской камеры. Танька с радостным воплем кинулась к ним.... Таким же способом в окно передавались и женские шелковые платья, костюмы и т. д.

Как-то у нас появилась беременная молодая женщина — "мамка" — так в тюрьмах и лагерях называют будущих или кормящих матерей. Помню, как я была изумлена в читинской тюрьме, когда в тюремном коридоре вдруг раздался младенческий плач, и мне объяснили, что в тюрьме есть целая камера арестанток — матерей с младенцами. Иркутская "мамка" была одна, и была она еще только будущей матерью.

Я случайно увидела, проходя, как она из только что полученной передачи отрезала огромный ломоть белого хлеба, намазала его маслом и медом и передала Таньке-Барыне. "Ага, курочит новенькую", — подумала я. Когда же я часа через два услышала, как Танька опять требовала у мамки дани, я подошла к ним.

— Имейте в виду, — сказала я мамке при Таньке-Барыне, здесь, на пересылке, "курочить", т.е. насильно отнимать или вымогать угрозами не позволяют. Если вас обижают, вы всегда можете постучать в дверь к дежурному, и вас защитят. Вы ее уже угостили сегодня, и хватит. А вам, Таня, стыдно "курочить", да еще будущую мать.

— А какое вам дело? — зашипела на меня Танька, к моему удивлению, без сопроводительных эпитетов, настолько она была поражена тем, что показалось ей моим бесстрашием, а на самом деле было моим невежеством в отношении тюремных нравов, иначе я предупредила бы "мамку", конечно, не в Танькином присутствии.

Рассказав кому-то о моем столкновении с Танькой, я узнала, что совершила безумный поступок: урки не только в тюрьмах, но и на воле нередко бросаются с бритвой в руках на человека, осмелившегося предупредить другого, что у него собираются что-то вытащить из кармана или только-что вытащили. Бывают

случаи, что такому предупреждающему отхватывают нос бритвой или разрезают лицо, что конечно, хуже смерти.

В периоды своего хорошего отношения ко мне Танька-Барыня иногда приходила в гости. Я расспрашивала ее о воровской жизни, об их нравах. Однажды, когда Танька с увлечением рассказывала мне о своих похождениях, я спросила ее, сколько приблизительно краж обходится у нее благополучно, пока она опять не попадется, и сколько времени она бывает на воле, пока вновь не угодит в тюрьму. Это вопрос почему-то Таньке не понравился.

— Почему вы задаете вопросы, как следователь?

Я постаралась загладить свою неловкость.

— Поймите, Таня, что я — журналистка, писательница. Я еще никогда в жизни не встречала людей из преступного мира (это — не обидное выражение, они сами его употребляют с гордостью, так, как раньше говорили: "я из дворянской среды") и, наверное, окончив срок, никогда больше не встречу. А я хочу писать о вас книгу. Поэтому я вас и расспрашиваю.

Боже мой, как Танька-Барыня преобразилась при этих словах! Недоверчивое выражение сразу сменилось польщенной, радостной улыбкой. *Ведь одно из основных свойств профессионально-преступного человека — это его неимоверное тщеславие.* Может быть, неудовлетворенное тщеславие и толкает многих из них на преступления, так как они, наконец, находят среду, в которой они относительно легко могут выдвинуться.

С момента произнесения мною этих магических слов Танька-Барыня стала относиться ко мне настолько хорошо, насколько она вообще могла к кому-нибудь хорошо относиться, особенно к "фрайерше" — ведь последние в глазах преступников являются людьми второго, если не третьего сорта.

Теперь Танька прибегала ко мне и рассказывала о своих похождениях самую фантастическую чепуху. Она, например, очень гордилась тем, что в ее документах была отметка: "неисправимая". Эта отметка тем более удивительна, что советская правовая наука считает, что нет неисправимых преступников, а лагерное начальство очень любит щеголять лекциями о перевоспитании.

Нужно сказать, что Танька потому так долго задержалась на пересылке, что ни один лагерь Иркутской области не хотел ее принимать: изо всех лагерей она была многократно возвращаема "за ненадобностью". В течение тех четырех месяцев, что я была на иркутской пересылке один лагерь все же согласился принять Таньку, но недели через две "с благодарностью" вернул ее обратно.

Однажды областной прокурор, войдя в камеру в сопровождении начальника пересылки, опера и дежурных, подозвал к себе Таньку-Барыню. Она катышком скатилась с верхних нар и с дерзким вызовом во всей своей фигурке подкатилась к прокурору.

— Санникова, — сказал прокурор, — долго ты еще будешь хулиганить? Я тебя в конце-концов отправлю на штрафной 101-й, на каменный карьер.

— На 101-й? — захихикала Танька. — Подумаешь, испугали! Да я уже сколько раз там была! Там очень хорошо! Наши мужики там за нас работали, а мы в трусах и бюстгальтерах на карьере солнечные ванны принимали. Нашли чем пугать!

Ну что с такой поделаешь?

Танька была особенно невыносима тем, что почти не было минуты, когда ее не было бы слышно в огромной камере. Ее голос перекрывал сто двадцать пять голосов. Она больше, чем кто-либо, шумела, ругалась, лазала к окнам и вверх и вниз по нарам, в общем, проявляла кипучую и совершенно бесцельную активность. Эта обезьянья подвижность, как и тщеславная потребность быть все время центром внимания, тоже является одной их характерных особенностей подавляющего большинства преступных женщин (о мужчинах-преступниках я не могу высказываться так определенно, я их меньше знаю, хотя приходилось встречаться и с ними. Но они мне показались гораздо лучше женщин).

30 октября 1957 г.

Маша Попова пробыла у нас в камере недолго. У нее оказались в Иркутске родители, они ей приносили передачи, но за ее

прежние провинности опер не разрешал эти передачи принимать. Маша возмущалась, скандалила, спорила с дежурными. Наконец, ей разрешили получить одну передачу. Передача, как мне говорили, была очень хорошая, но Маша сама до нее не дотронулась. В ящик с передачей была вложена фотография Машиной дочки, и Маша, увидев ее, проплакала весь вечер. Она всю передачу, до последней крошки, раздала своим подругам, а сама весь вечер просидела в позе скорбящей матери, склонившись над маленькой фотографией.

Кто-то, может быть, Танька, принес показать мне этот любительский снимок. Вокруг елочки вели хоровод нарядные дети в белых платьях и костюмчиках и одна из самых хорошеньких на первом плане, в белом платьице и белом веночке, была дочкой Маши.

На другой день выяснилось, почему Маше разрешили получить эту единственную передачу: ее вызвали на этап. Посылали ее, как подруги успели узнать, совсем близко — на 104-й, на ст. Иннокентьевскую, теперь Иркутск-2. Там часть лагеря была инвалидная, часть — "мамки", но были и обычные заключенные. Машу, вероятно, посылали туда из-за ее плохого здоровья, как инвалида, но ее самое такое "пресное" место совсем не устраивало.

Когда ответдежурный пришел ее вызывать, она категорически заявила, что на 104-й не поедет. Тогда ответдежурный приказал ей готовиться на этап, но Маша подняла невероятный скандал. На этот скандал в камеру вошли еще дежурные и кто-то из начальства, что только подбавило жару. Маша, употребляя соответствующие эпитеты, вопила, что она к старухам и "мамкам" не поедет, что ей там делать нечего; кричала, чтобы ее послали в любой лагерь Сибири или Дальнего Востока, что у нее там в каждом есть по "мужику", а то и по несколько; наконец, требовала, чтобы ее послали в лагерь для сифилитиков около Владивостока (оказывается, есть и такой); "Ведь я же больна сифилисом. понимаете!" — вопила она на всю камеру.

Я смотрела на эту человеческую деградацию с болью и ужасом. В этой надломленной душе теплился какой-то человеческий огонек, но он уже догорал.

Наконец, несколько дежурных увели Машу Попову. Уходя,

она кричала: "Я не прощаюсь, девочки, я через пять минут вернусь!". — Она надеялась повлиять на начальство во дворе.

Но прошло и пять минут, и десять, и двадцать, а Маша Попова не вернулась. Видимо, начальство настояло на своем.

Но если этой несчастной, изломанной и преступной душе и свойственны были некоторые переживания более высокого порядка, то хулиганская, обезьянья и воровская жадная душонка Таньки-Барыни представляла собой абсолютный пар.

Была у нас в камере одна воровка по прозвищу "Чума". Такое прозвище как-будто должно было к чему-то обязывать, но на самом деле Чума, некрасивая светловолосая девушка, была мелкой воровкой, тем, что у них называется "кусочницей".

Впоследствии, в Акмолинском лагере, я встретила еще одну "Чуму" — гастролершу, но та, очевидно, была из крупных: с нашей же "Чумой", так же, как в свое время с Танькой, у меня тоже было столкновение. Однажды рано утром у шайки вместо Маши Поповой я встретила с "Чумой". Наспех помывшись, она отошла от шайки и подошла к крайним нарам, одна из обитательниц которых, кухонная работница, была в это время на работе. Оглянувшись по сторонам, "Чума" стала шарить на ее почти пустых нарах и нашарила узелок, в котором была завязана "пайка" хлеба. "Чума" взяла было узелок.

Надо сказать, что хлебный рацион, "пайка", теоретически считается неприкосновенной вещью. Можно красть и вымогать любую вещь и передачу, хотя бы тот же хлеб, но чужую арестантскую "кровную пайку" трогать нельзя. Я не собиралась давать "Чуме" красть чужой хлеб на моих глазах.

— Тамара, — сказала я (как ни странно, "Чума" была обладательницей этого поэтического имени), — положите сейчас же хлеб на место. Имейте в виду, что если вы этого не сделаете и собственница хлеба будет его разыскивать, я ей скажу, что ее хлеб взяли вы.

— Скажу-у, — буквально зарычала на меня "Чума", — но хлеб все-таки положила на место и отошла. Она, конечно, знала, что за кражу "кровной пайки" она на своих воровских "верхах", хотя бы у той же Маши Поповой, поддержки не найдет.

Эта самая "Чума" почему-то привезена была на пересылку

на освобождение, т.к. отсидела свой очередной срок. Впрочем, за день или два до ее освобождения дежурный, зайдя в камеру, пессимистически сказал "Чуме":

— Держу пари, "Чума", что не позже чем через десять дней, ты опять будешь у нас.

О некоторых вещах, даже иной раз о своих преступлениях, даже убийствах профессиональные преступники рассказывают весьма охотно; в отношении же "правовых" сторон их организации они очень скрытны. В частности, я так и не смогла выяснить, какой нужно иметь стаж, чтобы у профессиональных преступников считаться своей, блатной.

У нас в камере недолго была старостой одна молоденькая девушка. Она нам, фраерам, казалась вполне блатной. Однако, блатные ее своей не признавали, и в ссорах с ней называли ее "фрайершей". Однажды я спросила одну из воровок: "Почему вы не признаете старосту своей, ведь у нее уже седьмая судимость?"

— Все равно, она — фрайерша.

— Но сколько же надо иметь судимостей, чтобы вы человека признали своим?

Улыбаются, посмеиваются, отвечают уклончиво. Ни один профессиональный преступник на этот вопрос прямо не ответит.

Другой случай, происшедший еще в Читинской тюрьме. Одна блатная девочка вдруг страшно расстроилась: она потеряла копейку! Обронила не то в умывалке, не то во дворе. Все очень удивились: чего же тут расстраиваться?

Да копейка была не простая, а распиленная!

— Распиленная?

— И не пополам, а вдоль, т.е. разделена на два равных кружка.

— Да зачем она тебе?

— Ах, нужно, нужно! Боже мой, что же мне теперь делать?

Вся наша не-воровская камера, видя смятение девчонки, помогала искать распиленную копейку, но так и не нашла. Несмотря на упорное нежелание этой читинской "воровайки", или "крудуньи", ответить на вопрос, почему она так расстроилась из-за потери распиленной копейки, мне кажется, я поняла: копейка была, очевидно, знаком принадлежности к какой-то большой во-

ровской шайке и потеря ее грозила девчонке потерей статуса и вообще большими неприятностями, тем более, что где-то был обладатель второй половины копейки.

1 ноября 1957 г.

Иркутская пересылка отделялась стеной с воротами от городской тюрьмы, высокие белые корпуса которой были таким контрастом по сравнению с почерневшими от времени, может быть, от столетий, одноэтажными бараками пересылки, сложенными из цельных бревен, и веселым, светлым двором с посаженными молодыми топольками.

По средам днем ворота между тюрьмой и пересылкой открывались и к нам во двор — прямо из тюрьмы — поступал новый этап.

К тому времени я уже научилась на глаз, даже издали, узнавать блатных. А их поступало много. Женская камера на пересылке была только одна, так что все эти беспокойные представительницы человеческого рода поступали к нам и еще более затрудняли нашу жизнь. И мы, "фрайера", вздыхали: — Опять целый этап "красючек"!

Воровки иногда нежно называют себя "кraudуны", или "воровайки". Если они при этом хорошенькие или хотя бы миловидные и следят за своей внешностью, они называются "красючки". Соответственно, молодые воры и бандиты такого типа называются "красюками".

Маша Попова, Нина Столярская, Танька-Барыня были "красючками". "Чума" — некрасивая и безразличная к своей внешности, определенно не была "красючкой", да она и была слишком мелкой сошкой в воровском мире для такого почетного звания. Лариса Кабацкая, жена начальника читинской тюрьмы, тоже была "красючкой", а ее подруга Катя, талантливая декламаторша, "красючкой" не была, хотя, очевидно, была довольно крупной воровкой.

Мне стало ясно, что "красючки" — это не только хорошенькие воровки. Для того, чтобы стать "красючкой", нужно обладать своим специфическим воровским ликом, слыть в преступном мире изящной женщиной. В виде исключений я встречала

”красючек”, которые даже не были миловидны, но их тщательный уход за собою, чистоплотность, завитые волосы, употребление крема и пудры, и пусть и ситцевые, но сшитые по моде платья, а особенно — манера держаться и самолюбование показывали, что они принадлежали к классу ”красючек”.

Иногда среди профессиональных преступниц попадаются очаровательно-красивые лица, но их всегда портят глаза. Иной раз красивое лицо еще молодо и не носит явных следов порока, но посмотришь в красивые глаза и отшатнешься — такое циничное, беспощадное и бесстыдное выражение в этих старых, всезнающих глазах, точно их молодая обладательница прожила не половину одной, а три жизни, полные разврата и преступлений. В СССР молодые воровки все одновременно и проститутки. Два потока женской порочности соединились в один.

С одним из этапов появилась у нас в камере новая женщина. Она, очевидно, принадлежала к преступному миру, так как ”воровайки” радостно приветствовали ее, и она сейчас же вошла в их среду. Была она высокой, стройной, лет около сорока, с довольно приятным интеллигентным лицом. По национальности — еврейка, из сибирских евреев, говорила по-русски правильно и почти без акцента. Меня поразила в ней какая-то особенная ловкость, согласованность и быстрота движений.

Она вскоре подошла ко мне знакомиться и отрекомендовалась... ветеринарным фельдшером, чем поставила меня в тупик. Звали ее Любовь Соломоновна.

Впрочем, она мне вскоре рассказала, что она... карманная воровка, и добавила, что карманным ворам рано приходится переключаться на другую воровскую профессию, так как вместе с молодостью уходят и те исключительные ловкость и точность движений, которые нужны для этого почтенного занятия. Но у нее, хотя ей уже 39 лет, еще сохранилась эта ловкость, и она пока еще занимается старым. А ветеринарные курсы она окончила уже в лагере.

Насколько я могла заметить, в воровском мире Любовь Соломоновна занимала положение, приблизительно равное чину капитана в армии. Ее возраст, ее образование и мастерство в ремесле, сохранившееся до необычного возраста, вызывали к ней уважение у молодой вольницы.

В одну из сред к нам из тюрьмы пришел очередной этап. В нем, конечно, сразу бросились в глаза прибывшие "красючки". И мне показалось, что в нашей буйной камере стало как-то тише. Но это я приписала случайности.

Однажды, при выходе на прогулку, я оказалась во дворе рядом со скромной на вид новой молодой женщиной, голубоглазой блондинкой лет 35, с приятным, миловидным лицом, но без верхних передних зубов, отчего она слегка шепелявила.

Она была в скромном темном платье, гладко причесана, без претензий на кокетство и производила впечатление скромной конторской служащей или доброй матери семейства. Впоследствии с увлечением она рассказывала, как надо печь пироги с калиной — это ей вполне подходило, так же как и материнские заботы о ее пяти оставшихся дома с бабушкой детях (шестой был убит осколком снаряда на барже при эвакуации Сталинграда, за участие в обороне которого она получила медаль).

Наше знакомство в дверях, при выходе на прогулку, началось с того, что эта молодая женщина, приветливо глядя на меня, сказала мягким, интеллигентным голосом:

— Как я не люблю блатной ругани!

А ругань, даже не злобная, а веселая и оживленная в ожидании прогулки, так волнами и носилась вокруг нас.

Я вполне согласилась с нею, и подумала: "Новенькая! Как это я ее не заметила? Очевидно, растратчица".

На другой день, при выходе на прогулку, мы опять столкнулись в дверях, улыбнулись друг другу уже как знакомые и она опять мне сказала своим мягким и тихим голосом:

— Хотя я и принадлежу к преступному миру, но терпеть не могу блатной ругами.

К преступному миру? Я с изумлением посмотрела на молодую женщину. Все мои уже как-будто сложившиеся понятия о моем умении определять с первого взгляда блатных, сразу рухнули. Эта тихая маленькая женщина, похожая на скромную библиотекаршу или старшую конторщицу, спокойную и исполнительную, и при этом — хорошую мать и хозяйку, — представительница преступного мира?

Мое молчаливое изумление возросло еще больше (вероятно, у меня был довольно глупый вид), когда она продолжала все

тем же мягким, приветливым голосом:

— Я — Зина Кульчинская. Вы, наверно, слышали обо мне от других дам?

Да, конечно, я слышала разговоры о Зине Кульчинской, как о настоящей крупной воровке, воровском "генерале": где сидит Зина, там ни краж, ни вымогательств нет.

Я была так заинтересована, что мы вместе с Зиной вышли на прогулочный дворик и в то время, как другие прятались в тени забора, так как день был очень знойный, мы два часа проходили с Зиной по солнцу, кружа вокруг маленького дворика; я слушала, а она мне рассказывала историю своей жизни.

3 ноября 1957 г.

"Собственность — это кража"

Прудон

История Зинаиды Кульчинской

— Я родилась в одном из больших городов восточной части России. По окончании средней школы и экономического факультета, я поступила на работу в правление одного из трестов, где директор, его жена и свояченица, тоже там служившие, были моими добрыми знакомыми.

Вскоре ревизия обнаружила в тресте большую растрату, за которую были привлечены директор, его жена и сестра жены; меня же, как их близкую знакомую, привлекли вместе с ними за групповую растрату по "Закону от 7 авг". (1938 г.?). Между тем, я никакого отношения к этой растрате не имела. Мне нет никакого смысла скрывать это *теперь, но даю вам слово, что я ничего не знала об этой растрате.*

В то время я уже была замужем за студентом Политехнического института и ожидала ребенка. Незаслуженное обвинение, арест, следствие и суд тяжело отозвались на мне, и по прибытии в лагерь я слегла в больницу, где пролежала долгое время и где родился мой ребенок.

Там, в лагерной больнице, я познакомилась с неким Тюриным. Он был крупным бандитом и стал злым гением моей жизни.

В это время заговорили об очередном освобождении "ма-

мок”, но оно все задерживалось. Между тем, у меня ослабели легкие, я чувствовала себя неважно. Тюрин научил меня подрезывать десны спереди, чтобы “кашлять кровью”. Из-за этого у меня впоследствии выпали передние зубы. Он же научил меня купить слюну у туберкулезной с открытым процессом для анализа. В этой слюне, конечно, были обнаружены туберкулезные палочки.

Все это привело к тому, что меня, как туберкулезную, да еще и “мамку” вдобавок, через несколько месяцев “активировали” и выпустили на волю. Но еще до этого я всецело подпала под влияние Тюрина и стала его орудием и рабой.

— Даю вам слово, что между нами не было любовной связи*. Он был намного старше меня, а я любила своего мужа. Как бы то ни было, Тюрин уговорил меня, пока я еще лежала в лагерной больнице, отправляться с ним по ночам в его ночные похождения. Больница была за зоной, и нам не стоило особого труда выбираться оттуда и по окончании “дела” возвращаться обратно.

Тюрин сначала оставлял меня “на стреме”, пока он забирался в магазины. Потом он стал оставлять “на стреме” другого, а меня брать с собою в магазин. У меня, как ни странно, оказались недюжинные воровские способности. Я с самого начала не трусила, была быстра, ловка, не терялась. Таким образом, я сразу оказалась почти на верхах воровской иерархии, так как магазинные воры, да еще совершающие ночную кражу со взломом, считаются крупными ворами. Меня же увлекал азарт этой профессии, опасность и собственная ловкость.

Но тут пришло мое освобождение. Мы простились с Тюриным, как я думала, навсегда. Я вернулась вместе с ребенком домой, к мужу и маме, и зажила семейной жизнью. Мои ночные похождения — кражи со взломом в магазинах — стали казаться злым сном. Я не могла себе представить, что это делала я, и я старалась забыть все, что было навеяно мексиканской властью Тюрина.

* Мне кажется, судя по дальнейшему, что Зина в этом вопросе почему-то говорила неправду.

Однажды утром я пошла гулять. Когда я вернулась домой, у мамы в столовой кто-то сидел.

— Зина, — сказала мне мама, — смотри, какой хороший твой бывший начальник лагеря, — он был в городе и зашел тебя навестить и узнать о твоём здоровье. Помоги мне угостить его чаем.

Я всмотрелась в военного и узнала... Тюрина! Он где-то раздобыл военный мундир и явился к моей маме, выдав себя за моего бывшего начальника лагеря! Вскоре, выпив чаю, он поднялся уходить и попросил меня проводить его немного. Я отказалась.

— Какая ты нелюбезная, Зина, — упрекнула меня мама, — начальник зашел тебя проведать, а ты даже не хочешь его проводить. Пойди, проводи.

Мне ничего не оставалось, как повиноваться, и мы вышли с Тюриным на улицу.

Что еще сказать? Достаточно мне было пробыть с ним четверть часа, чтобы он опять установил свою дьявольскую власть надо мною. Это было какое-то наваждение.

Мы с Тюриным начали выезжать "на гастроли". Я ни за что не хотела, чтобы муж работал, хотела, чтобы он спокойно кончил институт. Я сказала ему, что занялась спекуляцией и что мне в связи с этим придется выезжать в разные города. Конечно, это тоже запрещено и опасно, и муж умолял меня бросить это занятие, говоря, что он поступит на работу, но я его переубедила. Я во что бы то ни стало хотела, чтобы он стал инженером и, кроме того, меня опять охватил азарт новой профессии.

Так прошло несколько лет. Муж окончил Политехнический институт и стал инженером, у меня пошли дети, но я воровской профессии не бросала.

В первый раз я попала в Казани. Там меня судили и я угодила в тюрьму. Вскоре я получила с воли записку от Тюрина: "Выходи тогда-то во двор на уборку снега. Тебе помогут бежать".

Я попросила работать на уборке снега в тюремном дворе. Конвой особенно не наблюдал. Двое расконвоированных заключенных, очевидно, подкупленные Тюриным, или его приятели, велели мне лечь на подводу и засыпали меня снегом. Когда под-

вода была полна, они вывезли меня за тюремные ворота и "высыпали" на свалке.

Оттуда я приехала домой. В тюрьме я переболела сыпным тифом и явилась домой стриженная наголо. Дома все очень беспокоились, куда я исчезла. Мое долгое отсутствие я объяснила болезнью, умолчав, конечно, о тюрьме. Муж стал опять просить меня бросить "спекуляцию". В это время, получив диплом инженера, он уже служил. Но я под разными предложениями продолжала свою деятельность, так как не могла порвать с Тюриным.

Когда я попала во второй раз, власти выяснили, кто я, и дали знать мужу. Муж приехал в тот город, где меня арестовали. Он был в ужасе, умолял меня бросить воровскую жизнь, порвать с Тюриным. Но я не могла этого сделать. После нескольких неудачных попыток моего исправления, муж от меня отказался. Маму с детьми я взяла к себе, но и от них я уезжала "на гастроли".

Нашей с Тюриным специальностью были магазины, товарные вагоны, склады. Только однажды, и как раз, когда в другом вагоне ехала мама с детьми, я польстилась на мелочь (Зина сделала гримаску) — на чемоданы, и попала.

Мама меня тоже не могла уговорить бросить навсегда эту жизнь. Но временами я ее все-таки бросала.

При обороне Сталинграда я была как раз там. Я отослала маму с детьми на барже вместе с другими эвакуирующимися, а сама осталась в городе. Когда баржа отходила, поблизости разорвался снаряд и (глаза Зины наполнились слезами) один из моих детей был убит осколком.

После освобождения Сталинграда мы уехали на Сахалин, где я получила работу. Некоторое время я честно работала. Еще до Сталинграда мы с Тюриным потеряли друг друга из виду, но его влияние уже сказалось на мне. Мне в честной жизни не хватало того азарта, который дает жизнь воровская. Это меня больше всего и привлекало в ней.

На Сахалине я некоторое время честно служила. Потом я облюбовала один магазин. Но для того, чтобы его ограбить, мне нужна была сообщница. Я познакомилась и сговорилась с одной женщиной (продавщицей магазина) и мы ночью, по ее предложению, унесли украденное из магазина к ней на квартиру.

Пока я была у нее — смотрю, вдруг в комнату входит офицер МВД. Моя сообщница была его свояченицей и устроила мне ловушку. Меня тут же арестовали и отправили в тюрьму.

Из тюрьмы нас через некоторое время должны были отправить этапом на континент — во Владивосток. За несколько дней до этапа мне передали записку — от кого бы вы думали? — от Тюрина! Разыскал меня даже на Сахалине. Тюрин писал, чтобы в момент посадки на пароход я бежала и спряталась в одной из бочек, которые в изобилии стояли на берегу, возле пристани. Дальше он мне поможет.

Мне удалось это сделать. Этап был большой, кроме того, шла погрузка бревен и других грузов, у пристани была толча, и мне удалось незаметно спрятаться в одну из бочек из-под мазута.

Можете себе представить, как я выглядела, когда Тюрин и его сообщники извлекли меня из мазутной бочки?

— Кстати, оба мои побега — казанский на подводе со снегом и сахалинский — нигде в моих документах не зафиксированы, т.к. я меняла документы.

Некоторое время я продолжала "работать" с Тюриным, но затем, расставшись с ним в очередной раз, я решила совсем бросить преступную жизнь.

К этому времени я получила службу в одном из поселков на самом берегу Байкала, в большом рыболовном тресте. Я работала в конторе, и одной из моих обязанностей была выдача рабочим талонов на питание в столовой треста. Я в это время совсем отошла от преступного мира. Вышла во второй раз замуж. Мой муж был цыган, но совсем европеизированный (я подумала, что для того, чтобы навсегда порвать с преступным миром, Зина выбрала себе неудачного мужа в смысле национальности, и оказалась права).

— Так вот, стою я однажды у большого окна нашей конторы, из которого открывался чудный вид на Байкал. Вижу, с берега идет группа рабочих, направляясь в контору за талонами в столовую. Вдруг сердце у меня оборвалось, я не поверила своим глазам: среди рабочих идет мой злой гений Тюрин!

Значит, он выследил, где я нахожусь, и поступил для виду рабочим, чтобы быть возле меня и опять (в который раз!) втя-

нуть меня в свои темные дела.

У нас с ним было объяснение, и я на этот раз категорически отказалась возвращаться к преступной жизни. Более того, чтобы не быть в одном месте с Тюриным, я отказалась от службы в рыболовном тресте и переехала в Иркутск, где меня назначили заведующей двумя военными складами. Мы достали квартиру из двух комнат с кухней. Муж тоже имел службу, и жизнь текла нормально.

Однажды я пришла домой со службы и удивилась: одна из наших двух комнат оказалась занятой двумя офицерами, у которых было очень много багажа, ящиков и т.д. Муж объяснил мне, что эти офицеры — с фронта, проездом, у них очень большой багаж, они никак не могли найти себе комнату и упростили его пустить их. Через два дня они уедут.

Я любезно отнеслась к фронтовикам, предложила им чай и закуску, а они добавили свою выпивку. Они оказались очень симпатичными, и мы хорошо провели те два дня, что они пробыли у нас.

Довольно поздно вечером, в последний день, один из офицеров, целый день носившийся в городе по хозяйственным закупкам для своей части, сказал мне с огорчением, что нигде не мог найти гвоздей. Он очень просил отпустить ему гвоздей с моих складов.

Это было поздно вечером, и я очень устала после службы. Мне не хотелось ехать самой на склад и я поступила, признаюсь, неосторожно: дала ему записку к старику — сторожу, которому очень доверяла, чтобы он отпустил гвозди. Вскоре офицер вернулся с гвоздями, но утром оказалось, что оба склада дочиста ограблены, а офицеров и след простыл.

Конечно, арестовали меня и во время следствия для меня открылась вся картина: оказывается, Тюрин, убедившись в невозможности склонить меня опять к преступной жизни, тайно сговорился с моим мужем. Офицеры были настоящие военные, но при этом — члены "Черной Кошки".

Ограбление складов с их помощью было организовано, конечно, Тюриным. Когда один из офицеров поздно вечером поехал на склады "за гвоздями", он высмотрел расположение складов, охрану, запоры и т.д. В ту же ночь шайке удалось очистить

склады.

— Даю вам слово, что на этот раз я совсем невиновна.

Как бы то ни было, попав в зный раз в тюрьму, Зина Кульчинская снова сразу оказалась на самой верхушке преступного мира: два военных склада, да еще враз — это тебе не украденное с веревки белье!

Счастье для окружающих, что еще есть такие Зины Кульчинские: с ее появлением в камере сразу прекратились кражи, вымогательства и отнятие вещей силой ("курочение"), сильно побавилась брань и сквернословие.

Каким образом достигала этого Зина, я не знаю. Я лично ни разу не видела, чтобы она разговаривала с воровками. Она держалась тихо и скромно, жила в сторонке, на верхних нарах, и на прогулке, во время своего недолгого пребывания на иркутской пересылке, гуляла со мной или с дамами, которых знала по тюрьме. Немолодая карманная воровка Любовь Соломоновна иногда ненадолго подходила к ней и обращалась с нею почтительно.

18 ноября 1957 г.

...Посещения санчасти служили для нас своего рода развлечением и, кроме того, давали возможность лишнее время погулять. Часов в 10-11 приходил со списком ответдежурный и вызывал тех, кто во время утреннего обхода сестры записался на прием к доктору или, как я, ежедневно ходил принимать лекарство. Уже побывавшим у доктора разрешалось в ожидании других сидеть на крыльце на солнышке, что добавляло еще час к нашей прогулке и давало иногда возможность увидеть знакомых.

Так, однажды, сидя у окна нашей камеры, я увидела мужчину моего манчжурского этапа, которые как раз гуляли на прогулочном дворике и, увидав мое лицо за решеткой, приветливо замахали мне. Особенно старался кто-то новый, стоявший по середине прогулочного дворика и усиленно сигнализировавший мне шапкой. Я кивала в ответ, но из-за моей близорукости не разобрала, кто это.

На другое утро я сидела на крыльце санчасти, поджидая других. В это время мимо меня в баню провели колонну мужчин, которые все весело мне закивали и приветствовали. Это были наши манчжурцы. Среди них шел высокий, худой человек в серых брюках, обнаженный до пояса, с банным узелком в руках. Он радостно приветствовал меня. Это был вчерашний новенький. Я присмотрелась и узнала.

Алексей Алексеевич! — крикнула я — и вы попали? За

За стихи.

На семь! — крикнул он, скрываясь за углом бани.

Алексей Агаир (Алексей Алексеевич Грызов) был одним из наших виднейших поэтов дальневосточной эмиграции, секретарем ХСМЛ и руководителем всей большой культурной работы среди молодежи, которая велась этим учреждением. Сюда входили Английский, позже Немецкий колледж с двумя отделениями, который выпускал преподавателей иностранных языков, преподавателей иностранных языков, переводчиков и конторских служащих, знающих иностранные языки; классическая русская смешанная гимназия, одна из лучших в городе; прекрасная библиотека, русская и иностранная в двадцать тысяч томов, где я в течение многих лет брала книги; литературно-музыкальный кружок, которым руководил Алексей Алексеевич; общежитие для малосостоятельных студентов и другой молодежи, где жили в трудные годы начала эмиграции некоторые мои друзья; спортивные площадки на Сунгари с пляжем, яхтами и катерами; до войны — отправка за счет ХСМЛ некоторых золотых медалистов из окончивших гимназию в качестве стипендиатов в университеты США. Так вот, секретарь этого учреждения, эстет и немножко денди, бывший офицер Сибирского казачьего войска, муж нашей красивой оперной примадонны и пианистки, только что прошагал мимо меня худой, небритый, полуголый — в арестантскую баню.

Очень было жаль, что так и не удалось поговорить с ним, вскоре его увезли на этап. Мы были хорошо знакомы: я часто писала в газетах отзывы о его стихах. Иногда критиковала их за некоторые уклоны в декадентство, в модернизм, но признавала их поэтическую звучность и музыкальность. Некоторые стихи

он декламировал, подбирал к ним сам музыку и сам же себе аккомпанировал.

Однажды, когда мы гуляли на прогулочном дворике, дежурный отпер калитку и впустил к нам новенькую девушку вместе с ее багажом, т.к. в нашей камере шла уборка. Девушка эта была на фоне общей послевоенной бедности хорошо одета и у нее были хорошие большие чемоданы. Ее красивый джемпер имел заграничный вид.

Но не на это я обратила внимание. У девушки было очень хорошенькое, удивительно кукольное личико. Золотые кудри, розовые щечки, голубые глаза. Выражение лица и открытых голубых глаз — до того наивное, что дальше некуда. Точно она только что выпрыгнула из картонной кукольной коробки. Хотя у нее были все внешние атрибуты "красючки", но сразу было видно, что она не блатная. Прямо дореволюционная институтка из одного из романов Чарской!

Ее приход вызвал минуту потрясенного молчания со стороны Таньки-Барыни и ее подруг. Затем, когда прошел первый шок, вся кампания со всех ног ринулась к новенькой. Урки налетели на нее, как мухи на мед: еще бы, такие "вантажи"* , хорошо одета, а по лицу видно, что наивна до глупости и фрайерша из фрайерш, тюрьмы и не нюхала; ну где еще найти такой лакомый кусочек, который сам падает в рот?

Я искоса поглядывала на новенькую, не зная, как предупредить этого бедного ребенка. Ведь ясно, что через час, не более, от ее "вантажей" ничего не останется. Когда еще у Таньки будет такой случай, чтобы эдакие чемоданы сами прыгнули к ней на нары?

Но я была достаточно опытна, чтобы не предупреждать новенькую тут же. Кончилась прогулка и блатные во главе с Танькой, которая уже нежно обнимала новенькую, окружив ее плотным кольцом, "проконвоировали" ее до камеры, где устроили на запретных нижних нарах под окном, расположившись вокруг.

"Ну, все пропало! — подумала я. — Постараюсь хоть во

* Вантажи — "богатый багаж" на воровском языке.

время завтрашней прогулки предупредить бедную наивную девочку, в какую кампанию она попала, может быть, до завтра сохранится хоть что-нибудь из ее вещей!" А новенькая, не ведая о всех моих переживаниях, сидела в окружении новых подруг, весело болтая с ними и доверчиво переводя свои голубые кукольные глаза с одной на другую.

На другой день, в момент, когда мы толпой выходили из камеры, я постаралась быть возле нее и, оглянувшись и увидев, что поблизости нет урок, зашептала:

— Я хочу вас предупредить. Вы, очевидно, не понимаете, в какую кампанию вы попали: вас окружают урки, т.е. уголовные преступницы-воровки и убийцы. Они вас до нитки оберут, если еще чудом не обобрали. Постарайтесь поскорее переехать от них подальше, и не иметь с ними никакого дела.

И тут из голубых наивных глаз, смотревших так доверчиво и детски-открыто, вдруг блеснула молния острого ума, затаенного смеха, даже насмешки. Детский звонкий голосок с совсем недетскими интонациями ответил:

— Благодарю за предупреждение, но я с первого взгляда увидела, с кем имею дело. Я именно и подружилась с ними, чтобы спасти свои чемоданы.

— Но это вам не поможет! — воскликнула я, ошеломленная внезапным превращением этих глаз.

— По-мо-жет! — весело и уверенно протянула она, и вышла с толпой в коридор, на прощание ласково кивнув мне головой.

Вот так превращение! Вот тебе и наивная деточка, которую я считала своим нравственным долгом защитить от Таньки-Барыни! Как бы узнать, кто она такая?

Но еще большее изумление ждало меня впереди.

Нужно сказать, что еще до появления новенькой, которую, как оказалось, звали Надей Збарасской, мы все почувствовали, что у нас в камере появилась "наседка", т.е. доносица. Вероятно, их в камере на сто двадцать пять человек была не одна, но те себя пока не проявляли. Здесь же всем стало ясно, что есть "наседка": оперу становилось известно все, что говорилось и делалось в камере, и часто следовали вызовы то одной, то другой заключенной к оперу для неприятных разговоров. Но кто она, эта доносица? У нас не было даже приблизительных подозрений.

На следующий день после моего предупреждения Надя перед прогулкой, когда вся камера пришла в движение, и я тоже сошла вниз, подошла ко мне. Уже не разыгрывая передо мной комедии, она сказала мне прямо и деловито:

У нас в камере есть "наседка".

— Да? — Я старалась ничему больше не удивляться.

— Вот она, — Надя показала мне на девушку в красной вязаной кофточке, сидевшую недалеко от окна на верхних нарах, лицом к окну и спиной к камере, погруженную в вышивание.

Эта девушка, Вера Шорохова, бытовичка, но не блатная, кажется, из растратчиц — тихая, спокойная певунья, которую кто-нибудь из камеры всегда просил петь.

— Вера Шорохова?! Да нет, Надя, вы ошибаетесь! — воскликнула я. — Я ее мало знаю, но она не может быть наседкой уже потому, что ни с кем не сходится, в разговорах участия не принимает, а вот так сидит целыми днями у себя наверху, спиной к камере, вышивает и поет.

— И все-таки это она, верьте моему большому опыту, — твердо и уверенно сказала таинственная Надя.

Я не знала, что и думать. В такой разношерстной, незнакомой толпе, как наша, через два дня обнаружить "наседку", которую мы не могли обнаружить месяцами! Да, для этого нужен большой и специфический опыт. Вот тебе и златокудрая и голубоглазая кукла.

А еще через несколько дней Надя Збарасская рассказала мне свою биографию.

Она по образованию — зубной врач, только что успевшая кончить Медицинский институт в Киеве, как началась война. Мать ее — женщина прежнего склада, в тяжелые годы преследования церкви принявшая тайное монашество, но продолжавшая жить с семьей, потому что, как известно, монастыри были все разогнаны. Детей своих, Надю и ее брата, она воспитала по-своему, и Надя с восхищением рассказывала мне об одной тайной игуменье, которая иногда приезжала к ее матери и обладала даром ясновидения, так что она за несколько лет предсказала Наде ее судьбу.

Далее начинаются более темные страницы ее биографии. Во время оккупации семья не эвакуировалась, и Надя вышла замуж

за человека, который при немцах стал городским головой того южного города (не помню, какого), где они жили.

С мужем они во время войны ездили в Германию, Бельгию и, кажется, Румынию. В Германии Надя, пройдя соответствующую подготовку, стала одним из агентов-пропагандистов генерала Власова. Ее обязанностью было ездить по лагерям советских военнопленных и вести там пропаганду.

Когда Германия была разбита и немцы отступали, а может быть, это было после капитуляции, муж Нади был арестован советскими властями и за то, что был во время германской оккупации городским головой, получил 15 лет каторги.

Надя, у которой в это время уже был грудной ребенок, не стала дожидаться своей очереди. Она взяла ребенка и, прихватив брата, которой был курсантом Одесского военного училища и, по словам Нади, абсолютно ни в чем не замешан, поехала по чужому паспорту на Сахалин. Не доезжая Иркутска они были задержаны. Брата ее отпустили и он уехал в свое училище, а она попала под следствие. Ребенок ее умер.

Когда я спросила Надю, сколько лет она получила, она мне ответила, что десять по п. 10. В отношении срока она, наверно, сказала неправду: думаю, что ей дали не десять, а двадцать пять лет.

Однажды утром прибегает ко мне Танька-Барыня. Вид у Таньки был победоносный и сияющий.

— Мария Лазаревна, помните, что Надя Збарасская сразу стала подозревать, что Вера Шорохова — "наседка"?

— Конечно, помню.

— Я сегодня ночью решила сделать у Веры обыск.

Я улыбнулась, поняв, конечно, какова была, во всяком случае начальная, цель обыска.

— И знаете, что я нашла? Написанный и подписанный Верой донос на Надю, который Вера еще не успела передать оперу. Я его отдала Наде. Хорошо я сделала?

— Молодец, Таня! Очень хорошо!

Таня ушла от меня гордая и удовлетворенная. Но какова Надя Збарасская? Ведь она определила это на второй день своего пребывания на пересылке. Да, это была специалистка...

Мы с Надей много говорили о литературе; она интересова-

лась русскими зарубежными писателями Ив. Буниным, Куприным и другими. Уезжая с пересылки, я простилась с этой умной и волевой женщиной с наружностью фарфоровой куклы и голубыми наивными глазами.

О дальнейшей судьбе Нади Збарасской мне ничего неизвестно.

М. Шапиро

ТРОЦКИЙ

СТАЛИН

1917 ГОД

Это был самый важный год в жизни страны и особенно того поколения профессиональных революционеров, к которому принадлежал Иосиф Джугашвили. На оселке этого года испытывались идеи, партии и люди [...].

Двадцать два дня между прибытием Сталина из Сибири (12 марта) и прибытием Ленина из Швейцарии (3 апреля) представляют для оценки политической физиономии Сталина исключительное значение. Перед ним сразу открывается широкая арена. Ни Ленина, ни Зиновьева в Петрограде нет. Есть Каменев, известный своими оппортунистическими тенденциями и скомпрометированный своим поведением на суде. Есть молодой и малоизвестный партии Свердлов, больше организатор, чем политик. Неистового Спандарьяна нет: он умер в Сибири. Как в 1912 году, так и теперь, Сталин оказывается на время если не первой, то одной из двух первых большевистских фигур в Петрограде. Растерянная партия ждет ясного слова; отмолчаться невозможно. Сталин вынужден давать ответы на самые жгучие вопросы: о советах, о власти, о войне, о земле. Ответы напечатаны и говорят сами за себя.

Немедленно по приезде в Петроград, представлявший в те дни один сплошной митинг, Сталин направляется в большевистский штаб. Три члена бюро ЦК в сотрудничестве с несколькими литераторами определяли физиономию "Правды". Они делали это беспомощно, но руководство партией было в их руках. Пусть другие надрывают голоса

См. "Н.Ж.", N 155, 156. Печатается с некоторыми сокращениями.

на рабочих и солдатских митингах, Сталин окопается в штабе. Свыше четырех лет назад, после Пражской конференции, он был кооптирован в

ЦК. После того много воды утекло. Но ссыльный из Курейки умеет держаться за аппарат и продолжает считать свой мандат непогашенным. При помощи Каменева и Муранова он первым делом отстранил от руководства слишком "левое" Бюро ЦК и редакцию "Правды". Он сделал это достаточно грубо, не опасаясь сопротивления и торопясь показать твердую руку.

"Прибывшие товарищи, — писал впоследствии Шляпников, — были настроены критически и отрицательно к нашей работе". Ее порок они видели не в нерешительности и бесцветности, а наоборот, в чрезмерном стремлении отмежеваться от соглашателей. Сталин, как и Каменев, стояли гораздо ближе к советскому большинству. Уже с 15 марта "Правда", перешедшая в руки новой редакции, заявила, что большевики будут решительно поддерживать Временное правительство, "поскольку оно борется с реакцией или контрреволюцией"... Того же типа был ответ насчет войны; пока германская армия повинуется своему императору, русский солдат должен "стойко стоять на своем посту, на пулю отвечать пулей и на снаряд — снарядом"... Статья принадлежала Каменеву, но Сталин не противопоставил ей никакой другой точки зрения. От Каменева он вообще отличался в этот период разве лишь большей уклончивостью. "Всякое пораженчество, — писала "Правда", — а вернее то, что неразборчивая печать под охраной царской цензуры клеймила этим именем, умерло в тот момент, когда на улицах Петрограда показался первый революционный полк". Это было прямым отмежеванием от Ленина, который проповедывал пораженчество вне досягаемости для царской цензуры, и подтверждением заявлений Каменева на процессе думской фракции, но на этот раз также и от имени Сталина. Что касается "первого революционного полка", то появление его означало лишь шаг от византийского варварства к империалистской цивилизации. [...]

Политика советов была насквозь пропитана духом условности и двусмысленности. Массы больше всего нуждались в том, чтоб кто-нибудь назвал вещи их настоящим именем: в этом, собственно, и состоит революционная политика. Но никто этого не делал, боясь потрясти хрупкое здание двоевластия. Наибольше фальши скоплялось вокруг вопроса о войне. 14 марта Исполнительный комитет внес в совет проект манифеста "К народам всего мира". Рабочих Германии и Австро-Венгрии

этот документ призывал отказаться "служить орудием захвата и насилия в руках королей, помещиков и банкиров". Тем временем сами вожди совета совсем не собирались рвать с королями Великобритании и Бельгии, с императором Японии, с помещиками и банкирами, своими собственными и всех стран Антанты... Почти в те же часы Ленин писал в Петроград через Стокгольм об угрожающей революции опасности прикрытия старой империалистической политики новыми революционными фразами: "Я даже предпочту раскол с кем бы то ни было из нашей партии, чем уступлю социал-патриотизму". Но идеи Ленина не нашли в те дни *ни одного* защитника.

Единогласное принятие Манифеста в Петроградском совете означало не только торжество империалиста Милюкова над мелкобуржуазной демократией, но и торжество Сталина и Каменева над левыми большевиками. Все склонились перед дисциплиной патриотической фальши. "Нельзя не приветствовать, — писал Сталин в "Правде", — вчерашнее воззвание совета... Воззвание это, если оно дойдет до широких масс, без сомнения, вернет сотни и тысячи рабочих к забытому лозунгу: пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

Посвященная Манифесту статья Сталина в высшей степени характерна не только для его позиции в данном конкретном вопросе, но и для его метода мышления вообще. Его органический оппортунизм, вынужденный, благодаря условиям среды и эпохи, временно искать прикрытия в абстрактных революционных принципах, обращается с ними, на деле, без церемонии. В начале статьи автор почти дословно повторяет рассуждения Ленина о том, что и после низвержения царизма война на стороне России сохраняет империалистский характер. Однако, при переходе к практическим выводам он не только приветствует, с двусмысленными оговорками, социал-патриотический Манифест, но и отвергает, вслед за Каменевым, революционную мобилизацию масс против войны. "Прежде всего несомненно, — пишет он, — что голый лозунг: долой войну! совершенно непригоден как практический путь". На вопрос: где же выход? он отвечает: "Давление на Временное правительство с требованием изъяснения своего согласия немедленно открыть мирные переговоры"... При помощи дружественного "давления" на буржуазию, для которой весь смысл войны в завоеваниях, Сталин хочет достигнуть мира "на началах самоопределения народов". Против подобного филистерского утопизма Ленин направлял главные свои удары с начала войны.

Не менее знаменательна статья Сталина "Об отмене национальных ограничений" ("Правда", 25 марта). Основная идея автора, воспринятая им еще из пропагандистских брошюр времен тифлисской семинарии, состоит в том, что национальный гнет есть пережиток средневековья. Империализм, как господство сильных наций над слабыми, совершенно не входит в его поле зрения. "Социальной основой национального гнета, — пишет он, — силой, одухотворяющей его, является отживающая земельная аристократия... В Англии, где земельная аристократия делит власть с буржуазией, национальный гнет более мягок, менее бесчеловечен, если, конечно, не принимать во внимание того обстоятельства, что в ходе войны, когда власть перешла в руки лендлордов, национальный гнет значительно усилился (преследование ирландцев, индусов)".

Ряд диковинных утверждений, которыми переполнена статья — будто в демократиях обеспечено национальное и расовое равенство; будто в Англии власть во время войны перешла к лендлордам; будто ликвидация феодальной аристократии означает уничтожение национального гнета, — насквозь проникнут духом вульгарной демократии и захолустной ограниченности. Автор не продвинулся теоретически вперед с начала столетия; более того, он как бы совершенно позабыл собственную работу по национальному вопросу, написанную в начале 1913 г. под указку Ленина.

"Поскольку русская революция победила, — заключает статья, — она уже создала этим фактические условия [для национальной свободы], ниспровергнув феодально-крепостническую власть". Для нашего автора революция остается уже полностью позади. Впереди, совершенно в духе Милокува и Церетели, — "оформление прав" и "законодательное их закрепление". Такова была — трудно поверить и сейчас! — историческая и политическая концепция Сталина за десять дней до того, как Ленин провозгласил курс на социалистическую революцию.

28 марта, одновременно с совещанием представителей важнейших советов России, в Петрограде открылось всероссийское совещание большевиков, созванное бюро ЦК. Несмотря на месяц, протекший после переворота, в партии царил совершенная растерянность, которую руководство последних двух недель только усугубило. Никакого размежевания течений еще не произошло. В ссылке для этого понадобился приезд Спандарьяна; теперь партии пришлось дожидаться Ленина. Крайние патриоты, вроде Войтинского, Элиавы и др., продолжали

называть себя большевиками и участвовали в партийном совещании наряду с теми, кто считал себя интернационалистами. Патриоты выступали гораздо более решительно и смело, чем полу-патриоты, которые отступали и оправдывались. Большинство делегатов принадлежало к болоту и, естественно, нашло в Сталине своего выразителя. "Отношение к Временному правительству у всех одинаковое", — говорил саратовский делегат Васильев. "Разногласий в практических шагах между Сталиным и Войтинским нет", — с удовлетворением утверждал Крестинский. Через день Войтинский перейдет в ряды меньшевиков, а через семь месяцев поведет казачьи части против большевиков.

Поведение Каменева на суде не было, видимо, забыто. Возможно, что среди делегатов шли разговоры также и о таинственной телеграмме великому князю. Исподтишка Сталин мог напоминать об этих ошибках своего друга. Во всяком случае, главный политический доклад, об отношении к Временному правительству, был поручен не Каменеву, а менее известному Сталину. Протокольная запись доклада сохранилась и представляет собой для историка и биографа неоценимый документ: дело идет о центральной проблеме революции, именно, о взаимоотношении между советами, опиравшимися непосредственно на вооруженных рабочих и солдат, и буржуазным правительством, опиравшимся только на услужливость советских вождей. "Власть поделилась между двумя органами, — говорил на совещании Сталин, — из которых ни один не имеет полноты власти... Совет фактически взял почин революционных преобразований; совет — революционный вождь восставшего народа, орган, контролирующий Временное правительство. Временное правительство взяло, фактически, роль закрепителя завоеваний революционного народа. Совет мобилизует силы, контролирует. Временное же правительство, упираясь, путаясь, берет роль закрепителя тех завоеваний народа, которые уже фактически взяты им". Эта цитата стоит целой программой!

Взаимоотношения между двумя основными классами общества докладчик изображает, как разделение труда между двумя "органами": советы, т.е. рабочие и солдаты, совершают революцию; правительство, т.е. капиталисты и либеральные помещики, "закрепляют" ее. В 1905—1907 гг. сам Сталин не раз писал, повторяя Ленина: "Русская буржуазия антиреволюционна, она не может быть ни двигателем, ни тем более вождем революции, она является заклятым врагом революции, и с ней надо вести упорную борьбу." Эта руководящая политическая идея

большевизма отнюдь не была опровергнута ходом Февральской революции... Непримируемую классовую борьбу, которая, несмотря на усилия соглашателей, каждый день стремилась превратиться в гражданскую войну, Сталин изображал, как простое разделение труда между двумя аппаратами. Так не поставил бы вопроса даже левый меньшевик Мартов. Это есть теория Церетели, оракула соглашателей, в ее наиболее вульгарном выражении: на арене демократии действуют "умеренные" и более "решительные" силы и разделяют между собою работу: одни завоевывают, другие закрепляют. Мы имеем здесь перед собою в готовом виде схему будущей сталинской политики в Китае (1924—1927), в Испании (1934—1939), как и всех вообще злополучных "народных фронтов".

"Нам невыгодно форсировать сейчас события, — продолжал докладчик, — ускоряя процесс откальвания буржуазных слоев... Нам необходимо выиграть время, затормозив откальвание средне-буржуазных слоев, чтобы подготовиться к борьбе с Временным правительством". Делегаты слушали эти доводы со смутной тревогой. "Не отпугивать буржуазию" — было всегда лозунгом Плеханова, а на Кавказе — Жордания. На ожесточенной борьбе с этим ходом идей вырос большевизм. "Затормозить откальвание" буржуазии нельзя иначе, как затормозив классовую борьбу пролетариата; это, по существу, две стороны одного и того же процесса. "Разговоры о незапугивании буржуазии, — писал сам Сталин в 1913 г., незадолго до своего ареста, — вызывали лишь улыбку, ибо было ясно, что социал-демократии предстояло не только "запугать", но и сбросить с позиции эту самую буржуазию в лице ее адвокатов — кадетов." Трудно даже понять, как мог старый большевик до такой степени позабыть четырнадцатилетнюю историю своей фракции, чтоб в самый критический момент прибегнуть к наиболее одиозным формулам меньшевизма. Объяснение кроется в том, что мысль Сталина невосприимчива к общим идеям, и память его не удерживает их. Он пользуется ими по мере надобности, от случая к случаю, и отбрасывает без сожаления, почти автоматически.

Огласив резолюцию ЦК, составлявшуюся при его участии, Сталин неожиданно заявляет, что "не совсем согласен с нею, и скорее присоединяется к резолюции Красноярского совета". Закулисная сторона этого маневра неясна. В выработке резолюции для Красноярского совета мог участвовать сам Сталин по пути из Сибири. Возможно, что, прощупав ныне настроение делегатов, он пытается слегка отодвинуться от Каме-

нева. Однако, Красноярская резолюция стоит по уровню еще ниже Петербургского документа. "...Со всей полнотой выяснить, что единственный источник власти и авторитета Временного правительства есть воля народа, которому Временное правительство обязано всецело повиноваться, и поддерживать Временное правительство... лишь постольку, поскольку оно идет по пути удовлетворения требований рабочего класса и революционного крестьянства". Вывезенный из Сибири секрет оказывается очень прост: буржуазия "обязана всецело повиноваться" народу и "идти по пути" рабочих и крестьян.

Через несколько недель формула о поддержке буржуазии "постольку — поскольку" станет в среде большевиков предметом всеобщего издевательства. Однако, уже и сейчас некоторые из делегатов протестуют против поддержки правительства князя Львова: эта идея слишком шла вразрез со всей традицией большевизма.

На следующий день социал-демократ Стеклов, сам сторонник формулы "постольку — поскольку", но близкий к правящим сферам в качестве члена "контактной комиссии", неосторожно нарисовал на совещании советов такую картину деятельности Временного правительства — сопротивление социальным реформам, борьба за монархию, борьба за аннексии, — что совещание большевиков в тревоге отшатнулось от формулы поддержки. "Ясно, что не о поддержке, — так формулировал настроение многих делегат умеренных Ногин, — а о противодействии должна теперь идти речь". Ту же мысль выразил делегат Скрыпник, принадлежавший к левому крылу: "После вчерашнего доклада Сталина многое изменилось... Идет заговор Временного правительства против народа и революции, а резолюция говорит о поддержке". Обескураженный Сталин, перспектива которого не продержалась и 24 часа, предлагает "дать директиву комиссии об изменении пункта о поддержке". Конференция идет дальше: "большинством против 4-х пункт о поддержке из резолюции исключается". [...]

На следующий день большевистская конференция обсуждала предложение лидера правых меньшевиков Церетели об объединении обеих партий. Сталин отнесся к предложению наиболее сочувственно: "Мы должны пойти. Необходимо определить наши предложения о линии объединения. Возможно объединение по линии Циммервальда-Кинтала". Дело шло о "линии" двух социалистических конференций в Швейцарии, с преобладанием умеренных пацифистов. Молотов, пострадавший две недели назад за левизну, выступил с робкими возражениями:

“Церетели желает объединить разношерстные элементы... объединение по этой линии неправильно”. Более решительно протестует Залуцкий, одна из будущих жертв чистки. Но Сталин, названный мещанином, стоял на своем: “Забегать вперед и предупреждать разногласия не следует. Без разногласий нет партийной жизни. Внутри партии мы будем изживать мелкие разногласия”. Трудно верить глазам: разногласия с Церетели, вдохновителем правящего советского блока, Сталин объявляет мелкими разногласиями, которые можно “изживать” внутри партии. Прения происходили 1-го апреля. Через три дня Ленин объявит Церетели смертельную войну. Через два месяца Церетели будет разоружать и арестовывать большевиков.

Мартовское совещание 1917 г. чрезвычайно важно для оценки состояния умов верхнего слоя большевистской партии сейчас же после Февральской революции, и в частности Сталина, каким он вернулся из Сибири после четырех лет самостоятельных размышлений. Он выступает перед нами из скупых записей протоколов, как плебейский демократ и ограниченный провинциал, которого условия эпохи заставили принять марксистскую окраску. Его статьи и речи за эти недели бросают безошибочный свет на его позицию за годы войны: если б он в Сибири хоть сколько-нибудь приблизился к идеям Ленина, как клянутся написанные двадцать лет спустя воспоминания, он не мог бы в марте 1917 г. так безнадежно увязнуть в оппортунизме. Отсутствие Ленина и влияние Каменева позволили Сталину проявить на заре революции свои наиболее органические черты: недоверие к массам, отсутствие воображения, короткий прицел, поиски линии наименьшего сопротивления. Эти качества его мы увидим позже во всех больших событиях, в которых Сталину доведется играть руководящую роль.. Немудрено, если мартовское совещание, где политик Сталин раскрыл себя до конца, ныне вычеркнуто из истории партии, и протоколы его держатся под семью замками. В 1923 г. были секретно изготовлены три копии для членов “тройки”: Сталина, Зиновьева, Каменева. Только в 1926 г., когда Зиновьев и Каменев перешли в оппозицию к Сталину, я получил от них этот замечательный документ, что дало мне затем возможность опубликовать его за границей на русском и английском языках.

В конце-концов протоколы ничем существенным не отличаются от статей в “Правде”, а только дополняют их. Не осталось вообще от тех дней ни одного заявления, предложения, протеста, в которых Сталин сколько-нибудь членораздельно противопоставил бы большевистскую

точку зрения политике мелкобуржуазной демократии. Один из бытописателей того периода, левый меньшевик Суханов, автор упомянутого выше манифеста "К трудящимся всего мира", говорит в своих незамеченных "Записках о революции": "У большевиков в это время, кроме Каменева, появился в Исполнительном Комитете Сталин... За время своей скромной деятельности [он] производил — не на одного меня — впечатление серого пятна, иногда маячившего тускло и бледно. Больше о нем, собственно, нечего сказать", За этот отзыв, который нельзя не признать односторонним, Суханов поплатился впоследствии жизнью.

3 апреля, пересекши неприятельскую Германию, прибыли в Петроград через финляндскую границу Ленин, Крупская, Зиновьев и другие... Группа большевиков, во главе с Каменевым, выехала встречать Ленина в Финляндию. Сталина в их числе не было, и этот маленький факт лучше всего другого показывает, что между ним и Лениным не было ничего, похожего на личную близость. [...] Много лет спустя кто-то вспомнил, что Ленин в пути справился о Сталине. Этот естественный вопрос (Ленин, несомненно, справлялся о всех членах старого большевистского штаба) послужил впоследствии завязкой советского фильма ...

Партия оказалась застигнута Лениным врасплох не менее, чем Февральским переворотом. Критерии, лозунги, обороты речи, успевшие сложиться за пять недель революции, летели прахом. "Он решительным образом напал на тактику, которую проводили руководящие партийные группы и отдельные товарищи до его приезда", — пишет Раскольников; речь идет в первую голову о Сталине и Каменеве. [...]

4-го апреля Ленин появился на том самом партийном совещании, на котором Сталин излагал теорию мирного разделения труда между Временным правительством и советами. Контраст был слишком жесток. Чтoб смягчить его, Ленин, вопреки своему обыкновению, не подверг анализу уже принятые резолюции, а просто повернулся к ним спиной. [...]

Три дня тому назад Сталин заявлял о своей готовности объединиться с партией Церетели. "Я слышу, — говорил Ленин, — что в России идет объединительная тенденция; объединение с оборонцами — это предательство социализма. Я думаю, что лучше остаться одному, как Либкнехт. Один против 110! Недопустимо даже носить дольше общее с

меньшевиками имя социал-демократии. Лично от себя предлагаю переменить название партии, назваться коммунистической партией". Ни один из участников совещания, ни даже приехавший с Лениным Зиновьев, не поддержал этого предложения, которое казалось святотатственным разрывом с собственным прошлым.

"Правда", которую продолжали редактировать Каменев и Сталин, заявляла, что тезисы Ленина — его личное мнение, что бюро ЦК их не разделяет, и что сама "Правда" остается на старых позициях. Заявление писал Каменев. Сталин поддержал его молча. Отныне ему придется молчать долго. Идеи Ленина кажутся ему эмигрантской фантастикой. Но он выжидает, как будет реагировать партийный аппарат [...]

Лично для Сталина апрельское перевооружение партии имело крайне унижительный характер. Из Сибири он приехал с авторитетом старого большевика, со званием члена ЦК, с поддержкой Каменева и Муранова. Он тоже начал со своего рода "перевооружения", отвергнув политику местных руководителей, как слишком радикальную, и связав себя рядом статей в "Правде", докладом на совещании, резолюцией Красноярского совета. В самый разгар этой работы, которая по характеру своему была работой вождя, появился Ленин. Он вошел на совещание, точно инспектор в классную комнату и, схватив на лету несколько фраз, повернулся спиной к учителю и мокрой губкой стер с доски все его беспомощные каракули. У делегатов чувства изумления и протеста растворились в чувстве восхищения.

У Сталина восхищения не было. Были острая обида, сознание бессилия и желтая зависть. Он был посрамлен перед лицом всей партии неизмеримо более тяжко, чем на тесном Краковском совещании после его злополучного руководства "Правдой". Бороться было бы бесцельно: ведь он тоже увидел новые горизонты, о которых не догадывался вчера. Оставалось стиснуть зубы и замолчать. Воспоминание о перевороте, произведенном Лениным в апреле 1917 г., навсегда вошло в сознание Сталина острой занозой. Он овладел протоколами мартовского совещания и попытался скрыть их от партии и от истории. Но это еще не решало дела. В библиотеках оставались комплекты "Правды" за 1917 г. Она была вскоре даже переиздана сборником: статьи Сталина говорили сами за себя. Многочисленные воспоминания об апрельском кризисе заполняли в первые годы исторические журналы и юбилейные номера газет. Все это нужно было изымать из обращения постепенно, заменять, подменять. Самое слово "перевооружение" партии, употребленное

мною мимоходом в 1922 г., стало впоследствии предметом все более ожесточенных атак со стороны Сталина и его историков.

Правда, в 1924 г. сам Сталин считал еще благоразумным признать, со всей необходимой мягкостью по отношению к самому себе, ошибочность своей позиции в начале революции. "Партия, — писал он, — приняла политику давления советов на Временное правительство в вопросе о мире и не решилась сразу сделать шаг вперед ... к новому лозунгу о власти советов. Это была глубоко ошибочная позиция, ибо она плодила пацифистские иллюзии, лила воду на мельницу оборончества и затрудняла революционное воспитание масс. Эту ошибочную позицию я разделял тогда еще с другими товарищами по партии и отказался от нее полностью лишь в середине апреля, присоединившись к тезисам Ленина".

Это публичное признание, необходимое для прикрытия собственного тыла в начинавшейся тогда борьбе против троцкизма, уже через два года стало стеснительным. Сталин категорически отрицал в 1926 г. оппортунистический характер своей политики в марте 1917 г: "это неверно, товарищи, это сплетня", — и допускал лишь, что у него были "некоторые колебания... Но у кого из нас не бывали мимолетные колебания?".

Еще через четыре года Ярославский, упомянувший, в качестве историка, о том, что Сталин в начале революции занимал "ошибочную позицию", подвергся свирепой травле со всех сторон. Теперь нельзя уже было заикаться и о "мимолетных колебаниях". Идол престижа — прожорливое чудовище! Наконец, в изданной им самим "Истории партии" Сталин приписывает себе позицию Ленина, а свои собственные взгляды делает уделом своих врагов. "Каменев и некоторые работники Московской организации, например, Рыков, Бубнов, Ногин, — гласит эта необыкновенная "История", — стояли на полуменьшевистской позиции условной поддержки Временного правительства и политики оборонцев. Сталин, который только что вернулся из ссылки, Молотов и другие, вместе с большинством партии, отстаивали политику недоверия Временному правительству, выступали против оборончества" и пр. Так, путем последовательных сдвигов от факта к вымыслу черное было превращено в белое. Этот метод, который Каменев называл "дозированьем лжи", проходит через всю биографию Сталина, чтоб найти свое высшее выражение, и вместе с тем свое крушение, в Московских процессах...

Сталин, видимо, ни разу не выступил публично против Ленина, но и не разу за него. Он бесшумно отодвинулся от Каменева, как десять лет тому назад он отошел от бойкотистов, как на Краковском совещании молчаливо предоставил примиренцев их собственной участи. Не в его нравах было защищать идею, если она не сулила непосредственного успеха. С 14 по 22 апреля заседала конференция Петроградской организации. Влияние Ленина на ней было уже преобладающим, но прения моментами имело еще острый характер. Среди участников встречаемых имена Зиновьева, Каменева, Томского, Молотова и других известных большевиков. Сталин не появлялся вовсе. Он, видимо, хотел, чтоб о нем на время забыли.

24 апреля собралась в Петрограде Всероссийская конференция, которая должна была окончательно ликвидировать наследство мартовского совещания. Около полтораста делегатов представляли 79 тысяч членов партии; из них 15.000 приходилось на столицу. Для антипатриотической партии, вчера лишь вышедшей из подполья, это было совсем неплохо. Победа Ленина стала ясна уже при выборе пятичленного президиума, в состав которого не были включены ни Каменев, ни Сталин, ответственные за оппортунистическую политику в марте. Каменев нашел в себе достаточно мужества, чтобы потребовать для себя на конференции содоклада. "Признавая, что формально и фактически классический остаток феодализма, помещичье землевладение, еще не ликвидирован ... рано говорить, что буржуазная демократия исчерпала все свои возможности". Такова была основная мысль Каменева и его единомышленников: Рыкова, Ногина, Дзержинского, Ангарского и других. "Толчок к социальной революции, — говорил Рыков, — должен быть дан с Запада". Демократическая революция не закончилась, настаивали, вслед за Каменевым, ораторы оппозиции. Это было верно.

Сталин выступил в этих прениях с короткой репликой против своего вчерашнего союзника. Если мы не призываем к немедленному низвержению Временного правительства, говорил в своем содокладе Каменев, то мы должны требовать контроля над ним, иначе массы нас не поймут. Ленин возражал, что "контроль" пролетариата над буржуазным правительством, особенно в условиях революции, либо имеет фиктивный характер, либо сводится к сотрудничеству с ним. Сталин счел своевременным показать свое несогласие с Каменевым... Непосредственная цель была достигнута: Сталин успел во-время отмежеваться от оппозиции, которая при голосованиях собирала не более семи голосов.

В докладе по национальному вопросу Сталин сделал, что мог, чтоб проложить мост от своего мартовского доклада, который источник национального гнета усматривал исключительно в земельной аристократии, к новой позиции, которую усваивала ныне партия. "Национальный гнет, — говорил он, полемизируя по неизбежности с самим собой, — поддерживается не только земельной аристократией. Наряду с ней существует другая сила — империалистические группы, которые методы порабощения народностей, усвоенные в колониях, переносят и во внутрь своей страны. ... К тому же крупная буржуазия ведет за собой "мелкую буржуазию, часть интеллигенции, часть рабочей верхушки, которые также пользуются плодами грабежа". Это та тема, которую Ленин настойчиво развивал в годы войны. "Таким образом, — продолжает докладчик, — получается целый хор социальных сил, поддерживающий национальный гнет". Чтоб покончить с гнетом, надо "убрать этот хор с политической сцены"...

Украинец Пятаков и поляк Дзержинский выступали против программы национального самоопределения, как утопической и реакционной. "Нам не следует выдвигать национального вопроса, — наивно говорил Дзержинский, — ибо это отодвигает момент социальной революции. Я предложил бы поэтому вопрос о независимости Польши из резолюции выкинуть". "Социал-демократия, — возражал им докладчик, — поскольку она держит курс на социалистическую революцию, должна поддерживать революционное движение народов, направленное против империализма". Сталин впервые в своей жизни упомянул здесь о "курсе на социалистическую революцию". На листке юлианского календаря значилось: 29 апреля 1917 года.

Присвоив себе права съезда, конференция выбрала новый Центральный комитет, в который вошли: Ленин, Зиновьев, Каменев, Милютин, Ногин, Свердлов, Смилга, Сталин, Федоров; в качестве кандидатов: Теодорович, Бубнов, Глебов-Авилов и Правдин. Сталин впервые был выбран в ЦК в нормальном партийном порядке. Ему шел 38-й год. Рыкову, Зиновьеву и Каменеву было по 23-24 года, когда съезды впервые избирали их в состав большевистского штаба.

На конференции сделана была попытка оставить за порогом Центрального комитета Свердлова. Об этом после смерти первого Председателя советской республики рассказывал Ленин, как о своей вопиющей ошибке. "К счастью, — прибавлял он, — снизу нас поправили". У самого Ленина вряд ли могли быть основания восстать против кандида-

туры Свердлова, которого он знал по переписке, как неутомимого профессионального революционера. Вероятнее всего, сопротивление исходило от Сталина, который не забыл, как Свердлов наводил после него порядок в Петербурге, реформируя "Правду": совместная жизнь в Курейке только усилила в нем чувство неприязни. Сталин ничего не просал.

На конференции он, видимо, пытался взять реванш и сумел какими-то путями, о которых мы можем лишь строить догадки, завоевать поддержку Ленина. Однако, покушение не удалось. Если в 1912 г. Ленин натолкнулся на сопротивление делегатов, когда пытался ввести Сталина в Центральный комитет, то теперь он встретил не меньший отпор при попытке оставить Свердлова за бортом. Из состава ЦК, избранного на апрельской конференции, успели своевременно умереть Свердлов и Ленин. Все остальные — за вычетом, конечно, самого Сталина, — как и все четыре кандидата, подверглись в последние годы опале и либо официально расстреляны, либо таинственно исчезли с горизонта [...]

В течение следующих двух месяцев трудно проследить деятельность Сталина. Он оказался сразу отодвинут куда-то на третий план. Редакцией "Правды" руководил Ленин, притом не издалека, как до войны, а непосредственно, изо дня в день. По камертону "Правды" настраивается партия. В области агитации господствует Зиновьев. Сталин по-прежнему не выступает на митингах. Каменев, наполовину примирившийся с новой политикой, представляет партию в Центральном Исполнительном Комитете и в совете. Сталин почти исчезает с советской арены и мало появляется в Смольном. Руководящая организационная работа сосредоточена в руках Свердлова: он распределяет работников, принимает провинциалов, улаживает конфликты. Помимо дежурства в "Правде" и участия в заседаниях ЦК, на Сталина ложатся поручения то эпизодического, то дипломатического порядка. Они немногочисленны. По натуре Сталин ленив. Работать напряженно он способен лишь в тех случаях, когда непосредственно затронуты его личные интересы. Иначе он предпочитает сосать трубку и ждать поворота обстановки. Он переживает период острого недомогания. Более крупные или более талантливые люди оттеснили его отовсюду. Память о марте и апреле жжет его самолюбие. Насилюя себя, он медленно перестраивает свою мысль, но добивается в конце концов лишь половинчатых результатов.

Во время бурных "апрельских дней", когда солдаты вышли на ули-

цу с протестом против империалистской ноты Милоюкова, соглашатели заняты были, как всегда, заклинаниями по адресу правительства, увещаниями по адресу масс. 21-го ЦИК отправил, за подписью Чхеидзе, одну из своих пастырских телеграмм в Кронштадт и другие гарнизоны: да, воинственная нота Милоюкова не заслуживает одобрения, но "между Исполнительным Комитетом и Временным Правительством начались переговоры, пока еще не законченные" (эти переговоры, по самой своей натуре, никогда не заканчивались); "признавая вред всяких разрозненных и неорганизованных выступлений, Исполнительный Комитет просит вас воздержаться" и пр.

Из официальных протоколов мы не без удивления усматриваем, что текст телеграммы составлен комиссией из двух соглашателей и одного большевика, и что этот большевик — Сталин. Эпизод мелкий (крупных эпизодов за этот период вообще не найдем), но характерный. Увещательная телеграмма представляла классический образчик того "контроля", который входил необходимым элементом в механику двоевластия. Малейшую причастность большевиков к этой политике бессилия Ленин клеймил особенно беспощадно. Соглашатели включили Сталина в комиссию потому, что авторитетом в Кронштадте пользовались только большевики. Тем больше оснований было отказать. Но Сталин не отказался. Через три дня после увещательной телеграммы он выступил на партийной конференции против Каменева, причем как раз конфликт вокруг ноты Милоюкова избрал, как особо яркое доказательство бессмысленности "контроля". Логические противоречия никогда не тревожили этого эмпирика...

Первый всероссийский съезд Советов, открывшийся 3-го июня, тянулся почти три недели. Несколько десятков провинциальных делегатов-большевиков, тонувших в массе соглашателей, представляли довольно разношерстную группу, далеко еще не освободившуюся от мартовских настроений. Руководить ими было нелегко. Именно к этому моменту относится интересное замечание уже знакомого нам народника, наблюдавшего некогда Кобу в бакинской тюрьме. "Я всячески хотел понять роль Сталина и Свердлова в большевистской партии, — писал Верещака в 1928 г., — В то время, как за столом президиума съезда сидели Каменев, Зиновьев, Ногин и Крыленко и, в качестве ораторов, выступали Ленин, Зиновьев и Каменев, Свердлов и Сталин молча дирижировали большевистской фракцией. Это была тактическая сила. Вот здесь я впервые почувствовал все значение этих людей". Верещака не ошибся. В

закулисной работе по подготовке фракции к голосованиям Сталин был очень ценен. Он не всегда прибегал к принципиальным доводам, но он умел быть убедительным для среднего командного состава, особенно для провинциалов. [...]

В начале июля Петроград уже был полностью на стороне большевиков. Знакомя нового французского посла с положением в столице, журналист Клод Анэ показывал ему, по ту сторону Невы, Выборгский район, где сосредоточены самые большие заводы: "Ленин и Троцкий царят там, как господа". Полки гарнизона — либо большевистские, либо колеблющиеся в сторону большевиков. "Если Ленин и Троцкий захотят взять Петроград, кто им помешает в этом?"

2 июля на общегородской конференции большевиков, где Сталин представлял ЦК, появляются два возбужденных пулеметчика с заявлением, что их полк решил немедленно выйти на улицу с оружием в руках. Конференция рекомендует отказаться от выступления. От имени Центрального комитета Сталин подтверждает решение конференции.. Пестковский, один из сотрудников Сталина и раскаявшийся оппозиционер, вспоминал через тринадцать лет об этой конференции: "Там я впервые увидел Сталина. Комната, в которой происходила конференция, не могла вместить всех присутствующих: часть публики следила за ходом прений из коридора, через открытую дверь. В этой части публики был и я, и поэтому плохо слышал доклады... От имени ЦК выступал Сталин. Так как он говорил тихо, то я из коридора разобрал немного. Обратил внимание лишь на одно: каждая фраза Сталина была отточена и закончена, положения отличались ясностью формулировки...". Члены конференции расходятся по полкам и заводам, чтоб удержать массы от выступления. "Часов в 5, — докладывал Сталин после событий, — на заседании ЦИК'а официально от имени ЦК и конференции заявляли, что мы решили не выступать". Часам к 6 выступление все же развернулось. "Имела ли партия право умыть руки... и уйти в сторону?... Как партия пролетариата, мы должны были вмешаться в выступление и придать ему мирный и организованный характер, не задаваясь целью вооруженного захвата власти".

Несколько позже Сталин рассказывал о июльских днях на партийном съезде: "Партия не хотела выступления, партия хотела переждать, когда политика наступления на фронте будет дискредитирована. Тем не менее, выступление стихийное, вызванное разрухой в стране, приказами

Керенского, отправлением частей на фронт, состоялось". ЦК решил придать манифестации мирный характер. "На вопрос, поставленный солдатами, нельзя ли выйти вооруженными, ЦК постановил: с оружием не выходить. Солдаты, однако, говорили, что выступать невооруженными невозможно, что они возьмут оружие только для самообороны".

Здесь, однако мы наталкиваемся на загадочное свидетельство Демьяна Бедного. В очень восторженном тоне придворный поэт рассказал в 1929 г., как в помещении "Правды" Сталин был вызван из Кронштадта по телефону, и как в ответ на заданный вопрос о том, выходить ли с оружием или без оружия, Сталин ответил: "Винтовки?... Вам, товарищи, виднее!... Вот мы, писаки, так свое оружие, карандаш, всегда таскаем за собой... А как там вы со своим оружием, вам виднее!". Рассказ, вероятно, стилизован. Но в нем чувствуется зерно истины. Сталин был, вообще говоря, склонен преуменьшать готовность рабочих и солдат к борьбе: по отношению к массам он всегда был недоверчив. Но где борьба завязывалась, на площади ли Тифлиса, в бакинской ли тюрьме или на улицах Петрограда, он всегда стремился придать ей как можно более острый характер. Решение ЦК? Его можно было осторожно опрокинуть параболой о карандашах.

Не поднявшись до восстания, июльское движение переросло рамки демонстрации. Были провокационные выстрелы из окон и с крыш, были вооруженные столкновения, без плана и ясной цели, но со многими убитыми и ранеными, был эпизодический полузахват Петропавловской крепости кронштадскими моряками, была осада Таврического дворца. Большевики оказались полными господами в столице, но сознательно отклонили переворот, как авантюру. "Взять власть 3 и 4 июля мы могли, — говорил Сталин на Петроградской конференции. — Но на нас поднялись бы фронт, провинция, советы. Власть, не опирающаяся на провинцию, оказалась бы без рук и без ног". Лишенное непосредственной цели, движение стало откатываться. Рабочие возвращались на свои заводы, солдаты — в казармы.

Оставался вопрос о Петропавловке, где все еще сидели кронштадтцы. "ЦК делегировал меня в Петропавловскую крепость, — рассказывал Сталин, — где удалось уговорить присутствующих матросов не принимать боя... В качестве представителя ЦИК, я еду с (меньшевиком) Богдановым к (командующему войсками) Козьмину. У него все готово к бою... Мы уговариваем его не применять вооруженной силы... Для меня очевидно, что правое крыло хотело крови, чтобы дать "урок" ра-

бочим, солдатам и матросам. Мы помешали им выполнить свое желание". Успешное выполнение Сталиным столь деликатной миссии оказалось возможным только благодаря тому, что он не был одиозной фигурой в глазах соглашателей: их ненависть направлялась против других лиц. К тому же он умел, несомненно, как никто, взять в этих переговорах тон трезвого и умеренного большевика, избегающего эксцессов и склонного к соглашениям. О своих советах матросам насчет "карандашей" он во всяком случае не упоминал.

Вопреки очевидности, соглашатели объявили июльскую манифестацию вооруженным восстанием и обвинили большевиков в заговоре. Когда движение уже закончилось, с фронта прибыли реакционные войска. В печати появилось сообщение, ссылавшееся на "документы" министра юстиции Переверзева, что Ленин и его соратники являются попросту агентами германского штаба. Настали дни клеветы, травли и смуты. "Правда" подверглась разгрому. Власти издали распоряжение об аресте Ленина, Зиновьева и других виновников "восстания". Буржуазная и соглашательская пресса грозно требовала, чтобы виновные отдали себя в руки правосудия.

В ЦК большевиков шли совещания: явиться ли Ленину к властям, чтоб дать гласный бой клевете, или скрыться. Не было недостатка в колебаниях, неизбежных при столь резком переломе обстановки. Спорный вопрос состоял в том, дойдет ли дело до открытого судебного разбирательства? В советской литературе немалое место занимает вопрос о том, кто "спас" тогда Ленина, и кто хотел "погубить" его. Демьян Бедный рассказывал некогда, как он примчался к Ленину в автомобиле и уговаривал его не подражать Христу, который "сам себе в руки врагов предаде". Бонч-Бруевич, бывший управляющий делами Совнаркома, начисто опроверг своего друга, рассказав в печати, что Д. Бедный провел критические часы у него на даче в Финляндии. Многозначительный намек на то, что честь переубеждения Ленина "выпала на долю других товарищей", ясно показывал, что Бончу пришлось огорчить близкого друга, чтобы доставить удовольствие кому-то более влиятельному. В своих "Воспоминаниях" Крупская рассказывает: "7-го мы были у Ильича на квартире Аллилуевых вместе с Марией Ильиничной [сестрой Ленина]. Это был как раз у Ильича момент колебаний. Он приводил доводы за необходимость явиться на суд. Мария Ильинична горячо возражала ему. "Мы с Григорием (Зиновьевым) решили явиться, пойди, ска-

жи об этом Каменеву”, — сказал мне Ильич. Я заторопилась. “Давай попрощаемся, — остановил меня Владимир Ильич, — может, не увидимся уж”. Мы обнялись. Я пошла к Каменеву и передала ему поручение Владимира Ильича. Вечером Сталин и другие убедили Ильича на суд не являться и тем спасли его жизнь”.

Подробнее о тех горячечных часах рассказал до Крупской Орджоникидзе. “Началась бешеная травля наших вождей... Некоторые наши товарищи ставят вопрос о том, что Ленину нельзя скрываться, он должен явиться... Так рассуждали многие видные большевики. Встречаемся со Сталиным в Таврическом дворце. Идем вместе к Ленину...”.

Прежде всего, бросается в глаза, что в те часы, когда шла “бешеная травля нашей партии и наших вождей”, Орджоникидзе и Сталин спокойно встречаются в Таврическом дворце, штабе врага, и безнаказанно покидают его. На квартире Аллилуева возобновляется все тот же спор: сдать или скрыться? Ленин полагал, что никакого гласного суда не будет. Категоричнее всех против сдачи высказался Сталин: “юнкера до тюрьмы не доvezут, убьют по дороге”.

В это время появляется Стасова и сообщает о вновь пущенном слухе, будто Ленин, по документам департамента полиции, провокатор. “Эти слова произвели на Ильича невероятно сильное впечатление. Нервная дрожь перекосила его лицо, и он со всей решительностью заявил, что надо ему сесть в тюрьму”.

Орджоникидзе и Ногина посылают в Таврический дворец добиться от правящих партий гарантий, “что Ильич не будет растерзан юнкерами”. Но перепуганные меньшевики искали гарантий для самих себя. В свою очередь, Сталин докладывал на Петроградской конференции: “Я лично ставил вопрос о заявке перед Либером и Анисимовым (меньшевики, члены ЦИК), и они мне ответили, что никаких гарантий они дать не могут”. После этой разведки в неприятельском лагере решено было, что Ленин уедет из Петрограда и скроется в глубоком подполье. “Сталин взялся организовать отъезд Ленина”.

Насколько правы были противники сдачи Ленина властям, обнаружилось впоследствии из рассказа командующего войсками, генерала Половцева. “Офицер, отправляющийся в Терйоки (Финляндия) с надеждой поймать Ленина, меня спрашивает, желаю я получить этого господина в целом виде или в разобранном ... Отвечаю с улыбкой, что арестованные делают очень часто попытку к побегу”.

Мысль о неизбежности кровавой расправы сидела в голове Сталина

прочнее, чем у других: такая развязка вполне отвечала складу его собственной натуры. К тому же, он мало склонен был беспокоиться о том, что скажет "общественное мнение". Другие, в том числе Ленин и Зиновьев, колебались. Ногин и Луначарский в течение дня из сторонников сдачи стали ее противниками. Сталин держался наиболее твердо, и оказался прав.

Посмотрим теперь что сделала из этого драматического эпизода новейшая советская историография. "Меньшевики, эсеры и Троцкий, ставший впоследствии фашистским бандитом, — пишет официальное издание 1938 г., — требовали добровольной явки Ленина на суд. За явку Ленина в суд стояли ныне разоблаченные, как враги народа, фашистские наймиты Каменев и Рыков. Им дал резкий отпор Сталин", и т.д.

На самом деле, я лично в совещаниях вообще не участвовал, так как вынужден был сам в те часы скрываться. 10 июля я обратился к правительству меньшевиков и эсеров с письменным заявлением о полной солидарности с Лениным. Зиновьевым и Каменевым и был 22 июля арестован. В письме к Петроградской конференции Ленин счел нужным особо отметить, что Троцкий в "тяжелые июльские дни оказался на высоте задачи". Сталина не арестовали и даже формально не привлекли к делу по той причине, что политически он ни для властей, ни для общественного мнения не существовал. В бешеной травле против Ленина, Зиновьева, Каменева, Троцкого и других Сталин едва ли вообще назывался в печати, хотя он был редактором "Правды" и подписывал статьи своим именем. Никто не замечал этих статей и не интересовался их автором.

"Во время отъезда Владимира Ильича в Сестрорецк — это было вечером 11 июля — мы с товарищем Сталиным, — рассказывает Аллилуев, — провожали Ильича на Сестрорецкий вокзал. За время пребывания в шалаше на Разливе, а затем в Финляндии, Владимир Ильич время от времени через меня посылал записки Сталину; записки приносились мне на квартиру, и так как на записки нужно было своевременно отвечать, то Сталин в августе месяце перебрался ко мне... и поселился в той же комнате, где скрывался Владимир Ильич в июльские дни". Здесь он, видимо, познакомился со своей будущей женой, дочерью Аллилуева Надеждой, тогда еще подростком.

Другой из кадровых большевистских рабочих, Рахиа, обрусевший финн, рассказывал в печати, как Ленин поручил ему однажды "привести Сталина на следующий день вечером. Сталина я должен был найти в

редакции "Правды". Они разговаривали очень долго, В.И. подробно обо всем расспрашивал". Сталин был в этот период, наряду с Крупской, важным связующим звеном между ЦК и Лениным, который питал к нему, несомненно, полное доверие, как к осторожному конспиратору. К тому же все обстоятельства естественно выдвигали Сталина на эту роль: Зиновьев скрывался, Каменев и Троцкий сидели в тюрьме, Свердлов стоял в центре организационной работы, Сталин был более свободен и менее на виду у полиции.

В период реакции после июльского движения роль Сталина вообще значительно возрастает. Уже знакомый нам Пестковский пишет в своих апологетических воспоминаниях о работе Сталина летом 1917 г.: "Широкие рабочие массы Петрограда мало знали тогда Сталина. Да он и не гонялся за популярностью. Не обладая ораторским талантом, он избегал выступлений на массовых митингах. Но никакая партийная конференция, никакое серьезное организационное совещание не обходилось без политического выступления Сталина. Благодаря этому партийный актив знал его хорошо. Когда ставился вопрос о большевистских кандидатах от Петрограда в Учредительное Собрание, кандидатура Сталина была выдвинута на одно из первых мест по инициативе партийного актива". Имя Сталина стояло в петроградском списке на шестом месте... В 1930 г. считалось еще необходимым, в объяснение того, почему Сталин не пользовался популярностью, указывать, на отсутствие у него "ораторского таланта". Сейчас такая фраза была бы совершенно невозможна: Сталин объявлен идолом петроградских рабочих и классиком ораторского искусства. Но верно, что, не выступая перед массами, Сталин, рядом со Свердловым, выполнял в июле и августе крайне ответственную работу в аппарате: на совещаниях, конференциях, в сношениях с Петербургским комитетом и пр. [...]

Непосредственное поражение в июле потерпели рабочие и солдаты Петрограда, порыв которых разбился, в последнем счете, об относительную отсталость провинции. В столице упадок в массах оказался, поэтому, глубже, чем где-либо, но держался лишь несколько недель. Открытая агитация возобновляется уже в двадцатых числах июля, когда на небольших митингах выступают в разных частях города три мужественных революционера: Слуцкий, убитый позже белыми в Крыму, Володарский, убитый эсерами в Петрограде, и Евдокимов, убитый Сталиным в 1936 г.

САМОУБИЙСТВА МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ

Все, что создается и производится в любой стране, создается и производится трудящимися: инженерами, учеными, служащими, рабочими, архитекторами, артистами, учителями и т.д. и т.п. Ничто с неба не валится и не возникает из пустоты. Как и египетские пирамиды и чудеса древних цивилизаций, вся материальная и духовная культура любого государства есть продукт физического и духовного труда трудящихся. Аппарат государственной власти, партии, профсоюзы и другие подобные организации сами по себе ничего не производят.

Это утверждение кажется достаточно тривиальным и едва ли вызовет категорические возражения. Однако прямое следствие этого утверждения будет встречено многими, в первую очередь трудящимися, в штыки: *Если все создается трудящимися, то низкий уровень жизни самих трудящихся и населения в целом, низкий уровень материальной и духовной культуры есть прямой результат недостаточности и низкого качества труда самих трудящихся.* Тем не менее, это следствие неоспоримо.

Это значит, что низкий и снижающийся уровень жизни в СССР есть прямой результат низких и снижающихся качества и количества труда самих трудящихся.

Заметьте, это очень важно, что я не виню в этом трудящихся СССР. На мой взгляд, трудящиеся нынешнего СССР лучше любых трудящихся мира. И никакие они не "гомо советикусы", как некоторые пытаются утверждать. Наоборот, они есть самые нормальные люди, из каких состоит все человечество. Именно в этой нормальности и заключена вся суть дела.

Точно также падение уровня жизни и материально-духовной культуры на Западе (за исключением пока Швейцарии) есть прямое следствие падения качества и количества труда самих западных трудящихся. Тоже нормальных людей. Точно также разрушение древних греческой, римской, египетской, китайской цивилизаций было, в первую очередь, делом трудящихся древних цивилизаций.

Вопрос не в том, что это именно так и происходит, а в том, почему? Кого или что нужно в этом винить? Почему трудящиеся перестают должным образом трудиться? Почему они перестают учиться и превращаются из артистов своего дела в бесталанных кое-какеров (трудиться кое-как)? Почему полезная созидательная деятельность трудящихся превращается во вредную и разрушительную? Почему они перестают должным образом защищать свою страну от внешнего врага, а иногда способствуют ее поражению и *собственному уничтожению* врагом? Почему, например, ничтожно маленькая Финляндия, по существу, разгромила в 1940 году огромный Советский Союз? Почему, например, огромный Советский Союз не может никак справиться с маленьким Афганистаном? Почему изумительная, огромная, тысячелетняя римская цивилизация погибла под натиском варваров? Давайте попытаемся разобраться в причинах самоубийственного поведения трудящихся в некоторых условиях. Конечно, я не верю в существование некоего инстинкта декаданса и смерти у народов, какой некоторые авторы довольно безуспешно пытаются обнаружить.

Личные мотивы труда

У каждого из нас, трудящихся (я тоже трудящийся), может быть множество мотивов для труда, включая "честь, доблесть, геройство". Немало трудящихся считает свой труд служением Родине или обществу. Есть и такие, которые просто не могут не трудиться. Так или иначе, трудящийся, как любой человек, не может жить без пищи, одежды, жилища, тепла и т.п. В подавляющем большинстве случаев он стремится также к постоянному духовно-материальному улучшению своей жизни. Без

этого неустранимого стремления не произошло бы такого изумительного превращения полуживотного существования древних, доисторических людей в современную культуру и цивилизацию. Поэтому главным, универсальным мотивом является *необходимость* труда, чтобы добывать средства к жизни и к ее улучшению, поскольку "без труда не вытащишь и рыбку из пруда".

Все это вместе взятое не мешает, однако, трудящимся с библейских времен мечтать о рае, как месте, где можно будет пожить в свое удовольствие *без всякого труда*. Один трудящийся эмигрант в ответ на евангельский призыв "в поте лица своего добывать хлеб свой" пишет, что это призыв для ишаков, а не для него. Его идеал, говорит он, пить, есть, жить без забот и труда, услаждая себя зрелищем танцев и прелестей баядерок (то, что кто-то своим трудом должен будет ему обеспечить это, его не беспокоит). Большинство нас, других трудящихся, содержание его заявления и особенно его цинизм осудит. Однако, кто же из нас хочет заниматься тем обязательным, подчеркиваю, *обязательным* трудом, без которого ни одно общество существовать не может?

В тех странах, где трудящиеся могут высказываться открыто, они неизменно требуют большей зарплаты за меньший и более легкий труд. Требуют сокращения рабочего времени (без сокращения зарплаты). Для подкрепления своих требований трудящиеся объединяются в мощные профсоюзы, бастуют и не гнушаются применением самой грубой силы. Английская газета "Дейли Телеграф" 2.6.84 сообщает, например, что десятки полицейских получают ранения, вплоть до очень серьезных, когда выполняют свои обязанности, поддерживая порядок. Пикеты бастующих углекопов забрасывают полицейских камнями, бутылками, нападают на них с палками и железными прутьями. Один из пикетчиков свалился замертво, получив кирпичем по голове от своих же. Полицейский бросился к нему делать искусственное дыхание и был забросан кирпичами. Я это видел своими глазами по телевидению. Такие сцены буйства трудящихся можно наблюдать в Англии почти каждый день.

В ряде случаев требования современных трудящихся весьма циничны. В газетах сообщалось, что на одной фирме, производящей автомобильные части, профсоюз настоял на увольнении

вахтера, который задерживал многих трудящихся с частями и материалами, украденными на предприятии. Новый вахтер, конечно, не препятствовал воровству.

Нетрудно заметить, что современный трудящийся совершенно не соразмеряет требований увеличения зарплаты и других благ с увеличением своей производительности. Как и наш трудящийся циник, он уже не интересуется тем, откуда возьмутся эти дополнительные блага, которые не были дополнительно произведены. Больше того, бастующие английские углекопы сами подсчитали, что их забастовка уже обошлась стране в миллиард фунтов стерлингов. Заметьте, что угледобывающая промышленность в Англии является собственностью общества. Она национализирована.

Так же нетрудно заметить, что требования современных трудящихся определяются не столько их плохой жизнью, сколько их силой и размерами неприятностей, которые они могут причинить обществу, т.е. в первую очередь, другим трудящимся. "Слабые" же трудящиеся могут из-за этого действительно нищать.

Наряду с этими крайностями все же большинство остальных трудящихся ведет себя достаточно цивилизованно. Там же, где профсоюзы особенно сильны, как в Англии, эти крайности являются фактом жизни. Если подвести итог требованиям трудящихся и кратко их сформулировать, получится следующее: поменьше обязательной работы, побольше обязательной зарплаты и других благ, никаких взысканий за плохую работу и т.п. Наш трудящийся эмигрант-циник был в значительной степени прав.

Легко понять, что прямое удовлетворение этих наших желаний (интересов) ведет к увеличению цен на товары и услуги, к понижению качества товаров и услуг, к меньшему количеству и ассортименту товаров и услуг, к обнищанию тех, кто не имеет силы или возможности потребовать тех же благ для себя, к увеличению числа разорений предприятий, т.е. к увеличению безработицы, и к многим подобным несчастьям для нас, самих трудящихся. *Таким образом, следовать интересам трудящихся (большинства населения), означает разрушить хозяйство страны и обрекать самих трудящихся на нищету и разорение.* Как

видите, вопрос, почему мы, трудящиеся, не работаем, правильное поставить так: почему мы все же работаем?

Легко видеть, что общество (государство), в котором живут трудящиеся, не могло бы не только процветать, но и вообще существовать, если бы в его составе не было бы силы, вынуждающей нас, трудящихся, работать и превращаться из разрушителей и разорителей, проматывающих собственное добро, в создателей и творцов, гордых своим трудом и удовлетворенных своей жизнью. Какая же это сила?

Всемогущая социалистическая власть не может ни побудить, ни заставить трудящихся добросовестно работать

Социализм, ликвидировав частную собственность и свободу торговли, превратил всех в трудящихся. Даже представители социалистической власти, будучи наемными работниками, тоже являются трудящимися. Если не говорить об интересе представителей власти сохранить эту власть, то и их интересы в точности те же, что и у всех остальных трудящихся: поменьше обязательной работы и побольше обязательной зарплаты и прочих жизненных благ. Таким образом, зрелое социалистическое государство СССР действительно является государством, в котором живут только трудящиеся.

Не будем говорить о периоде строительства социализма в СССР, когда миллионы трудящихся уничтожали друг друга и заставляли друг друга работать в надежде на будущее благополучие. *В зрелом социализме трудящиеся безусловно проявляют свое единодушное нежелание добросовестно работать в самых огромных масштабах.*

Любопытно, что главные вдохновители социализма, видимо, хорошо это предвидели. Они создали невиданный в истории аппарат власти, предназначенный, по существу, для принуждения трудящихся к работе. Этот аппарат должен использовать для этой цели все мыслимые и возможные средства: агитацию и пропаганду ("труд есть дело чести, доблести и геройства"), детские сады и очаги и школы для соответствующего воспитания, ВУЗы для соответствующего воспитания и обучения, страх, голод,

тюрьмы и концлагеря, психические больницы, дезинформацию, "границу на замке" и т.д. Именно этот, беспримерный в истории аппарат и должен был (по мысли или инстинкту вдохновителей социализма) являться той позитивной силой, которая противопоставлялась разрушительной силе интересов трудящихся, т.е. в данном случае-всего населения страны. (Конечно, в расчете, что социализм создаст наивысшую производительность труда, т.е. наивысшее материальное и духовное благополучие и тем превратит трудящихся из (в принципе и по природе человеческой) эгоистов в "самоотверженных социалистических святых", что, в свою очередь, ликвидирует необходимость аппарата принуждения к труду.

Любопытно, что и сам советский трудящийся, наблюдая разрушительное поведение *других* трудящихся и неприятные последствия этого для его собственной жизни, лелеет мысль появления всемогущей силы, которая этих других трудящихся заставит добросовестно работать. В возможность убеждения он не верит. Понятно, что этот трудящийся в данных обстоятельствах считает себя примером добросовестности, призываемую им всемогущую силу своим союзником. Я хочу сказать, что каждый из нас имеет "трудовую совесть", но почему-то у некоторых трудящихся или их совокупности она отсутствует. Легко видеть, что именно такая всемогущая сила в СССР не появляется. Огромный опыт СССР и других социалистических стран показывает, что самая могучая в мире государственная власть социализма не может заставить и тем более убедить, применяя самые бесчеловечные или, наоборот, самые человеческие средства, самых бесправных в мире трудящихся работать. Причем добросовестно работать для их же собственной пользы. Спрашивается, почему же?

Миллионы советских чиновников и администраторов не в состоянии побудить или заставить советских трудящихся добросовестно работать

Могучая государственная власть в СССР есть, конечно, абстракция, но она совершенно не абстрактно осуществляется миллионами государственных чиновников. Почему же эти милли-

оны не выполняют должным образом свою задачу? Суть именно в том, что советские чиновники, директора и управляющие предприятиями и учреждениями являются сами наемными трудящимися. Наряду со служебными обязанностями они имеют те же самые интересы, что и все трудящиеся: поменьше обязательной работы и побольше обязательной зарплаты и прочих благ жизни. Умный советский директор понимает, как именно ему работать со своими подчиненными трудящимися. Если он создаст конфликт с ними, по большей части, ему не усидеть на месте. Он предпочитает не обострять отношения. В то же время он имеет возможность подкупать трудящихся потому, что он может это делать не за свой счет, а за государственный. Таким способом он становится "хорошим руководителем" своих подчиненных: вместе с ними сообща обманывает социалистическое государство. (Времена "идейных" руководителей давно прошли).

Социалистическая власть в бесчисленных экспериментах и попытках старается переложить стоимость этого потворства трудящимся на личный счет самих директоров, но — совершенно неизбежно — без всякого успеха. Нужда в лично заинтересованных хозяевах у социализма огромна и неутолима. Эпитет "хозяин" при социализме является весьма лестным. Нужно сказать, что и советская власть понимает: если директор начнет выполнять все предписания власти, то он или разгонит всех, особенно квалифицированных, работников или начнется массовый саботаж и тогда не будет даже "липового" выполнения плана. Оба эти случая мне пришлось наблюдать в СССР, когда я там работал.

Если трудящийся не имеет желания добросовестно работать, он имеет в хаосе централизованного планирования массу предложений. Контролеров и надсмотрщиков к каждому трудящемуся не приставишь. Да и они, будучи тоже трудящимися, едва ли выполнят свою задачу. Легко понять, что никакие законы и декреты этой ситуации исправить не могут.

Современная западная представительная демократия тоже не является силой, способной побудить трудящихся хорошо работать

Парламенты, конгрессы и президенты все еще избираются, в конечном итоге, трудящимися, потому что трудящихся среди избирателей большинство. Спрашивается, как политику-кандидату обеспечить себе наибольшие шансы на избрание? Нужно пообещать что-нибудь, что приятно заинтересует всех трудящихся. Например, закон о 35 часовой рабочей неделе. Конечно, без соответствующего уменьшения зарплаты. Не нужно быть экспертом-экономистом, чтобы понимать: количество товаров и услуг, производимых в стране за прежнюю зарплату, уменьшится на 12,5%. Естественно, все подорожает или станет хуже, соответственно. С неба ничто не падает.

Спрашивается, а как будет с безработицей? Вроде бы, она должна соответственно уменьшиться. К сожалению, она не только не уменьшится, а наверняка увеличится. Резкое уменьшение производительности труда и резкое увеличение стоимости рабочей силы для производства того же самого продукта резко увеличит число банкротств, резко сократит число нового предпринимательства, т.е. приведет к увеличению безработицы. Подтверждение этому можно получить в официальных цифрах безработицы в США за несколько предыдущих десятилетий. Безработица не увеличивается от введения новых, более производительных машин. Этот процесс идет в той или иной степени все время, а цифры безработицы на него не реагируют. В этих цифрах нельзя обнаружить и влияния длительности рабочего дня, которая за время этих десятилетий существенно сократилась. В этих же цифрах нетрудно обнаружить явную связь с оживлением или упадком предпринимательства. Лучше условия для бизнеса — меньше безработицы, и наоборот. Особенно для мелкого и среднего бизнеса, которые, тоже по официальным цифрам, являются главными поставщиками новых рабочих мест.

Бедность и нищета от нового закона только увеличатся. Таким образом, новый закон в пользу трудящихся сработает против них. Словом, как ни бейся, *но единственный способ удуч-*

шить жизнь трудящихся заключается в увеличении ими сами-ми производства материальных и духовных благ. Вся, что потребляется трудящимися, ими же и должно быть произведено.

Во времена промышленной революции прибыли были очень высокими и вкладывались во множество высокопроизводительных машин. Вызванный этим быстрый рост производительности труда позволил и увеличить зарплаты и уменьшить рабочий день одновременно. Сейчас такая возможность исчезла. Прибыли резко сократились, капиталовложения в новую технику и новые рабочие места из-за этого тоже резко сократились. Газеты чуть не каждый день жалуется на недостаток капиталовложений. *Капиталовложения — это не просто деньги, а все тот же дополнительный ("прибавочный") труд самих трудящихся.*

За последнее столетие парламенты и конгрессы Запада выпускали огромное число законов и регламентаций такого рода, подавляющих силу работодателя и предпринимателя и, наоборот, увеличивающих силу трудящегося. Постепенно эти законы и привели к нынешней самоубийственной ситуации. Появилась всеобщая тенденция к инфляции, к постоянной высокой безработице и к росту нищеты, т.е. к несчастьям для самих же трудящихся, в первую очередь. Естественно, что это вызывает крайнее беспокойство трудящихся и подозрение, что кто-то их обделяет, со всеми печальными последствиями этого *недоразумения*. Между тем, "представители народа" иначе поступать не могут: их не выберут.

Заметьте, что было бы много лучше, если бы правительства и парламенты были бы ограничены в своих функциях и законодательстве Конституцией и не имели бы права вмешиваться в деятельность как трудящихся, так и работодателей. Если же существующую тенденцию парламентов и конгрессов не остановить, то будущее западных трудящихся рисуется очень мрачным. Может произойти самоубийство, подобное тому, которое произошло в СССР.

Государственные администраторы Запада тоже неспособны побудить трудящихся к хорошей работе

Нетрудно видеть, что государственные чиновники и админи-

страторы Запада, управляющие национализированным, общественным имуществом, вполне эквивалентны советским социалистическим чиновникам и администраторам. Национальные традиции и отсутствие централизованного всеобщего планирования имеют значение, но не изменяют, в принципе, их "идеологии", как наемных трудящихся.

Они, так же как и их советские коллеги, предпочитают не слишком ссориться со своими подчиненными трудящимися. Они так же потворствуют трудящимся за государственный счет, а не за свой собственный. Как известно, все государственное хозяйство на Западе приносит большие убытки (пожирает субсидии) за очень редким и временным исключением в той или другой отрасли, в той или другой стране. В Англии (где профсоюзы имеют огромную силу) государственные администраторы настолько мало сопротивляются разрушительной силе трудящихся, что нынешнее правительство предпочло пригласить за большие деньги из США волевого администратора с высоким чувством долга. Господин Мак Грегор из США сумел за счет своего здоровья и нервов, ценой ненависти к нему трудящихся привести огромную государственную сталелитейную промышленность в некоторый порядок. (Конечно, ненадолго). Теперь его, как пожарного, перебросили на разваливающуюся государственную угледобывающую промышленность. (Других, собственных администраторов и здесь не нашлось). По приказу профсоюза и против воли многих углекопов немедленно началась забастовка с пикетами по тысяче и больше человек (не только углекопов) и с применением самой грубой силы. Любопытно, что все профсоюзы очень любят именно государственные предприятия и учреждения: они гораздо лучше поддаются вымогательству.

Правительство часто не может долго найти замену вышедшему администратору. Никто не хочет заниматься "грязным делом" сопротивления трудящимся. Приходится часто соблазнять с помощью бешеных денег.

Менеджеры корпораций тоже неспособны побудить трудящихся лучше работать

Акционерные компании на Западе зовутся корпорациями.

Такие добавки к названиям: Inc., Ltd, означают, что фирма есть часть корпорации, т.е. акционерной компании. Выпуск акций позволяет собирать у населения огромные капиталы (по принципу: "с миру по нитке (по пенсу или центу), голому (корпорации) "рубашка") и вкладывать их в дело. Такая, например, любопытная корпорация, как "Агентство Рейтер", выпустила 114 миллионов акций на сумму в несколько сот миллионов фунтов стерлингов. Нефтяные и другие огромные корпорации имеют по многу миллионов акционеров.

Купив акцию, трудящийся или пенсионер становится номинальным владельцем, скажем, одной стомиллионной доли имущества корпорации и получателем по этой акции, скажем, одной стомиллионной доли прибыли корпорации в виде процентов на стоимость акции. Миллионы западных акционеров, номинальных, т.е. по названию, владельцев корпораций, вполне эквивалентны миллионам трудящихся СССР, номинальным владельцам всего хозяйства СССР. Те и другие имеют номинальное право голоса в управлении, но фактически управлять не могут по многим причинам. Во первых, не умеют: нужна квалификация и опыт. Во вторых, не обладают необходимым знанием весьма сложного хозяйства корпораций или СССР. В третьих, не в состоянии достичь единства позиции и действия, а "один в поле не воин". Словом, и те и другие безвластны.

Собрание акционеров, всегда незначительной части всех их миллионов, вполне эквивалентно Верховному Совету СССР. Только единицы акционеров, держателей контрольного пакета акций (может быть, всего 5-7% всего числа акций), как Политбюро КПСС, осуществляют воздействие на дела корпораций. Аналогия становится полной, когда мы вспомним, что совет директоров корпорации и его председатель являются лишь наемными администраторами. То, что они могут быть владельцами акций, дела не меняет. Председатель корпорации и остальные менеджеры, как и их советские коллеги, управляют не своим, а общественным имуществом со всеми, вытекающими из этого факта последствиями:

1. Вздвигают себе зарплату ("с миру по нитке..."). В США председатели получают до 2,5 миллионов долларов зарплаты в год при средней зарплате трудящихся, примерно, в 250 раз

меньше. Никакое воображение не может представить, как один человек может выделить соответствующее количество и качество труда, чтобы оправдать такую зарплату. Зарплаты менеджеров корпораций, как и их советских коллег, совершенно несоизмеримы с их трудовым вкладом. В больших корпорациях работает по 250.000 и даже миллиону работников. Зарплата председателя составляет всего 10 долларов в год с каждого.

2. Взвинчивают себе не облагаемые налогом и оплачиваемые за счет корпорации привилегии: бесплатные шикарные дома, бесплатные шикарные автомобили (знаменитые Ролл Ройсы выпускаются именно для них), бесплатную шикарную службу, практически неконтролируемые расходы на поездки, отели, рестораны, увеселения для контактов с другими менеджерами и для их подкупа. Все это по высшему классу. На Западе создано огромное хозяйство высшего класса для специального обслуживания этих весьма состоятельных (за счет корпораций) потребителей.

Английская газета "Дейли Телеграф" от 1.6.84 сообщает результаты специального исследования по этому вопросу: расходы в Англии на указанные выше привилегии менеджеров составили огромную сумму в 13 миллиардов (биллионов) фунтов стерлингов в год. На эти средства могли бы жить 2 миллиона трудящихся. Там же отмечается, что в разъездах и увеселениях каждый год участвует 2,6 миллиона английских менеджеров корпораций. Мы привыкли думать, что капиталисты скрупулезно считают деньги. И это верно, но относится именно к капиталистам, т.е. к собственникам, поскольку всё оплачивается из их собственного кармана. Менеджеры корпораций, по существу, не капиталисты, а наемные администраторы. Скрупулезно считать деньги им нет большой нужды: деньги не их собственные. *Как та же газета пишет, в корпорациях должный денежный контроль отсутствует.*

3. Если внимательно проследить за делами корпораций и заявлениями менеджеров, их успехи подозрительно совпадают с периодами общего оживления бизнеса, а неудачи — с периодами застоя. Это означает, что они, скорее, пассажиры в "поезде бизнеса", чем машинисты. Если хорошенько подумать о том, что представляет собой хозяйство корпорации с 250.000 или

миллионом работников (или, в СССР, 140 миллионов), то станет ясно, что "управление" корпорацией сходно с "гаданием на кофейной гуще" или с управлением мухи, сидящей на рогах вола. "Успехи" менеджеров корпораций можно видеть из следующего. 13 миллионов собственников (свой карман)-предпринимателей США имели в 1978 году прибыль, в среднем, 14-15% с оборота, а корпорации (3 миллиона) — 4-5%, и часто — убыток. Исследования показали также: главным источником новых рабочих мест являются не корпорации, а собственники, главным источником налогов для государства тоже являются собственники, а не корпорации, главным источником новых изобретений и нововведений тоже являются малые и средние фирмы и независимые собственники.

Неэффективность корпораций по сравнению с эффективностью собственников уже начинает бросаться в глаза, так как корпорации начинают становиться тяжелой нагрузкой для государства, требуя субсидий и привилегий и заставляя государство поощрять слияние корпораций (во избежание банкротства) в гигантские монополии. (Законы против монополий, во первых, совершенно беззубы, а, во вторых, не действуют против государства). Так корпорации покрывают свою неэффективность за счет государства и за счет монополистически вздутых цен на свои товары и услуги.

Тот самый "рачительный хозяин", которого ищут в СССР, начиная с 1917 года, и не находят, блистательно отсутствует и в корпорациях. Акционерные компании (корпорации) — это уже не капитализм, а нечто, близкое к социализму. Вместе с национализированными предприятиями, это просто "кусочек" социализма. Ведь суть настоящего капитализма не просто в деньгах, а в *частной*, не общественной, собственности и в *свободной*, а не монопольной, торговле. Акционерные компании и их менеджеры не уберегут трудящихся от самоубийства.

**Единственная в современном человеческом обществе сила,
способная превратить трудящихся из самоубийц в созидателей
лучшего для себя будущего**

Без инстинкта самосохранения не могла бы выжить на

земле ни одна живая особь, включая, в особенности, человека. Довольно нетрудно уже теперь сообразить, что неуспех социалистической (и многих других "гуманистических") идей есть прямое следствие невозможности ликвидировать эгоизм человеческих существ, являющийся непосредственным проявлением инстинкта самосохранения. Многие тысячи лет тому назад люди стали собираться в племена, увидев в коллективной жизни значительные выгоды для себя (своего самосохранения). Люди тогда видели связь между интересами племени (примитивного общества) и своими личными. Те и другие, как правило, совпадали.

Однако, численный рост общества людей и чрезвычайное усложнение общественной жизни привели к тому, что люди оказались, в принципе, по своим природным свойствам, неспособными понять конкретную связь личных интересов и общественных. Больше того, каждый отдельный трудящийся утратил практическую возможность действовать в пользу общества, даже если бы он этого хотел. "Двигать" общество могли только миллионы в совокупности, а не отдельный трудящийся. В конечном итоге, в обществе миллионов себе подобных человек стал жить, следуя, в основном, и, как правило, своим личным интересам и инстинкту самосохранения. В то же время, общество этих миллионов с его детальнейшим разделением труда, явно обеспечивало человека огромными выгодами, если он с ним сотрудничал. Больше того, человек теперь не может жить один, без общества. Таким образом, человек, с одной стороны, видел в других членах общества себе соперников и осознавал различие своих интересов и интересов других, а с другой — добровольно или вынужденно сотрудничал с другими.

Очень важно отметить, что вся история человеческого общества показывает, что на протяжении тысячелетий, в среднем, сотрудничество значительно преобладало над соперничеством. Иначе не было бы того огромного прогресса человечества, который всякий может наблюдать. Итак, трудящийся не может существовать вне общества и ему приходится с обществом сотрудничать. Тем не менее, его личные интересы разрушительны для общества. Однако, само появление трудящихся означает одновременное появление так называемых

работодателей. При социализме это работодатель единственный — социалистическое государство. На Западе, наряду с такими аналогичными гигантскими работодателями, как западные государство и корпорации, все еще остаются миллионы независимых работодателей — собственников-предпринимателей, являющихся одновременно и менеджерами своего дела. Государство и монополии их успешно дают налогам, законами и финансовой силой. (Тенденция, в этом смысле, — к постепенной концентрации монополий и государства в одну гигантскую организованную систему, вполне подобную социалистической, и к полной потере самостоятельности как собственниками, так и трудящимися).

Однако, именно эти предприниматели-собственники и являются той силой, которая одна лишь способна противостоять эгоизму трудящихся *своим эгоизмом* и организовать созидательный труд трудящихся. Предприниматель, как и трудящийся, как и любой человек, имеет инстинкт самосохранения, который и проявляется в его эгоизме и желании жить лучше и лучше. Нетрудно видеть, что в условиях сильной конкуренции (абсолютно необходимое условие) личные интересы предпринимателей направлены на созидание: они хотят большего и лучшего труда от трудящегося за меньшую зарплату. Именно в случае их успеха в этом — их шансы на хорошую собственную жизнь. Личный эгоизм предпринимателя-собственника, следовательно, противостоит личному эгоизму трудящегося. Происходит великолепное ослабление обоих эгоизмов, ведущее к взаимовыгодному компромиссу. *Уступать трудящимся они могут (при конкуренции) только за свой личный счет*. Они не распоряжаются государственным или общественным имуществом или имуществом акционерных компаний, а только своим собственным. Поэтому их сопротивление самоубийству трудящихся достаточно велико. Больше того, в их среде нет базы для всех "прелестей" системы управления общественным, не-своим, имуществом: бюрократии, взяточничества, воровства, очковтирательства, кумовства, спихотехники и т. п.

Таких собственников-предпринимателей может быть много миллионов. В США в 1978 году их было 13 миллионов. По

всему этому они представляют собой силу, сравнимую с силой миллионов же трудящихся. Если, конечно, их силу не подавляет государство законами и налогами, а гигантские монополии — экономической силой.

Они, как правило, вышли из среды трудящихся и хорошо знают эту среду. Среди трудящихся они, естественно, самые предприимчивые, инициативные и расчетливые. *Расчетливость означает, что их эгоизм приводит к тому, что они защищают общество от затрат труда на то, что не дает прироста общественного и полезного (покупаемого) материального и духовного продукта или услуги. Таким образом, они общество обогащают, а не разоряют.*

В условиях достаточно суровой конкуренции между предпринимателями и свободы их от подавления они самым лучшим возможным способом уравнивают интересы трудящихся и организуют их труд в направлении создания лучшего будущего для всех, в первую очередь, для самих трудящихся. (Именно лучшего будущего, а не земного рая). Таким образом, мне кажется очевидным, что процветающее и развивающееся общество должно быть обязательно внутренне уравновешенным именно в вышеописанном смысле. Государственная власть любой мощности или власть гигантских корпораций и монополий задачу обеспечения социального равновесия, как показывает исторический опыт, выполнить не может.

Сила предпринимателей-собственников тоже может стать разрушительной

Представьте, что предприниматель-собственник превратился в монополиста. Это неизбежно приведет к тому, что потребители (трудящиеся) его товаров и услуг перестанут на него влиять. Он сможет тогда назначать чрезмерные, монопольные цены, не заботиться о качестве товаров и услуг, не заботиться об общественной эффективности своего дела и, наконец, стать диктатором по отношению к своим работникам (трудящимся) и начать их эксплуатировать. Отсутствие конкуренции превратит его из полезного и человеческого организатора

труда в разрушителя общества, бесчеловечного монстра. Монополизм предпринимателя-собственника не менее разрушителен, чем монополизм трудящегося.

Именно для предотвращения этого и нужны "представители народа". Однако, не в том их виде, какой существует сейчас на Западе. В их существующем виде, как я пытался показать, они для этого непригодны. В нашем случае они должны быть ограничены в своих функциях и власти Конституцией. Их главной задачей, и вполне ими осуществимой, должно быть поддержание сильной конкуренции, предотвращение появления монополий и гигантов, охрана независимости граждан, а не превращение их в "винтики и болтики" высокой организации. Сейчас, без соответствующей и недвусмысленной конституции, "представители народа" привели Запад к утрате социального равновесия, к постепенному социалистическому вырождению, ко всё усиливающейся битве гигантов, из которых общество Запада теперь состоит. Равновесие же гигантов, как показывает опыт, невозможно. Только когда один из гигантов сожрет всех остальных, наступит "равновесие" духовно-материальной смерти.

Общество социализма, в свою очередь, приближается к моменту, когда трудящиеся восторжествуют и разрушат до конца систему социализма. Очень важно, чтобы строители будущей Новой России и ее жители хорошенько подумали о внутреннем социальном равновесии их общества. Это значит, что в Новой России ни само государство, ни граждане или их объединения, ни финансово-промышленные компании, ни партии или профсоюзы не должны в отдельности становиться слишком сильными вообще, и, тем более, не перевешивать всех остальных и двигать общество в сторону своих, всегда анти-общественных интересов. Допустить появление гигантов, значит исключить всякую возможность социального равновесия. Именно соответствующая конституция и должна предусмотреть должное устройство общества. Социально-уравновешенное государство вполне осуществимо. Его Конституция мной предложена для обсуждения в книге "О Новой России. Альтернатива". Больше того, Швейцарская Конфедерация и ее Конституция представляют не идеальный, но хороший пример.

Следует подчеркнуть, что внутренне уравновешенное общество является истинной демократией в противовес нынешней, так называемой "представительной демократии", которая является, по сути, властью большинства и властью самых сильных. В уравновешенном обществе каждый гражданин (а не большинство только) имеет полную свободу в осуществлении и самосохранении и собственного созидательного творчества (конечно, в пределах правил общежития) для улучшения своей жизни (и тем — жизни всего общества). Его личные интересы имеют такое же воздействие на все общество, как и у всех других. Такое общество развивается не по воле монополистов власти, а по совокупности воль миллионов граждан в направлении удовлетворения интересов всего общества через удовлетворение интересов каждого во взаимно выгодном компромиссе.

Причины огромной популярности "теории" общества Маркса. Теории фальшивой

Маркс объявил, что совершенно естественные, но вполне эгоистические, а иногда совершенно низменные интересы части общества трудящихся являются, якобы, самыми возвышенными интересами, ведущими к прогрессу человечества. Он освятил борьбу за осуществление этих эгоистических интересов, как борьбу за *лучшее будущее человечества*. Неудивительно, что эта беспардонная и лживая "научно-обоснованная" лесть сработала безотказно. (И все еще работает). Теперь за свое тщеславие около половины человечества рассчитывается ненужными и жестокими страданиями и унижением, а другая половина, несмотря на это, ждет-недождется испытать это, в свою очередь.

Заключение

Ложь и дьявольская лесть Маркса расщепили общество на самоотверженных святых-трудящихся, якобы не имеющих личных эгоистических интересов, и жуликов, угнетателей и эксплуататоров, имеющих глубоко корыстные эгоистические

интересы. Эти ложь и лесть подорвали необходимое сотрудничество всех элементов общества, разрушили социальное равновесие и привели к застою и упадку. *Между тем, личный интерес в его нормальном проявлении (т. е. в свободной конкуренции, воспитывающей уважение к другим и умеряющей остроту и силу эгоизма) есть основа всего развития и всех успехов человечества.* Недаром во всех социалистических странах непрерывно ищут, как "всунуть" этот личный интерес в социалистический механизм, как найти социалистических хозяев, но — без успеха. Недаром эпитет "хозяин", т. е. носитель личного интереса, при социализме является весьма лестным.

Это и показывает, что для нормальной жизни общества нужны все его члены, как для нормальной работы автомобиля нужна в нем каждая "ничтожная" гайка или шайба. Какой смысл считать гайку менее нужной, чем, скажем, двигатель, если автомобиль и без гайки не работает? Социализм разрушил нормальную структуру общества, ликвидировал истинную солидарность общества, заменив ее мнимой, насильственной, и тем обрек общество на нищету и прозябание. Истинная солидарность и социальное равновесие являются свойствами свободного общества. Общества, свободного от силовых воздействий государства, монополий, мощных партий и профсоюзов и, конечно, финансовых властителей.

Парадоксально, что этот самый эгоизм расцветает пышным цветом, и именно при социализме и монополизме и, наоборот, умеряется до нормы свободным соревнованием людей в свободном обществе социального равновесия. Кроме социального равновесия, социализм разрушил и религию, объявив ее вредной для общества. Однако, именно религия воспитывала в людях привычку к труду и уважение к нему. Воспитывала самодисциплину и, я бы сказал, вела к социальному равновесию и к социальному сотрудничеству через взаимное уважение. (Я уже не говорю о том, что знание, на котором только, якобы и нужно, по идее социализма, строить нашу жизнь, едва ли может составить даже и 20% ее. Остальное содержание нашей жизни, составляют ненаучные эмоции и следование нашему индивидуальному кодексу веры. А индивидуальный кодекс веры лучше иметь хоро-

ший. Именно такой и дает неиспорченная социализмом и политикой религия.). Осуществленный социализм и западный монополизм показывают, насколько эти, воспитываемые религией свойства (ценности духа) важны для самого развития и существования человечества. Конечно, нынешняя религия на Западе в какой-то степени пропиталась социализмом и политизировалась, что приводит к постепенной утрате религией ее нормальной сущности и смысла. Духовные ценности прежней религии и ее заповеди не есть просто элементы "хорошей" морали и нравственности, а составляют основу нормальной жизни, потеряв которую, человечеству просто не выжить.

А. Федосеев

ГОРЕ-ЖРЕЦЫ "ИСТОРИЧЕСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ"

"Исторические решения" Октябрьского Пленума ЦК советской компартии напоминают мне анекдот, который когда-то пользовался большим успехом во Французской армии. Герой анекдота — сверхсрочник, старшина-марокканец, которому командир роты велел показать молодому подпоручику-французу, как полагается проводить учебную ружейную стрельбу. Полный превосходства перед молокососом из училища, старшина выстраивает первую шеренгу для "стрельбы стоя" и хотя мишень находится на расстоянии 200 метров, дает прицел на 400 метров. Молодой офицер пытается его поправить, но капитан непоколебим. Следует залп — ни единого попадания. Подпоручик опять пытается вмешаться, но старшина уперся и лишь ставит шеренгу "на колено". Тот же результат. Старшина приказывает шеренге залечь и, опять не добившись попаданий, грозно приказывает: "лопаты в руки, зарывайся!".

Точно такое же тупое упрямство мы наблюдаем у кремлевских горе-жрецов, из года в год старающихся с помощью шаманских заклинаний восстановить сельское хозяйство страны. Вместо упразднения основной причины экономической болезни, от которой страдает советское земледелие с начала тридцатых годов, т.е. коллективизации, эти горе-жрецы, наподобие марокканского старшины, прибегают к таким "эффективным" приемам, как переход от "стоя" к "на колено" или "лежа" — все с тем же "прицелом".

ОТ ИСТРЕБЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА ДО БАНКРОТСТВА 1953 Г.

Среди бесконечной серии сталинских преступлений, или вернее, сталино-большевицких, самым мерзким и безумно скотским является истребление российского крестьянства, проводившееся с 1929 по 1933 год. В истории мы знаем не один случай геноцида, но и на этом фоне "раскулачивание" и умышленно вызванный коммунистами искусственный голод предстают как поистине уникальное злодейство. Уникальное потому, что, объявив "врагами народа" и "паразитами" лучшую часть трудового населения бывшей России, Сталин и его опричники (среди которых ныне здравствующие олигархи играли активную роль) истребили многие миллионы крестьян в ущерб экономике своего же государства. Ведь коллеги Сталина и его присных, завоеватели и тираны всех времен, за исключением, быть может, Хомейни, в принципе, убивали иностранцев, не приносящих им прямой пользы.

Отметим, что, за редкими исключениями, западные историки куда менее интересуются историей проведения коллективизации, нежели чистками партаппарата, Красной Армии или НКВД, не говоря уже о ликвидации деятелей Коминтерна, неосторожно обосновавшихся в Москве. Для западных интеллектуалов-либералов Сталин оказался преступником лишь тогда, когда начал убивать "честных коммунистов".

Здравомыслящие, трудолюбивые, кровно связанные с землей, ставшей, наконец, их собственностью, так называемые "кулаки" являлись ценнейшим человеческим капиталом, попавшим в руки большевицких захватчиков. В свое время, благодаря, в первую очередь, Столыпинской реформе, эти "кулаки" вместе с передовыми средними помещиками за несколько лет добились для царской России заслуженного прозвища "житницы Европы". В начале революции часть этих крестьян была в определенной мере затронута революционным дурманом, но во время Гражданской войны они остались в стороне. Красные им были, конечно, не по душе, но, увы, и белые не сумели завоевать их доверия.

Победа ленинской шайки и проводившаяся ею сельскохозяйственная политика в конце-концов привели к крестьянскому

восстанию. Без НЭПа вряд ли большевицкая власть смогла бы заставить крестьян спасти города от голода. Данные конца 20-х годов свидетельствуют о том, что сельское хозяйство было на пути к возрождению. Следовало лишь ускорить с помощью государства механизацию труда и планомерно перевести излишки рабочей силы в другие отрасли производства, действуя, конечно, безо всяких дурацких пятилеток и их никому не нужных лозунгов.

Но, как известно, Сталин и его соратники хотели другого. Для них антагонистическое "мы" и "они", или "кто не с нами, тот против нас" относилось, в первую голову, не ко внешнему миру, но к населению их собственной страны, где, за исключением узкого круга коммунистов, жили лишь одни враги. И среди последних крестьянство оказалось на первом месте.

И вот в 1929 г. большевицкая оккупационная власть решила ликвидировать российское крестьянство. Ликвидация эта, как мы знаем, была проведена под знаменами "священной войны", с ударными отрядами т.н. "крестьянской бедноты", возглавленными лихими комсомольцами или молодыми партийцами и при прямой поддержке ГПУ, милиции и Красной Армии. В качестве "крестьянской бедноты" выступали доблестные представители деревенских подонков — неудачники, лентяи и алкоголики. Во главе этих легионов зависти и ненависти стояли подающие надежды юные служители богини "исторической необходимости", из чьих рядов и вышли здравствующие ныне в Кремле советские олигархи. Только после этого кровавого посвящения, связавшего их пожизненно, все эти товарищи Черненко, Громыко, Тихонов, Устинов и прочая могли где-то чему-то учиться, что-то закончить и лет через десять обрести теплые местечки, воспользовавшись вакансиями, предоставленными им Отцом Народов. Теплые свои местечки они безусловно заслужили — в результате их энергичной деятельности лучшие русские, украинские и белорусские крестьяне погибали миллионами и сотни тысяч лишенных самого необходимого семей грузились в скотские вагоны для отправки в Сибирь или Казахстан.

Затем, с той же сатанинской логикой, из Кремля последовал приказ насильно отбирать зерно для экспорта. Начался искусственный голод, особенно люто свирепствовавший на Украине,

жертвами которого на этот раз оказались крестьяне, согласившиеся вступить в колхозы. Таким образом, по прошествии немалым более десяти лет после их "освобождения", российские крестьяне были либо истреблены, либо включены в новую систему рабского труда, став советскими крепостными. В тоталитарном аду некому было их пожалеть, некому было вступить в их защиту. Место Гоголя и Некрасова заняли вещавшие о колхозном счастье писатели типа Шолохова.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ КОЛДОВСТВА

Двадцать лет спустя, после смерти Сталина, его наследникам пришлось публично признать банкротство советского сельского хозяйства. В 1953 г. валовой урожай зерна не превышал 100 мл. тонн при населении в 210 мл. человек, тогда как в 1913 г. с населением в 170 мл. человек валовой урожай зерна достиг 97 мл. тонн.

Ни Хрущеву, ни впоследствии Брежневу или Андропову не могло прийти в голову хотя бы частично "освободить" крестьян, как это было сделано в Польше или Венгрии. Разделавшись со своими конкурентами, Никита-чудотворец, как его метко прозвали свои же, увидел выход в освоении целины. Снова были мобилизованы комсомолы, в основном, городские, не имевшие понятия о деревне. Мощные трудовые армии, подогреваемые казенным энтузиазмом, эшелонами отправлялись на целинные земли в Казахстан и Южную Сибирь. Кампания проводилась в обстановке неопишемого беспорядка и не нашлось еще летописца, который сумел бы правдиво поведать об этой социалистической эпопее.

Освоение около 30 мл. квадратных километров целинных земель на первых порах помогло увеличить в конце 50-х — начале 60-х годов валовые урожаи зерна. Но Никита-чудотворец и его подручные не учли коварных действий "природного врага" социализма — песчаного ветра. Довольно скоро началось прогрессивное снижение продукции в расчете на гектар земли. Пришлось прибегнуть, причем в массовых масштабах, к использованию химических удобрений. Увы, химическая промышленность, ничем не отличающаяся от других отраслей советского хозяй-

ства, кроме военной, не сумела справиться с возложенным на нее заданием. Тем временем на полях ржавели трактора и прочая сельхозтехника. Колхозники уделяли куда больше внимания своим собственным участкам и безжалостно воровали коллективное зерно. Председатели колхозов и директора совхозов сплавляли молоко и мясо налево и сбивали с толку статистиков дутыми отчетами. Но даже несмотря на дутые данные, разрыв между требованиями Госплана и официальными цифрами собранных урожаев все более увеличивался. Так, в 1984 г. вместо 240 мл. тонн зерна, определенных Госпланом, колхозы и совхозы СССР смогут поставить государству только 170 мл. Разумеется, эта цифра — тоже дутая, поскольку в царстве лжи, именуемом СССР, истины никто на этот счет не знает. Низшие инстанции лгут во избежание неприятностей. Средние инстанции лгут по привычке и тоже чтобы избежать неприятностей. А высшие — для собственного удовлетворения.

“ИСТОРИЧЕСКИЙ” ПЛЕНУМ ЦК 23 ОКТЯБРЯ 1984 г.

Когда на Западе узнали о предстоящем очередном Пленуме ЦК, советологи и кремленологи высказали, как часто бывало и в прошлом, самые противоречивые предположения. Большинство специалистов, включая и автора этих строк, уверяло, что Пленум не ограничится проблемой сельского хозяйства. Многие приметы свидетельствовали о возможности перемен в высших инстанциях советской олигархии и снятие маршала Н. Огаркова с должности первого заместителя министра обороны и начальника Генерального Штаба казалось предзнаменованием более кардинальной чистки. К общему конфузу знатоков, “исторический” Пленум, действительно, дальше проблем сельского хозяйства не пошел. Но его решения снова заставляют вспомнить французский анекдот, поскольку К. Черненко и его “молодой” соратник Н. Тихонов опять прибегли к мерам, смахивающим на приемы марокканского старшины.

Переплонув Никиту-чудотворца, которого они сами же прогнали, теперешние горе-жрецы решили не только поднимать целину, где только возможно, а главным образом, в Сибири, но и найти повсюду воду для орошения осваиваемых земель, не

останавливаясь перед коренным изменением направления некоторых сибирских рек. Когда "исторические решения Пленума стали известны западным метеорологам и агрономам, они все без исключения, в отличие от "советского народа", не проявили никакого энтузиазма. По мнению компетентных специалистов, утопические планы кремлевских олигархов, а вернее, их референтов, особых результатов в сельском хозяйстве дать не могут, но могут иметь отрицательные последствия для климата соответствующих областей.

Отметим при этом, что заключения западных специалистов касаются лишь метеорологического и урожайного аспектов, не касаясь человеческого, т.е. наличия рабочей силы. Где советская власть возьмет новых рабов в количестве, достаточном для выполнения этих новых супергеркулесовых трудов? Комсомольцев стало все труднее и труднее мобилизовывать. Простые смертные добровольно не поедут. Остаются солдаты и каторжники. По-видимому, "историческая необходимость", как в доброе старое время, опять приведет к умножению армии зеков.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

Наблюдатели на Западе полагают, что интеллектуальный маразм московских олигархов компенсируется умственными качествами их молодых советников и референтов. Действительно, при каждом вожде и во всех отделах ЦК можно найти талантливых, образованных и толковых молодых чиновников — о чем например, красочно повествует в своей книге скульптор Э. Неизвестный — но элементарная осторожность побуждает их не противоречить своим самоуверенным и тупым хозяевам. Это объясняет как футуристические планы мелиорации сельского хозяйства, упомянутые выше, так и все ошибки Кремля с 1976 г., не говоря уже о теперешнем общем застое в его внутренней и внешней политике.

Кремль долгое время играл на непонимании лидерами Запада законов и сущности всеобъемлющей коммунистической стратегии, которую и поныне некоторые т.н. специалисты определяют, как "советскую политику". Благодаря такому непониманию, коммунисты добились некоторых успехов в Азии, Африке

и Южной Америке. Но всему приходит конец. Будучи не в состоянии понять природу тех колоссальных сдвигов, которые начались в конце 70-х годов во всех развитых странах, кремлевские старцы продолжают цепляться за излюбленную схему "борьбы между двумя системами", в то время как их собственная трещит по всем швам. Десятилетиями они делали ставку на неминуемое крушение капитализма в США, не говоря уже о Европе; пробовали использовать в своих целях "революционные силы" в Африке; одно время им казалось, что они владеют положением на Ближнем Востоке и могут легко воспрепятствовать японо-китайскому сближению.

1978 год стал для кремлевских олигархов годом тяжелого протрезвления, хотя в США президентом тогда был милейший, но бездарный Картер, а в Западной Европе продолжала царить неразбериха. Постепенно — и без пользы — завязая в Черной Африке, несмотря на "помощь" кубинских войск, советские стратеги не смогли помешать покойному Садату отправиться с визитом в Израиль; они были бессильны повлиять на положение в Китае после смерти Мао Цзе Дуна; не смогли помочь покойной Индире Ганди на выборах 1977 г.; не избежали крупной политической ошибки в Кабуле в апреле 1978 г., где им достаточно было оставить у власти военных, ликвидировавших Мухаммеда Дауда, а не связываться с местными немногочисленными коммунистами; не сумели помешать заключению японо-китайского договора и не были достаточно изобретательными, чтобы включиться в революционные процессы, происходившие в Иране. Добавим к этому появление в Риме польского папы со всеми вытекающими отсюда последствиями для католиков коммунистической империи. Поскольку, по неписанному, но строго соблюдаемому закону, менять стратегические планы между съездами партии не принято, пришлось ждать 26-го съезда в феврале 1981 г.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ НЕУДАЧИ

Проанализировав причины и следствия неудач в Африке и Азии, московские стратеги ввели в действие в марте 1981 г. новый план. На этот раз основное внимание, т.е. максимальная

концентрация психополитических, дипломатических, финансово-экономических и, главное, чекистских ресурсов, было направлено на Азию, где, опираясь на "дружественную" Индию и на союзный Вьетнам, предстояло: — разъединить японо-китайский бином, а в дальнейшем — подорвать связи между Японией и США; — усилить советское влияние в Индийском и Тихом океанах.

В Западном направлении следовало использовать страх ядерной войны и все пацифистские и нейтралистские движения в Западной Европе и в Америке с тем, чтобы подорвать Атлантический Союз, дискредитировать администрацию президента Рейгана, восстановив европейцев против американцев из-за вопроса о "евроракетах".

Что касается Африки и Ближнего Востока, то СССР удовлетворялся удержанием завоеванных позиций, т.е. Сирией и Южным Йеменом на Ближнем Востоке и Эфиопией, Мозамбиком и Анголой в Африке, не говоря уже о союзе с Ливией.

Новый план исходил, судя по всему, из психополитического расчета на завоеванное Советским Союзом в предыдущий период преимущество над США в области как ядерных, так и обычных вооружений. Однако, через год, в марте 1982 г. в Москве обнаружили, что новая американская администрация решила не только восстановить американское преимущество над СССР в области ядерных и обычных вооружений, но и освоить космическое пространство в целях обороны от неприятельских ракет. Это произвело в Кремле неопишумую панику, особенно среди военных специалистов. Паника еще более усилилась летом 1982 г., когда израильские вооруженные силы, вступив в Ливан, разгромили сирийскую противовоздушную оборону, созданную советскими специалистами, что косвенно свидетельствовало об опасных недочетах в самой советской системе ПВО. Советскому Генштабу пришлось экстренно пересмотреть все свои планы на будущее — 15-20 лет, и реорганизовать систему противовоздушной обороны империи, включая сателлиты и Сирию. Одной из жертв этой реорганизации явился, годом позже, южнокорейский "боинг". Другой жертвой оказался сам начальник Генштаба маршал Николай Огарков. Товарищ маршал не только позволил высказать по поводу новой военной стратегии некоторые

замечания, не совпадающие с казенными, но к тому же "ошибся конем", делая после смерти Андропова ставку на Горбачева, а не на Черненко.

Москва между тем не добилась чаемых плодов в Азии, а "евроракеты", несмотря на все "мирные наступления", были установлены в Западной Европе до конца 1983 г. Что касается Африки, Советский Союз с большим трудом удержал свои позиции в Анголе и Мозамбике и лишь с западной помощью советским колонизаторам удается кое-как кормить эфиопских товарищей.

Только на Ближнем Востоке Кремлю удалось, благодаря сирийским союзникам, внутреннему кризису в Израиле и, главным образом, ошибкам западных держав, добиться некоторой свободы действий. Но и тут нельзя сказать, чтобы Москва смогла до конца использовать существующие возможности. Новая советская ориентация, направленная на сближение с такими умеренными странами, как Египет, Иордания, Саудовская Аравия, арабские эмираты и Северный Йемен, равно как усиленная помощь Ираку, очень не понравилась революционной клиентуре Кремля.

Началось с того, что глава Сирии Хафез Эль Ассад позволил себе выразить неудовольствие товарищами Громыко и Черненко. Затем с открытой критикой "советских друзей" выступило левое крыло палестинских организаций. Что до Ирана, то в последнее время муллы все более и более интересуются шиитами советского Азербайджана и афганскими муджахидами.

После перевыборов Рональда Рейгана США, несмотря на все обструкции и вопли либералов-демократов, в обозримом будущем окажутся впереди СССР во всех областях вооружений. С другой стороны, перед японцами и китайцами маячит "горизонт 2000 года", когда они рассчитывают стать единой супердержавой не только в области экономической, но и военной. Вряд ли им в этом смогут помешать советские союзники в Азии, Индия и Вьетнам. После убийства Индиры Ганди, Индия, по-видимому, вступает в период затяжных трудностей, чреватых народными восстаниями и возможной войной с Пакистаном. Что касается Вьетнама, то не исключена возможность преподачи ему нового китайского "урока", более серьезного, чем в 1979 г.

Отдельные успехи Москвы на Ближнем Востоке или в За-

падной Европе не меняют общего безрадостного положения дел, даже если в Кремле решатся, по случаю 27-го съезда партии в 1986 г., направить основные усилия советской стратегии на Запад.

Западные специалисты часто недооценивают афганский "нарыв" и польскую "головоломку" как факторы, существенно влияющие на дестабилизационные процессы внутри советского блока. В Афганистане мы скоро отметим шестую годовщину с начала этой колониальной войны, на редкость плохо подготовленной и еще хуже ведущейся. В этой войне советское командование пока что проявило свою полную бездарность. Советский Союз попал в Афганистане в западню гораздо хуже той, в которой оказались Соединенные Штаты во Вьетнаме. Советские мальчишки, отправленные на бойню кремлевскими старцами, гниют там на корню благодаря наркотикам и общему моральному разложению оккупационной армии, а заодно открывают для себя всю гниль и мерзость коммунистического режима. Тем временем туркмены, таджики и узбеки советской Средней Азии со злорадством наблюдают за неудачами "русских" войск. В среднеазиатских кишлаках появились кочующие проповедники и, возможно, в недалеком будущем пламя "Джихада" — Священной Войны — перекинется из Афганистана на советскую территорию.

Хотя польская "головоломка" на сегодняшний день и на поверхностный взгляд не выглядит столь уже трагичной, ее также напрасно недооценивают западные наблюдатели. Нужно сказать, что в этом случае виноваты не военные, а чекисты. Омерзительное преступление их польских прихвостней, убийство о. Ежи Попелюшко, вновь объединило "Солидарность", народ и церковь в их сопротивлении военно-коммунистическому режиму. Мученическая смерть о. Ежи вызвала такую растерянность у Ярузельского, что он даже осмелился арестовать убийц-чекистов. Потрясенный обер-чекист Чебриков тут же отправился в инспекционную поездку по "дружественным столицам братских республик".

Что же остается делать отставным палачам, ныне исполняющим должности жрецов "исторической необходимости"? Мумия их первого вождя на этот вопрос ответить не в состоянии.

По-видимому осталась лишь одна надежда — на Отца Народов, чей труп Никита-чудотворец так бесцеремонно выставил из мавзолея в 1961 г.

И вот послали за Светланой, вытащили из нафталина Молотова, готовят к маю 1985 г. великие идолопоклонические торжества. Авань, откликнется Усатый с того света и научит своих престарелых учеников, как восстановить и держать в страхе гниющую на корню империю.

Одно только беспокоит дряхлых кремлевских старцев. Не удалось им заманить обратно лучшего сотрудника Сталина... Маленкова. Ударился, старый дурак, в религию. Бегает по церквам и даже... подпевает, кажется, в каком-то духовном хоре. Какой позор!

М. Гардер

КРИЗИС ПЕРЕЖИТ

С любезного разрешения профессора Джорджа Кеннана "Новый Журнал" печатает главу из книги "Падение европейского порядка Бисмарка: франко-русские отношения, 1875-1890". Перевод сделан *Ларисой и Джоном Глэд*, которым профессор Кеннан написал: "Я глубоко тронут, что написанное мною появится по-русски, на языке, который я так давно и так сильно люблю".

Поскольку глава взята из середины книги, читателям помогут следующие биографические справки:

Гирс, Николай Карлович, министр иностранных дел России в 1882-1895 гг.

Лабулэ, Антуан-Рене-Поль-Лефевр де, французский посол в Петербурге в 1886-1891 гг.

Катков, Михаил Никифорович, в 1850-1855, 1863-1887 гг. редактировал газету "Московские Ведомости".

Моренгейм, Артур Павлович, русский посол в Париже в 1884-1897 гг.

Цион, Илья Фадеевич, ученый, публицист, историк.
Друг Каткова и его парижский агент.

Переводчики выражают свою признательность *Татьяне Павловне Фесенко* за ее советы относительно перевода.

В середине зимы 1887 года дипломатические, чиновничьи и журналистские круги Петербурга были в крайнем смятении: вопрос о возобновлении Союза Трех Императоров оставался неразрешенным. К тому времени всем заинтересованным сторонам стало ясно, что при существующих обстоятельствах не мо-

жет быть и речи о возобновлении договора, как тройственного. Нежелание царя рассматривать продление договора с Австрией не являлось более секретом для хорошо осведомленных лиц в Берлине и в Вене. Любые соглашения между русскими и австрийцами по вопросу о Балканах казались теперь еще более отдаленными, чем когда-либо раньше.

На самом деле, тогда решался вопрос о возможном двустороннем русско-германском пакте взамен истекающего трехстороннего. Бисмарк уже обсуждал этот вопрос с графом Петром Шуваловым накануне своей речи в Рейхстаге в начале января. Однако, с тех пор русская сторона погрузилась в таинственное, ничего доброго не предвещавшее молчание.

Опасность ситуации не укрылась от Бисмарка. К середине февраля он был вынужден прийти к заключению, что план Шувалова потерпел фиаско и ему теперь необходимо обдумать подоплеку отказа русских представить какие-либо другие предложения или даже сделать попытку вновь обсудить вопрос. Мы уже обратили внимание на послание Бисмарка Швейницу от 17 февраля, предостерегающее последнего не начинать никаких дискуссий с русскими по данному вопросу, дабы не создалось ошибочного представления, что Германии новый пакт более необходим, чем самим русским.

В следующем послании от 28 февраля (т.е. после появления тревожной статьи в "Le Nord") Бисмарк сообщил Швейницу, что если при нормальных обстоятельствах антигерманские выпады русской прессы следует игнорировать, то в данном случае им надо придавать серьезное значение ввиду упорного молчания русских о возобновлении договорных отношений. В этом послании Бисмарк еще раз предупредил посла не начинать самому дискуссий о договоре.

Тем временем Гирс, хотя он ясно осознавал, сколь опасное воздействие это оказывает на немцев, пришел к выводу, что не остается делать ничего иного, как дальше хранить молчание в надежде, что какой-нибудь новый оборот дела приведет государя в более благоразумное расположение духа — пока еще не поздно.

Как выяснилось, ему не пришлось долго ждать. 18 марта 1887 года "Московские Ведомости" поместили передовицу, кото-

рая начиналась так: "Чтобы все было понятно в нынешнем положении дел, надо знать, что именно в марте месяце истекает срок злополучного для России "Тройственного Союза", выманенного у нее на три года в эпоху ее уничтожения и секретно возобновленного, также на трехлетие, в 1884 году. Договор этот хранился в строжайшем секрете. В точности не было известно даже самое существование писанного договора, и лишь в недавнее время проведальось его содержание и стало ясно, почему Россия пала в своем значении, все более теряя характер самостоятельной державы, и почему шаг за шагом она была вытеснена с Востока (т.е. с Балкан)".

После этого вступления читателю сообщалось, что Россия, "как будто бы", решила окончательно освободить себя от чрезмерных ограничений этого договора и возродить свою свободу действий в европейских делах, но что это, конечно, вызывает лихорадочные попытки со стороны ее недоброжелателей заманить ее обратно в свои коварные сети и т.д. и т.п.

Эта передовица сразила царя, как удар молнии — и по нескольким причинам. Во-первых, договор, устанавливавший Союз Трех Императоров, держался до тех пор в самой строгой тайне. Только одно раскрытие его существования, не говоря уже о датах его первоначального подписания, последовавшего продления и предполагаемого времени истечения, явилось в глазах царя свидетельством серьезного и непростительного разглашения государственной тайны.

Раскрытие это лично задело монарха в самом чувствительном месте, чувствительном, как ни странно, в большой степени благодаря усилиям самого Каткова. В течение многих лет Катков убеждал царя, что тесная связь с Германией неприемлема для русского общественного мнения. Очевидно, его усилия в этом направлении, особенно в последние недели, не пропали даром. 5 января (17-го по новому стилю) Ламсдорф после разговора с Гирсом, возвратившимся с очень неприятной аудиенции у царя, записал в своем дневнике, что: "Его Величество высказывается не только против Тройственного Союза, но даже против союза с Германией. Ему будто бы известно, что союз этот непопулярен и идет вразрез с национальным чувством всей России; он признается, что боится не считаться с этими чувствами и не

хочет подорвать доверие страны к своей внешней политике”.

Что именно Александр III подразумевал под ”общественным мнением”, определить трудно. Скорее всего, он имел в виду высших военных чинов, националистически настроенных журналистов, Победоносцева, духовенство, некоторых критически настроенных членов императорской фамилии и приближенных двора, включая его собственную жену. Эти люди (за исключением жены) по большей части ненавидели все иностранное, были настроены антиавстрийски, с завистью относились к Бисмарку и Германии, стремились сохранить престиж России, и не уставали выискивать промахи русских государственных деятелей, будто бы недостаточно высоко державших знамя русской славы и могущества. Александр III надеялся сохранить доверие этих кругов, принимая позу, исключавшую намек на дружественность в отношении к Германии, но в то же время предотвращая реальные столкновения при помощи тайных соглашений с германским двором. Немцы прекрасно понимали, в чем дело. Они часто жаловались на то, что в то время, как царь был готов иметь с ними дело и говорить приятные вещи конфиденциально, он не сказал ни слова в их защиту публично, а также не сделал сколько-нибудь серьезной попытки сдержать антигерманские выступления националистически настроенных редакторов русских газет.

Раскрыв существование Союза Трех Императоров и особенно тот факт, что его срок теперь истекает и что правительство России стоит перед трудным и деликатным выбором в своей политике по отношению к Германии, Катков смешал карты в ведущейся царем игре. Он поставил монарха в положение, когда тот фактически был вынужден либо отказаться от связи, которая была основана на личной преданности между ним и германским кайзером и от которой, царь сознавал, зависела безопасность России, либо открыто поддержать эту связь, оскорбив тем самым именно те русские правящие круги, чье доверие он стремился сохранить.

Наконец, как иначе мог Александр III воспринять критику Катковым Союза Трех Императоров, как на критику его самого и проводимой им политики? Стрелы были нацелены в Гирса, но

Катков, ослепленный своей неприязнью к Гирсу и привычными преувеличениями неудач последнего, не понял, что эти стрелы должны были поразить в первую очередь Императора. Разве договор 1881 года не был договором, заключенным тремя императорскими дворами, а не министерствами иностранных дел? Разве он не был одобрен лично царем и подписан Сабуровым, послом России в Берлине? В конце концов, Гирс не был в то время министром иностранных дел. Кто, как не царь нес главную ответственность за принятие и продление в 1884 г. этого договора, ратифицированного лично им в Скирневице?

Передовица Каткова была включена в сводку новостей, подготовленную министерством внутренних дел и представленную царю утром 19 марта. Из заметок на полях, сделанных царем, становится очевидным, что передовица содержала два пункта, которые особенно его раздражили. Против той части, которая раскрывала существование договора, он написал: "Если он узнал об этом, то только от предателя". Кроме того, в статье было еще одно место, где Катков насмеялся над присутствием в Петербурге военной делегации Германии, которая, по его мнению, прибыла туда на открытие выставки нового немецкого оружия и имела целью продемонстрировать Франции близость русско-германских военных связей. Миссия эта, на самом деле, являлась жестом дружбы со стороны старого кайзера по отношению к своему русскому племяннику в связи предстоящим празднованием 22 марта девяностолетия кайзера. Против этого места Александр написал: по-французски: Личная любезность старого императора; выпад неуместный и дурного тона".

Незамедлительной реакцией царя после прочтения сводки новостей с отчетом о статье Каткова, было возвращение ее исполняющему обязанности министра внутренних дел В.К. Плеве со следующим комментарием: "В высшей степени неприличная статья. Вообще Катков забывается и играет роль какого-то диктатора, забывая, что внешняя политика зависит от меня и что я отвечаю за последствия, а не г. Катков; *приказываю* дать Каткову первое предостережение за эту статью и вообще за все последнее направление, чтобы уговорить его безумие, и что всему есть мера".

Резолюция царя вызвала сильную озабоченность в лагере

высокопоставленных сторонников Каткова при русском дворе. Победоносцев незамедлительно выразил письменный протест. Текст его письма не попал в опубликованную переписку Победоносцева, но там есть ответ царя, показывающий, насколько точно и эффективно письмо Обер-Прокурора попало в цель. "Прочтя Ваше письмо по поводу статей Каткова и подумав обо всем, что Вы мне пишете, — писал царь 24 марта 1887 г., — я пришел к убеждению, что Вы правы и что я сгоряча недостаточно обдумал, отдавши приказание о предостережении "Моск. Вед."... Я приказал Феоктистову прочесть Каткову мои замечания на его статью и, кроме того, сделать ему словесное внушение, и я уверен, что этого будет достаточно. Искренне, Ваш Александр".

Помимо этой записки, царь, кажется, велел Феоктистову сообщить Каткову, что он получит аудиенцию, если пожелает приехать для этого в Петербург. Феоктистов сразу направился в Москву и возвратился на следующий день вместе с возбужденным редактором. Аудиенцию с царем организовал для Каткова Победоносцев.

Перед аудиенцией Победоносцев послал царю письмо, полученное от Феоктистова, в котором говорилось о возмущении, вызванном в определенных придворных и государственных кругах необычной снисходительностью, выразившейся в отмене предупреждения. В этом письме приводились слова Плеве, шефа полиции, якобы сказавшего, что он не припоминает случая такого крайнего волнения в высших государственных кругах. Вопрос обсуждался в Государственном Совете. Абаза, бывший министр финансов, выразил протест. Великий князь Михаил Александрович вызвал Плеве в свой кабинет и долго говорил о вреде, который будет причинен русско-германским отношениям. Гирс, по сообщению Феоктистова, решил уйти в отставку и был уже готов отправиться в Гатчину с прошением об освобождении от обязанностей.

Все это, как сказано выше, было доведено до сведения царя до того, как он принял Каткова, но это, видимо, не возымело большого действия. Редактору ничего не стоило успокоить нерешительного монарха, уже подготовленного вмешательством Победоносцева. Царь, однако, высказался перед Катковым в защиту Гирса. Гирс, сказал царь Каткову, необходим России, ко-

торая не была готова к войне. Гирс осторожен, он знает, как выиграть время. Александр посоветовал Каткову примириться с Гирсом и даже заехать к нему с тем, чтоб Гирс разъяснил ему основы русской внешней политики.

Катков, подавив гордость, сразу же направился в канцелярию Гирса с намерением выполнить этот совет царя. Гирс, правильно чувствуя, что его, в сущности, просят изменить свои взгляды в угоду Каткову, чтобы они стали вполне приемлемы царю, впервые в жизни отказался последовать инструкциям царя и не принял редактора. Принять Каткова при существующих обстоятельствах, как он объяснил царю, значило бы допустить такой урон своего личного достоинства, после которого он более не мог оставаться полезным слугой трона. Царь, не представляя, как он справится с положением, которое создалось бы с уходом Гирса, принял это объяснение, но не очень охотно, упрекнув министра в упорстве.

Чтобы понять напряжение тех дней, необходимо вспомнить, что это были последние дни долгой и изнурительной русской зимы. Слякоть и сырость окутывали город. В первые дни апреля на Неве начался ледоход, льдины двигались к Финскому заливу медленно, с громоподобным ревом и треском, нагромождая у невских мостов огромные торосы. Долгая зима и Великий Пост отразились на душевных силах и терпении всех. Люди были вспыльчивы и раздражительны.

12 апреля, за пять дней до Пасхи, русская тайная полиция перехватила и переслала царю директиву министерства иностранных дел в Берлине посольству Германии в Петербурге, в которой передавалось донесение о Цине, полученное из Парижа. Царь, в свою очередь, переслал ее Гирсу. Донесение представляло собой чистый вздор. Цион, охарактеризованный как опасный радикал-революционер, якобы сказал в французских парламентских кругах, что он поощряет войну Германии с Россией, считая, что Россия будет разгромлена и тогда царь будет вынужден дать конституцию. Ответ фон Бюлова (он был поверенным в делах), перехваченный на следующий день, был еще глупее. "Цион, — сообщал Бюлов, — это вздорный, продажный еврей с революционными тенденциями". Цион, якобы,

был близок с Катковым, но это только доказывало, что Катков либо сумасшедший, либо скрытый революционер. Ходили слухи, что Цион должен был быть зачислен в состав редакции "Московских Ведомостей", и это, добавлял Бюлов, было бы неудивительно, т.к. Катков имел привычку окружать себя подозрительными личностями (в этой связи был выделен Татищев).

Что именно думал царь обо всем этом — неизвестно. Судя по единственной пометке на перехваченных документах, он нашел это забавным: "Немцы поистине ненавидят Каткова, не так ли? Впрочем, это понятно".

Ламсдорф считал, что перехваченные донесения будут благоприятствовать Гирсу. Однако, трудно было убедить в этом Гирса, наученного долгим и горьким опытом.

15 апреля царь отправил Гирсу другое полемическое послание, которое Катков представил ему вскоре после отказа Гирса принять его и под свежим впечатлением от этого события. Это был, как Гирс описал Ламсдорфу, пространный и яростный доклад. В нем Катков разбирал те эпизоды — объединение Болгарии, обстоятельства смещения Баттенберга и провал миссии Кульбарса — которые, как он знал, оставили наиболее болезненные впечатления в душе царя. Он пытался доказать, что в каждом из этих случаев никто другой, но Гирс саботировал политику своего монарха. Затем следовала красноречивая просьба, отражающая влияние Циона, оборвать связи с Германией и заключить оборонительный союз с Францией. В последних абзацах к утверждениям о том, что Россия имеет только самые миролюбивые цели, добавлялись довольно странные намеки на то, что отказ продлить Союз Трех Императоров высвободит руки России для дальнейшего оспаривания позиции Австрии в Боснии-Герцоговине, а также в Санджаке Нового Лазаря.

В том, что царь передал ему этот документ без комментариев, Гирс усмотрел свидетельство доверия к себе. Он подтвердил получение документа, послав царю записку с благодарностью за его любезность и отметив — в одной единственной фразе — что факты в докладе грубо искажены. Но, в действительности, этот эпизод его не успокоил. Несомненно, как он заметил Ламсдорфу, меморандум все-таки повлиял на расположение к нему царя.

Подтверждения своих подозрений Гирсу долго ждать не пришлось. Следующий день, 16 апреля, был предпасхальным. В тот вечер, по обычаю, предстояло вручение Пасхальных наград. Во время предыдущих награждений (последними были новогодние празднества) Гирс был обойден, и награды были вручены другим членам правительства. Этот факт был широко отмечен дипломатами и все ожидали, что промах будет исправлен на Пасху. Дипломаты были в этом настолько уверены, что за три дня до событий Флоранс дал телеграмму Лабулэ, уполномочивая его передать Гирсу поздравления Французского правительства по случаю получения, как ожидалось, ордена св. Владимира.

Пасхальные награды доставлялись специальным царским нарочным накануне Пасхи, перед Великой Заутреней. В субботу после полудня старшие помощники Гирса собрались в кабинете Ламсдорфа на чай, делясь предположениями относительно награды, которую получит Гирс. Влангали заявил, что ему из надежных источников известно, что это будет орден св. Владимира Первой Степени, и что на нем будет выгравирована короткая, но лестная надпись.

Время шло. Наступили сумерки, а затем и вечер, а нарочного все не было. Можно представить себе, с какими чувствами бедный Гирс вышел на прогулку в половине десятого вечера. Возвратившись через полчаса, он вызвал к себе Ламсдорфа и сказал ему: "Ну, разве я был неправ?" Ламсдорф все же не терял надежды.

Позднее вечером были, наконец доставлены два пакета — оба из императорской канцелярии. Ни в одном из них награды не было. Как впоследствии стало известно, императорский рескрипт о награждении Гирса был подготовлен с благословения самого царя и ждал на столе его подписи, но вмешательство Победоносцева в последнюю минуту заставило царя переменить решение.

Ближе к полуночи в церкви Зимнего Дворца началась Великая пасхальная служба. Императорская чета прибыла поздно вечером из Гатчины, чтобы присутствовать на службе. Ламсдорф получил приглашение. Гирс был протестантом, и потому приглашен не был. Однако, при создавшемся положении Ламсдорф

просто не мог заставить себя принять приглашение. Крайне огорченный и с разбитым сердцем, он остался, как и его начальник, у себя в огромном здании, здании министерства на Дворцовой площади.

Спустя несколько часов забрезжил рассвет Пасхального Воскресения, сырой и серый. Улицы и площади были пустынные, жители столицы отсыпались после церковных служб и разговин. Утром Ламсдорф, поборов в себе нежелание ворваться к своему начальнику в момент его унижения, все же поднялся по широкой каменной лестнице; его шаги гулко раздавались в тишине пустого здания. Постучав в дверь кабинета министра с намерением узнать, не может ли он быть ему полезным, он застал Гирса сидящим в величественном одиночестве в огромном кабинете, заполненном бесчисленным множеством мелких предметов, столь любимых в Викторианскую эпоху. Ламсдорф не решался заговорить о событиях минувшего вечера, однако, Гирс сам сделал это и Ламсдорфу показалось, что Гирс принял удар тихо и с достоинством. Тяжелее всего, сказал Гирс, было сознание того, что этот эпизод подорвет его авторитет и таким образом снизит его эффективность в контактах с иностранными дипломатами.

В то время, как происходило все вышеописанное, начал трещать и ломаться лед, который так долго сковывал обсуждение положения, вызванного близившимся истечением срока Союза Трех Императоров.

Событием, давшим ход этому процессу, был девяносто первый (и последний) день рождения германского кайзера Вильгельма I, приходившийся на 22 марта. В знак уважения к старому монарху царь послал своего брата, великого князя Владимира Александровича в Берлин представлять его на церемониях. Великий князь, всегда *bien vue* в Берлине, воспользовался случаем детально поговорить с Бисмарком, а заодно и с кайзером, о возможном возобновлении переговоров по этому вопросу. Бисмарк, хотя и с большой неохотой, принял принцип двустороннего пакта вместо трехстороннего, включавшего Австрию, обозначив свою позицию с присущей ему прямолинейностью. По его предложению, русским предоставлялась полная свобода действий в Болгарии; они могли, когда угодно, захватить Дарданеллы, с согласия султана или без оногo, но они не должны

были пытаться разрушить Австрийскую Империю, а также должны были согласиться, при двухстороннем пакте с Германией, не поддерживать французов в любых агрессивных действиях против Германии, сохраняя благосклонный нейтралитет. Бисмарк охотно предоставит царю судить, кто является агрессором в случае такого конфликта.

Таковым было послание, которое великий князь Владимир привез своему брату императору, и, очевидно, на этот раз этого было достаточно, чтобы побудить последнего согласиться возобновить переговоры с немцами. Конечно, неизвестно, было бы этого достаточно, если бы: тень Каткова, еще такая грозная в середине января, не стала уже менее внушительной.

19 марта Гирс коснулся этого вопроса с Швейницием во время очередного обсуждения общего положения дел, т.е. в тот самый день, когда царь кипел от негодования, читая статью Каткова. Гирс тогда сказал Швейницу, что новый договор, включавший Австрию, невозможен; так или иначе, необходимо вести переговоры только о двустороннем соглашении. При этом будет поставлено одно условие, предупредил он посла, от которого русские не отступятся, а именно — абсолютная секретность.

Швейниц, все еще связанный предписанием Бисмарка не проявлять рвения, ничего не ответил, но, посылая донесение в Берлин, показал себя хорошо осведомленным о причинах требования русскими полной секретности. "Император Александр полагает, — объяснил он, — что, несмотря на то, что союз с нами будет ему полезен в его иностранной политике, для его популярности и безопасности внутри страны манифестация известной ненависти к Германии все же необходима".

В апреле, когда доверие царя к Каткову сильно пошатнулось, а влияние великого князя Владимира начало сказываться в нужном направлении, Гирс снова поднял этот вопрос перед царем (23 апреля) и ему удалось получить, хотя и не очень охотное, согласие монарха на официальное открытие переговоров. Гирс был уполномочен передать немецкому послу, что граф Павел Шувалов, русский посол в Берлине, только что проведший отпуск в России, вскоре возвращается на свой пост и будет изучать вместе с немцами возможности двустороннего соглашения. Обо этом Гирс вскоре сообщил фон Бюлову, тогда поверенному

в делах. При этом, однако, он признался в своем сомнении относительно выбора Шувалова как посредника. Граф Шувалов, объяснил он (довольно пророчески) слишком своеволен и склонен к независимым начинаниям. Но Гирс выразил надежду, что сумеет его сдерживать. Он поучал Шувалова: "... не нужно требовать у Германии Луны."

У Гирса, надо заметить, было достаточно причин не доверять графу Шувалову. Последний перед возвращением на свой пост в Берлине в частной беседе открыл Швейницу в Петербурге, что его личный интерес в завершении переговоров с Германией заключается в желании придать такую форму русско-германским отношениям за время своего пребывания послом, которая не потребовала бы дальнейшего развития после того, как он вернется в Петербург и займет место Гирса (которое, он был уверен, его ожидает). Гирс, как нетрудно заметить, все еще оказывался в гуще интриг.

5 мая, возвратившись в Петербург после пасхальных каникул, граф Шувалов имел продолжительную личную аудиенцию у царя. Сразу после нее он поехал в Берлин, везя с собой проект русско-германского договора. Первая статья гласила, что, если одна из двух держав будет вовлечена в войну с третьей державой, то она сохранит благожелательный нейтралитет и постарается локализовать конфликт. Вторая статья подтверждала признание Германией исторических прав России на Балканах и обязывала обе стороны не допускать любого нарушения или изменения status quo в этой части мира. Исключением мог быть заранее подписанный взаимный договор. Третья статья вновь подтверждала верность обеих держав "европейскому и взаимно-обязательному характеру" принципа закрытия проливу указывала на меры, которые будут предприняты, чтобы удержать Турцию от посягательства на этот принцип.

Шувалов встретился с Бисмарком 11 мая (переговоры были продолжены 13, 14, 17 и 18 мая) и представил проект договора на его рассмотрение. Большую часть формулировок Бисмарк принял без значительных изменений. Однако, он боялся, что русские не придадут должного значения обязательству Германии сохранять нейтралитет в случае войны России с Австрией (в соответствии с Австро-Германским договором о ненападении

1879 г.). Поэтому он предложил (и это было принято русской стороной) добавить к первой статье пункт, объясняющий, что обязательство сохранять нейтралитет не будет применено в случае прямого нападения одной из договаривающихся сторон на третью державу. Это означало, что договор не будет иметь силы в случае агрессивной войны России против Австрии.

Следует заметить, что эта статья с добавлением предложенного дополнительного пункта могла возмутить именно то действие, которое было так ненавистно Каткову и Циону, и которому они оказывали столь яростное сопротивление. На деле это обязывало Россию не оказывать поддержки Франции в любой франко-германской войне, в которой Франция могла бы считаться агрессором. Таким образом, это означало, что Россия и дальше отказывается как раз от той "свободы действий", которой постоянно требовал Катков.

Однако, даже эта формулировка удовлетворяла Бисмарка только частично. Его преследовал страх, что согласие откажется от Союза Трех Императоров будет воспринято русскими в какой-то мере как сигнал к свободе действий против Австрии. Начиная с 1876 года он старался убедить русских, что Германия не может и не хочет примириться с полным уничтожением Австро-Венгерской империи. В этом вопросе русские не могли ссылаться на незнание германской позиции. Но он не был уверен, что они до конца понимали, что Германия будет обязана выступить в защиту Австрии в случае войны России против нее, независимо от того, приведет такая война к реальному уничтожению Австро-Венгрии или нет. Именно поэтому он обратился к австрийскому правительству за согласием (и получил его), открыть Шувалову, пока шли русско-германские переговоры, условия Австро-Германского договора 1879 г. Хотя в осведомленных кругах и полагали, что такой договор существует, настоящие его условия никогда не были достоянием гласности. Итак, Бисмарк показал Шувалову текст договора, намеренно скрыв от посла срок его действия. Остается предположить, что это явилось ответом на продолжающиеся в передовицах Каткова намеки на то, что придет день, когда срок Австро-Германского Договора истечет и тогда, наконец, Россия безнаказанно займется Австрией.

Договор, окончательно подписанный 13 июня в Берлине, стал известен как "Договор Перестраховки". Срок его действия был определен в три года. Еще до того, как состоялось подписание, Шувалов, подтверждая предсказания Гирса, замутил воду, в последнюю минуту выдвинув новые требования, которые (по имеющимся сведениям) были ни чем иным, как его собственной инициативой и на предъявление которых его никто не уполномочивал. Эти требования обязывали немцев, в сущности, принять на себя бремя свержения Болгарского регентства в пользу России и впредь признавать правителем этой страны того, кого назначит на этот пост царь. Бисмарк счел это требование ребяческим и возмутительным и без колебаний отказался принять. Шувалов отступил. Но представление, разыгранное Шуваловым в несомненной надежде показать царю, что ему удалось добиться от немцев большего, чем когда-либо просил Гирс, произвело самое прискорбное впечатление на Бисмарка. Оно возбудило в нем сильные подозрения (временно — даже в отношении Гирса) и побудило согласиться на продление Германско-Австрийского Договора о ненападении еще на пять лет. При иных обстоятельствах он продлил бы его только на три года.

В целом, события, сопутствовавшие переговорам по "Договору Перестраховки" — продолжительный зимний перерыв, многочисленные свидетельства возрастающего влияния Каткова в противовес Гирсу и, наконец, безрассудная отсебятина Шувалова, попытавшегося выставить новые и далеко идущие требования, были таковы, что к моменту окончательного подписания Договора в глазах Бисмарка утратил значительную часть своей ценности. Все же он решил, что это лучше, чем ничего. Договор помогал выиграть время. Он давал Германии хотя бы повод для протеста в том случае, если русские зайдут слишком далеко в своих отношениях с Францией. К тому времени, однако, вера Бисмарка в желание царя сохранить близкие отношения с Германией сильно пошатнулась, и он стал сомневаться, удержат ли русских торжественно принятые обязательства этого Договора от поддержки Франции в случае франко-германской войны, независимо от того, кто ее начнет.

Пока происходили русско-германские переговоры (без ведома французов), линии связи между Францией и Россией находились в состоянии относительного спокойствия — отчасти потому, что в самом конце февраля страх перед возможностью войны между Францией и Германией уменьшился. Даже недельный кризис Шнебеле, возникший в конце апреля, не усугубил атмосферу настолько, чтобы предотвратить постепенное прекращение выступлений в прессе и снижение напряженности и общей тревоги. Вдобавок, французский президент Гриви и премьер Фрейсинз, оба обеспокоенные авантюризмом Буланже и нервозностью Флоранса в прошедшую зиму, употребили все свое влияние для того, чтобы смягчить климат. Они выступили против идеи разыгрывать карту Каткова и его союзников против Гирса — идеи, такой близкой буланжистам и определенным военным кругам. Наоборот, они приняли решение (видимо, вполне обдуманно и с осторожного благословения Лабулэ) продолжать сотрудничать с Гирсом, дабы извлечь наибольшую пользу из его исключительного доступа к царю, а также из его известного отношения к Франции, которое нельзя было назвать недружественным, несмотря на всю его осторожность и нежелание внезапно менять союзников. Это решение не следовало интерпретировать, как прекращение всех контактов французов с фракцией Каткова. Напротив, 14 апреля Флоранс довольно безрассудно уполномочил Лабулэ сохранять контакт с Катковым через Богдановича, однако, посла предостерегли от вмешательства в конфликт между Катковым и Гирсом, о котором, по словам Флоранса, французское правительство сожалело.

Следует заметить, что русские проявили сравнительную сдержанность перед авансами французских шовинистов. Русские, как сказал Гирс д'Ормессону, вовсе были нерады излишним проявлениям симпатии к России со стороны Франции, исходящим из этих кругов. Они предпочитали, продолжал он, иметь дело с французским правительством, "таким, каково оно ныне, то есть состоящим из умеренных республиканцев, спокойно и достойно работающих для поддержания Франции на той ступени, которую она должна занимать внутри общего европейского баланса". Россия, заявил Гирс, не может оказывать поддержку тем, кто "во фракционной борьбе является неумолимым

врагом министерства Рувье-Флоранса, стремясь его свержению” Русские хотели бы, чтобы это министерство оставалось у власти, но они не будут вмешиваться во внутренние дела Франции или противодействовать любому кабинету, пользующемуся поддержкой парламента.

Таким образом, потенциальные источники трений между двумя правительствами были тогда намеренно затушованы обеими сторонами. Отказ русского правительства участвовать в предстоящей Всемирной выставке в Париже был воспринят французами спокойно и без возражений. Была раскрыта и вовремя пресечена попытка группы московских панславян послать через генерала Богдановича генералу Сосье шпату с надписью по-французски: “Кто жив? Франция. Бог жалует смелых. Самым верным. Россия, февраль, 1887 г.” Французы продолжали проявлять доброжелательное отношение к русским, поддерживая их против британцев по египетскому вопросу, находившиеся в то время в состоянии периодического кризиса. И Флоранс сильно обрадовал царя, передав ему через Лабулэ и Гирса депеши французского представителя в Софии Флеша, как оказалось весьма прорусски настроенного, который был на ножах как с болгарским княжеским двором, так и со своими западными коллегами-дипломатами. В этих депешах с негодованием сообщалось об отношении болгарских властей к лицам прорусской оппозиции. Ничто не могло более порадовать царя. “Чрезвычайно интересно. Будто это доклад нашего собственного представителя, — написал он на полях докладной записки Лабулэ. — Какие мерзкие события происходят в Софии, и как “красиво” ведут себя европейские представители!... Со стороны французского правительства было большой любезностью предоставить нам эти сведения”.

Седьмого мая Гриви пригласил Моренгейма на конфиденциальную беседу в Елисейский Дворец. Цветистый и многословный отчет Моренгейма об этой беседе, насыщенный лестью в адрес царя (которому, он знал, передадут отчет), находится в советских дипломатических архивах. Высказывания, приписываемые Гриви, переданы дословно, с такими подробностями, что можно прийти к заключению, что либо он дал Моренгейму текст своей речи, либо Моренгейм обладал феноменальной пам-

ятью. Согласно этому отчету, Гриви, что было вполне естественно, подробно остановился на опасном положении Франции и ее мирных намерениях, защищал французское правительство от обвинений в агрессивных планах по отношению к Германии, и выразил благодарность за поддержку, якобы оказанную Россией. Гриви уверял, что доверяет Бисмарку, сказавшему, что он хочет мира. Бисмарк должен хотеть мира, сказал Гриви, потому что если он не будет сохранять мир, ему грозит опасность растерять своих союзников, которые, как заявил Гриви, связаны с Германией договорами только оборонительного характера. В этой связи Гриви рассчитывает на моральную поддержку России, т.к. в случае агрессии Германии против Франции симпатии всего мира будут не на стороне Германии. Франция, по словам Гриви, будет только защищать себя. Он не верил в неизбежность войны, но Франция готовилась к войне так, будто она должна была разразиться на следующий день. Что касается Эльзас-Лотарингии — французы потеряли ее "из-за войны столь же неудачной, сколь несправедливой и глупой с нашей стороны. Мы за это заплатили, но раскаяния не испытываем. Франция, или — точнее сказать — часть Франции, сожалеет об этом, но не подумайте, что это чувство может когда-либо заставить нас предпринять новую войну, чтоб вернуть эту территорию. Мы уже смирились с этим положением".

Русские не должны придавать большого значения идеям реванша (речь шла о Буланже). Горячие головы имеются в каждой стране. Пока он остается президентом, не они будут вершить политикой. Президент предоставляет своим министрам широкую инициативу во внутренних, но не во внешних делах.

На все это Моренгейм ответил рассуждениями о решимости царя сохранить полную свободу действий и не связывать себя обязательствами перед кем бы то ни было. Деша была прочитана царем, который выразил на полях свое полное одобрение и удовлетворение чувствами Гриви.

Что касается Гриви, то за тем, что он высказал Моренгейму, стоял, несомненно, тот факт, что уже готовились планы реформирования французского правительства без участия Буланже. Хотя причины, вызвавшие решение, были связаны преимущественно со внутренней политикой, можно было ожидать, что

перемена такого рода повлечет за собою ощутимые внешние последствия и возбудит в иностранной прессе еще больший шум по поводу возможных международных последствий. Моренгейм через несколько дней сообщил в Петербург, что перемены носят-ся в воздухе.

В конце мая весь кабинет Гобле, включая Буланже, был распущен. Новый кабинет был сформирован политиком-оппортунистом и другом Фрейсинэ Морисом Рувье. Единственным членом старого кабинета, сохранившим свой пост, был Флоранс, которому позволили остаться на посту министра иностранных дел.

Эти перемены были встречены с облегчением как в России, так и в других странах. Опасность новой франко-германской войны еще более отодвинулась. Как бы панславяне и некоторые русские военные ни желали такой войны, Гирс и даже царь могли надеяться, что теперь они будут освобождены от обязанности принимать решения, которые могли быть вызваны такой войной, особенно учитывая их тайные отношения с Германией.

Образование нового кабинета стало причиной весьма любопытного инцидента внутри русского дипломатического корпуса, инцидента, который определенным образом повлиял на положение Гирса и тем самым — на будущее франко-русских отношений. За несколько месяцев до падения правительства Фрейсинэ ходили слухи о назначении нового министра иностранных дел вместо Флоранса — лидера радикалов Шарля Т. Флоке, бывшего в то время Президентом Национальной Ассамблеи. В России помнили, как в 1867 году во время официального визита Александра II в Париж, когда царь поднимался по ступеням Дворца Правосудия, Флоке, облаченный в адвокатскую мантию (царь принял его за священника), подошел к монарху, приветствовал его поднятием шляпы и изрек с доброжелательной нотой в голосе: "Да здравствует Польша, мсье!". Застигнутый врасплох и оскорбленный монарх в ту же минуту вернулся к экипажу и приказал трогать. С тех пор имя Флоке, по понятным причинам, стало поггата при русском дворе.

Теперь, двадцать лет спустя, президент Греви, знавший, что русские не забыли этот эпизод, решил поговорить на эту тему с

Моренгеймом через посредника. Хотя он и был раздосадован, когда Моренгейм заявил, что покинет Париж, если Флоке станет министром иностранных дел, кандидатура Флоке была снята и на пост был назначен Рувье. (Однако, этот вопрос снова был поднят через несколько месяцев и решен иначе.) Но когда в конце мая 1887 года кабинет был переформирован, кандидатура Флоке снова всплыла — на этот раз уже на пост премьер-министра.

Как раз в это время (в конце мая 1887 г.) Катков снова приехал в Петербург, в последний из его многочисленных приездов. На сей раз он приехал по вопросам, касающимся школьных реформ, к которым он проявлял живейший интерес. К тому времени он был серьезно болен раком, который в скором времени свел его в могилу. В Петербург он был срочно вызван 29 мая на загородную дачу министра внутренних дел Дмитрия Толстого, где последний предъявил ему, с требованием немедленного объяснения, телеграмму, только что полученную от Моренгейма из Парижа и касающуюся французского правительственного кризиса. Она гласила: "Фрейсинэ отстранен. Флоке всячески добивается поста министра. Он показывает письмо, полученное Гриви от Каткова, в котором Катков говорит, что его кандидатура на пост министра будет принята благожелательно в России и что русское правительство непременно сделает заявление по этому поводу Лабулэ. Посредник между Катковым и Флоке — Цион".

Как кандидат на пост премьер-министра, Фрейсинэ по неизвестным причинам выбыл из игры. Флоке прилагал все усилия для того, чтобы получить пост. Именно с этой целью Флоке показал президенту Гриви письмо от Каткова, в котором последний говорил, что министерство, возглавляемое Флоке, будет встречено с одобрением в России и что русское правительство не преминет послать официальную ноту по этому поводу через Лабулэ. В достоверности этих фактов, говорилось в письме, сомневаться не приходилось.

Предположения эти, в случае их подтверждения (Моренгейм ручался за точность сообщаемых им сведений в самой категорической форме), без сомнения, наносили вред Каткову, так как они раскрывали его вмешательство самым непростительным об-

разом, за спинами царя и Гирса, в русскую политику заграницей. Толстой показал донесение Каткову и сказал ему, что царь чрезвычайно недоволен, подозревает Игнатьева в соучастии и поручил Толстому принять энергичные меры с целью прекращения всего этого дела.

Катков, который прежде, в случае раскрытия им существования Союза Тех Императоров, мог винить только самого себя, на этот раз не был виноват. С возмущением разоблачая мнимое письмо как подделку и отрицая свою причастность и осведомленность в этом деле, он вернулся домой после разговора с Толстым чрезвычайно расстроенным, склонным верить (что было, несомненно, признаком прогрессирующей болезни), что царь сам счел нужным "бросить тень на меня". Катков сразу же написал Циону в Париж, прося его расследовать обстоятельства дела и получить доказательства невинности их обоих. С присущими ему неистовством и энергией Цион занялся этим делом, посвятив ему большую часть июня и июля. Об убедительных результатах он частным образом доложил позднее летом Победоносцеву, а через него царю.

Как выяснилось, участниками интриги были три человека. Одним из них был пресловутый Катакази, который, по-видимому, был движущей силой операции. Вторым был парижский журналист А.М. Сивинс, вероятно, греческого происхождения, который одно время был корреспондентом "Московских Ведомостей" в Афинах, а теперь был связан с агентством Гавас. Третьим был молодой Николай Гирс, старший сын министра, который в ту пору был секретарем русского посольства в Париже.

Послание Моренгейма дошло до царя якобы случайно, как раз тогда, когда царь получил из других источников неблагоприятную информацию о Ционе и двух других сотрудниках редактора — Богдановиче и Татищеве. Гнев царя за парижский инцидент обрушился не на одного Каткова, а на всех троих, причем Катков был обвинен еще и в том, что окружил себя "негодяями". Богданович, имевший статус генерал-майора на службе министерства внутренних дел, был тут же уволен. Татищев, известный публицист и историк, был вынужден на время замолкнуть. Циону, совершенно несправедливо обвиненному царем в том, что он — автор "La Société de Pétersbourg", удалось

удержать свое шаткое положение чиновника министерства финансов только потому, что царь не знал об этой его службе.

Хотя Циону все же удалось оправдать себя и Каткова от обвинения в участии в этом необычном деле, все же это было ударом по Каткову и его фракции, и укрепило, возможно, даже решающим образом, позицию Гирса. Во всяком случае, Катков не дожид до собственного оправдания. Серьезно больной и с расшатанными нервами, вскоре после возвращения в Москву он слег и скончался 1 августа 1887 года.

Со смертью Каткова Россия потеряла одного из своих величайших публицистов, человека, обладавшего блестящими умственными способностями, выдающимся литературным и редакторским талантом, страстного патриота, со всей искренностью защищавшего русские национальные интересы, как он их понимал. С другой стороны, нужно признать, что он всегда был хорошо осведомлен о тех международных делах, которые брался обсуждать, что его доверием легко злоупотребляли недостойные люди, и что страстность его собственных политических взглядов часто вводила его в заблуждение. В последние годы жизни он страдал из-за унижения России вследствие ее многочисленных провалов, а также был полон зависти к Бисмарку, зависти, отражающей комплекс неполноценности деклассированного городского интеллигента Викторианской эпохи перед помещиком, каким являлся Бисмарк. Все же общий итог жизненной деятельности Каткова свидетельствует, что он остался выдающимся человеком. Не без некоторой грусти автор этих строк вынужден, в силу избранной темы, заниматься главным образом его ошибками в иностранной политике, набросившими тень на деятельность этого талантливого человека, оказавшего России великие услуги в другие времена и на других поприщах.

Джордж Кеннан

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

I

Третьей своей службой родине Д.И. Менделеев назвал промышленность, которой, наряду с технологией, географией и экономикой, он посвятил треть своих опубликованных трудов, — свыше трехсот. Вот как на склоне лет он подытоживал эту сторону своей деятельности:

“Третья служба моя родине наименее видна, хотя заботит меня с юных лет по сих пор. Эта служба, по мере сил и возможности, на пользу роста русской промышленности, начиная с сельскохозяйственной, в которой лично действовал, показав на деле возможность и выгодность, еще в 60-х годах, интенсивного хозяйства и организовав впервые у нас опытные исследования по разведению хлебов. Личные усилия убедили меня, однако, очень скоро в том, что с одним земледелием Россия не двинется к необходимому ей прогрессу, богатству и силе, останется страной бедною, что настоятельней всего рост других видов промышленности: горного дела, фабрик, заводов, путей сообщения и торговли. Мои, так сказать, теоретические усилия начались с настойчивой пропаганды в пользу возможности — при определенных условиях — выработки бакинской нефти в эпоху, когда к нам ввозились миллионы пудов американского керосина... Свои открытия в деле бездымного “пироколлодийного” пороха, введенного в наш флот и уже нашедшего своих подражателей даже в Америке...”

В своих трудах, посвященных будущему родины, Менделеев ставил не только технические и технологические вопросы, но и прослеживал связь между наукой, техникой и экономикой.

О широте охвата народохозяйственных проблем России Менделеевым можно судить с первого же взгляда, брошенного на оглавление собранных в одном томе его статей — "Проблемы экономического развития России". Опубликованные в нем работы Дмитрия Ивановича систематизированы по тематике в шести разделах: "О развитии производительных сил России", "Фабрично-заводская промышленность", "О промышленном развитии Урала", "Угольная промышленность России", "Развитие нефтяной промышленности России", "О сельском хозяйстве России".

Менделеев с детских лет соприкасался с заводской обстановкой. Его мать владела и одно время управляла небольшим стеклянным заводом в Аремзянке (25 верст от Тобольска), который сгорел дотла в июне 1848 г., когда Мите шел 14-й год. Он не раз бывал на этом заводике.

Став профессором в начале 1860-х гг., Дмитрий Иванович читал курс технической химии, в котором упоминались технологические процессы многих видов производства химической продукции. В 1862 г. он редактировал "Техническую энциклопедию" Вагнера. Для нее он написал четыре выпуска: "Производство муки, хлеба и крахмала", "Сахарное производство", "Производство спирта и алколометрия", "Стекло и стеклянное производство".

С 1891 г. Д. Менделеев принял деятельное участие в создании "Энциклопедического словаря" Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (бывш. ученик Д.И.). Он стал редактором фабрично-заводского и химико-технологического разделов энциклопедии. Менделеев был автором 54 статей, редактором 1.500 — по технике, химии, химической технологии и разным вопросам фабрично-заводского дела.

Изучением природных богатств Родины молодой Менделеев занялся еще в студенческие годы. Чем старше становился ученый, тем больше внимания он уделял технико-экономическому развитию отечества, эксплуатации его богатств.

Первые значительные работы Менделеева в области изучения России были посвящены экономическим и техническим проблемам. Так, уже в 1857 г. двадцатитрехлетний молодой ученый публикует в "Журнале Министерства народного просвеще-

ния” статьи “Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой”, “О жидком стекле и стеклянной поливе”. А в 1858 г. им опубликована в “Промышленном листке” серия статей под названием “Новейшие металлургические исследования”.

Лишь в 50-х гг. нашего столетия было собрано и систематизировано почти все экономическое наследие ученого, общим объемом до 200 печатных листов, и опубликовано в 18-21, частично 10-12, 16 и 24 томах академического издания сочинений Д. И. Менделеева.

В своих экономических работах ученый рассматривал ближайшие, конкретные задачи развития народного хозяйства России, организацию добывающей и обрабатывающей промышленности, проблемы ее размещения и специализации, расширение сети путей сообщения, соотношение аграрного и индустриального производства и т.п.

Свои экономические идеи Дмитрий Иванович проверял, непосредственно знакомясь на месте с состоянием той или иной отрасли хозяйства. Он совершил несколько поездок на Кавказ для изучения добычи, переработки и транспортировки бакинской нефти. В итоге — он предложил несколько технических мероприятий для улучшения экономики нефтедобычи. Занимался он исследованием состава нефтепродуктов. Выдвинул оригинальную теорию происхождения нефти.

В 1888 г. Менделеев обследовал каменноугольные месторождения Донбасса с целью определения оптимальных экономических условий расширения отечественной добычи каменного угля.

Исключительное внимание ученый уделял развитию и расширению железодобывающей промышленности Урала. Ей он посвятил большой труд — “Уральская железная промышленность”. Летом 1899 г. Менделеев возглавил комиссию экспертов (в составе четырех человек), которая по заданию правительства изучала металлургический Урал.

Менделеев всегда комплексно подходил к решению индустриальных задач. В предисловии к выпущенным в 1897 г. “Основам фабрично-заводской промышленности” он отмечает: “А когда, с годами, явилось понимание исторического — народного и мирового — значения роста промышленности, и когда мне

стало очевидным, что в ней выступает яснее всего связь науки с жизнью, и что показание этого значения в этой связи особенно важно в эпоху, переживаемую родиной, тогда я решился посвятить сколь возможно больше усилий этому показанию”.

Особенно настойчиво ратовал великий ученый за индустриализацию родины. По его словам, “мы живем в эпоху, когда богатство и сила народа опережается преимущественно индустрией, а наши дети или внуки вероятно доживут до того, что богатство и вся сила народная будет определяться умелым сочетанием индустрии и сельского хозяйства” (т. 24, “Заветные мысли”).

Критикуя народников (80-90-е годов), уверявших, что в России нет условий для перехода на промышленный путь развития, Менделеев, разрабатывавший проблемы тарифа, в работе “Толковый тариф” отметил: “Почитая труд отцом обеспеченного благополучия, а бережливость матерью, веря в настойчивую волю более, чем в порыв, и опираясь на исторический опыт, выражающийся численными отношениями более, чем умственными построениями, я достиг такого сознания великого значения промышленного развития для роста благосостояния всех классов народа, что всеми способами, доступными моим слабым силам, желаю содействовать промышленному развитию своего отечества” (т. 19, стр. 936).

В своих многочисленных поездках за границу — в Западную Европу и в Америку — Менделеев по собственной инициативе или по заданиям заинтересованных государственных организаций и деловых кругов посещал промышленные выставки, крупные предприятия Англии, Германии, Франции, Италии, Голландии и Бельгии. Он специально изучал нефтяную промышленность США, куда ездил в 1876 г. по поручению правительства. На основании своего опыта ученый пришел к выводу, что необходима ускоренная индустриализация России. Для этого нельзя идти обычным путем промышленных стран: сначала развивать легкую промышленность, расширять внутреннюю и внешнюю торговлю для создания собственных капиталов, чтобы приступить к расширенному производству средств производства, т.е. к тяжелой промышленности, без которой нельзя развивать другие отрасли промышленности и поднять экономику сельского хозяй-

ства. Менделеев утверждал, что Россия не может стать передовой страной, не ставши индустриальной державой. А для последнего необходимо создать условия для проявления частной инициативы и поддерживать конкуренцию между отдельными собственниками. Защищая свою позицию — развивать в первую очередь промышленность — Менделеев все время перед собой видел американский опыт.

“Такая страна, как США, в эпоху, которая могла особо благоприятствовать сельскому хозяйству, и при благоприятнейших условиях почвы и климата, показала в наше время, как сильно может влиять протекционизм на развитие видов промышленности, для которой имеются условия в стране. А так как новые виды промышленности дают всюду ныне больше валового дохода, т.е. общего достатка, и больше прямого заработка не только хозяевам, но и рабочим, то ими, исключительно ими в наше время определяется богатство и сила народа. Вот почему бывши сельским хозяином и разбирая обстановку этого дела... я считаю, что в заботах о народном благосостоянии पहले, т.е. ранее всего, должно заботиться о других видах промышленности, а не о сельском хозяйстве... Меня при этом *не страшит тот страх капитализма, которым заражена вся наша литература* (подчеркнуто нами). Прежде всего замечу, что для меня капитал есть особая форма сбережений народного труда, способная возбуждать новый труд”.

В своих работах Менделеев ориентировался на капиталистический способ развития экономики государства. Тем не менее, он не видел в капитализме только полезную форму и неизбежный на все времена путь развития народного хозяйства. В “Толковом тарифе” им была высказана такая мысль: “...промышленное развитие есть высшее благо, современностью выработанное, а капитализм есть осознанное зло, которое оставляют существовать лишь потому, что нет еще выработанных средств достигать промышленного развития без капитализма... (т. 19, стр. 869).

Но как мы видим, и через сто лет после этих слов Менделеева капиталистическая экономика, как организация благосостояния населения, по всем статьям превосходит социалистическую плановую экономику.

Великий русский ученый, талантливый экономист, Менделе-

ев утверждал необходимость стране пойти по пути капиталистического развития и доказывал что Россия, став на путь индустриализации, сможет не только нагнать западноевропейские страны, но и приблизиться к уровню экономического развития США. Все дело, полагал он, в том, чтобы изыскать необходимые средства для капиталовложений и осуществлять разумную покровительственную тарифную политику.

Во "Втором чтении" из цикла лекций "Мысли о развитии сельскохозяйственной политики" Менделеев приводит такие соображения по этому поводу: "Капитал, затраченный на устройство горных и фабрично-заводских дел в Штатах, сосчитанный при переписи... оказался около 15 млрд. руб., у нас такого подсчета не делается, но, судя по годовым оборотам, затрачено не более, как 2 млрд. руб., т.е.: *если мы хотим догнать американцев хотя бы в 20-30 лет*, нам надо вкладывать в промышленность не менее, как по 700 млн. руб. в год" ("Проблемы.", стр. 316).

Реальность решения этой грандиозной задачи Менделеев подкрепляет в своей лекции такими соображениями: "Сообщу вам, что официальные сведения о количестве капиталов, влагаемых у нас в последние годы в акционерные предприятия (круглым числом около 300 млн. в год), отнесенные на всю промышленность (частную и акционерную), показывают, что *именно это и делается теперь в России* благодаря господству покровительства, которое родило капиталы не только в Штатах, но и в Англии...".

Как свидетельствуют эти соображения нашего ученого, идея догнать США по экономическому уровню зародилась задолго до советской власти, до пятилеток и ширококвещательных лозунгов 30-х гг. "Догнать и перегнать Америку". На 22-ом съезде КПСС снова всплыл этот лозунг в подновленной форме для декларативной программы: "в ближайшее десятилетие (1961-1970) Советский Союз превзойдет по национальному доходу на душу населения наиболее мощную и богатую страну — США". А вот реальность: за 70-е, начало 80-х гг. СССР *застыл по этому показателю на 14-16 месте среди прочих стран мира!*

Тот подъем, который переживала Россия в области науки и образования, в техническом прогрессе, в концентрации промыш-

шленности к концу прошлого века и первого десятилетия XX века служил серьезной заявкой на то, что страна могла в ближайшие исторические сроки выполнить прогнозируемую мечту Менделеева, *если бы не крушение старой России и не ликвидация частного предпринимательства*. Задача, поставленная Менделеевым, была по плечу стране, имевшей богатейшие природные богатства, высокообразованную, предприимчивую техническую интеллигенцию и высоко стоящую науку. Если бы не большевицкая революция и внедрение многоступенчатого социализма всех видов и оттенков, достижения во всех областях творчества, во всех отраслях народного хозяйства, в процветании широких масс населения, несомненно, были бы значительны. И самое главное — не было бы чудовищных издержек социалистического строительства — разорения и ликвидации трудового крестьянства, уничтожения старого служилого слоя русской интеллигенции, миллионов гулаговских "поселенцев", материальных лишений трудящихся при поспрании всех духовных и социальных свобод всех слоев населения.

Великий русский ученый протестовал против увлечения социалистическими или народническими и подобными идеями в вопросе построения будущего общества, которыми в его время увлекалась революционно настроенная молодежь России.

"От идолопоклонства занятыми идеями, — пояснял ученый, — зависит отсутствие у нас способности уловить действительные и простые нужды страны и народа и действовать в их интересах... Эта способность рождается только тогда, когда ставят на первое место не красоту идеи самой по себе, а согласие ее с действительностью. Этим путем, развившимся из начал опытного знания, достигнуты все успехи вселенского знания природы, выразившиеся в тех промышленных и умственных завоеваниях, которые всем видимы, как резкое отличие нового времени от прошлого" ("Проблемы", стр. 134).

Менделеев настойчиво предлагал искать собственные пути для подъема экономики России: "А самостоятельность и практическая находчивость в отношении к нашему заводскому делу не менее нужны, а более нужны нам в России, чем во всякой другой стране просто потому уже, что нам приходится начинать почти сначала и на свой особый манер. Одно простое перенимание за-

граничного метода заводской деятельности не может привести нас к развитию заводского дела, как простое подражание сельскохозяйственным приемам Запада, бывшее у нас в моде, не привело к сельскохозяйственному успеху, а только разорило много людей”.

”По моему мнению, — пишет далее Менделеев, — обширное развитие заводской и фабричной деятельности в России есть не только единственное верное средство для дальнейшего развития нашего благосостояния, но есть и единственный путь для соглашения интересов массы народа с интересами образованных классов, потому что на заводе рядом будут трудиться и простолюдин, и барин, и на заводе станет народу очевидна реальная польза образования, которое теперь может казаться прихотью и надобностью чиновников и помещиков”.

Рассматривая богатства недр России, Менделеев не упускает из виду, что страна обладает и достаточными людскими ресурсами, чтобы их утилизировать: ”С той рабочей силой, которую доставляет эта масса людей (не полностью занятой в сельском хозяйстве), с той дешевизной труда вследствие избытка времени, представляются все первые основные естественные условия для развития промышленной и заводской деятельности, а потому дальнейшая судьба России определяется развитием всех родов промышленности, а не одного земледелия”.

В своих провидческих планах, которые для России не устарели и поныне, ученый предусматривал и районирование промышленных центров, связанное с наличием месторождений энергетических (топливных) ресурсов. ”Местами, наиболее благоприятствующими развитию многих химических заводов, включая в их число металлургию, должны считать на будущее время места, в которых находятся залежи каменных углей, а если перечислить вкратце эти места, то в них будет заключаться перечисление центров нашей будущей заводской и фабричной деятельности, потому что топливо, как неизбежный материал большинства фабрик и заводов, будет наиболее дешево, конечно, в соседстве с этими местами или в тех местах, которые лежат по водным системам, соприкасающимися с каменноугольными бассейнами”.

В те годы, когда Менделеев писал эти строки, железнодо-

рожная сеть не охватывала некоторые районы, пригодные для размещения промышленности. Менделеев перечислил районы наиболее выгодного размещения промышленности, помимо Урала, имеющего достаточно развитую промышленность, — это Донбасс, Центральные губернии России, Привисленский край, Кавказ (нефть, Тквибульские и Кутаисские угли), Сибирь (Кузнецкие и Экибастузские угли). В своих прогнозах ученый уделял серьезное внимание черной металлургии, как основной отрасли тяжелой промышленности: "В заводском деле первое место, после топлива, во всех отношениях занимает, конечно, металлургия и во главе ее железное дело, тем более что без них немыслимы ни фабрики, ни само земледелие в надлежащем развитии. Сколько бы железа какая бы страна ни добыла, она успевает его сбывать" (стр. 147).

"Итак, для развития заводской деятельности в России, — подчеркивает Менделеев, — *есть все первые основные условия* по отношению как к сырому материалу, так и к сбыту товара, и это, можно сказать, сознается массою людей, сколь-нибудь знающих Россию. *В этом сила и значение России.* Россия должна явить самостоятельность свою прежде всего в развитии благосостояния, чрез учреждение соответственной своим размерам и условиям фабричной и заводской переработки тех богатств, которые у нее находятся под руками и в полном владении, Тогда только возможно будет спокойно смотреть на дальнейшее развитие страны, беспримерно обширной и естественно богатой. И только тогда приобретет свой истинный смысл введение России в круг образованных государств" (стр. 152).

II

Д.И. Менделеев и освоение русского Севера

Немало внимания уделял Менделеев освоению Севера. Ему принадлежат такие слова: "У России так много берегов Ледовитого океана, что нашу страну справедливо считают лежащей на берегу этого океана". "Желать истинной, т.е. с помощью кораблей, победы над полярными льдами Россия должна еще в большей мере, чем какое-либо другое государство потому, что ни одно не владеет столь большим протяжением берегов в Ледо-

витом океане и здесь в него вливаются громадные реки, омывающие наибольшую часть империи, мало могущую развиваться не столько по условиям климата, сколько по причине отсутствия торговых выходов через Ледовитый океан. Победа над его льдами составляет один из экономических вопросов будущности северо-востока Европейской России и почти всей Сибири, так как лес, хлеб и другие тяжелые сырые материалы отдаленных краев могут находить пути сбыта у себя в стране и во всем мире только по морю”.

Уже в те времена ученый считал, что если победили твердыни гор, то надо и льды побороть, а около тех льдов немало золота и всякого иного добра, ”своя Америка”.

Менделеев принимал деятельное участие во введении во флот русский ледоколов. Идея впервые была высказана адмиралом С.О. Макаровым (1848-1904). Но только благодаря личным хлопотам Дмитрия Ивановича у Витте были получены кредиты на постройку ледокола в Англии. 19 февраля 1899 г. на ледоколе ”Ермак” был поднят флаг русского торгового флота.

Намечалось совместное плавание с исследовательскими целями Менделеева и Макарова. Оно не состоялось из-за того, что Менделеев настаивал на том, чтобы весь исследовательский штат был подчинен только ему, а Макаров требовал полного подчинения всего персонала лишь ему. Он имел исследовательский опыт и был властолюбив. Когда Макаров был переведен на исполнение других обязанностей, Менделеев снова занялся осуществлением своей программы изучения Арктики. В конце 1901 г. Менделеев подал в министерство обстоятельную записку ”Об исследовании Северного полюса океана” и одновременно ходатайствовал о предоставлении в его распоряжение ледокола ”Ермак”. Проект в высших сферах не был одобрен. Рассерженный Менделеев уничтожил свой проект.

Менделеев разработал эскиз ледокола. По чертежам ученого в 1965-66 гг. была построена модель его ледокола, испытания которой показали прекрасные мореходные качества менделеевского ледокола; реконструкция макета хранится ныне в музее.

Великий ученый считал разрешимой проблему сквозного морского пути из Европейской России в Сибирь при помощи ле-

доколов. Он понимал, что для аграрного производства русский север малопригоден и аграрное население туда не привлечешь, но что касается других слоев населения, то оно может быть привлечено для разработки горных богатств. Именно горная промышленность имеет здесь благоприятные условия для развития, которое будет залогом хозяйственного освоения Севера. Горные разведки уже в то время показали наличие крупных месторождений золота, руд, цветных металлов и минерального топлива.

Изучая распределение природных богатств страны, Менделеев, вместе со своим сыном Владимиром (моряк, инспектор мореходных классов (1865-1898), искал центр поверхности всей России и центр народонаселения страны. В те годы Россия делилась на 97 губерний, в ее состав входила Финляндия и Привисленский край. Тогда географические координаты центра России были: северная широта $63^{\circ}29'$, восточная долгота $53^{\circ}0'$. Расположение этого центра — между Обью и Енисеем в тогдашней Енисейской губернии, немного южнее г. Туруханска. И, как пишет Менделеев, "эти места пустынные и их никоим образом никто не сочтет способными к земледельческой культуре, могущими когда-либо (в предвидимые времена) отвечать центру населенности русского народа — как бы он не размножился".

Центр российского населения по данным переписи 1897 г. был определен, как точка, лежащая в Тамбовской губ., на северо-восток от Козлова (г. Мичуринск с 1932 г.) и на запад от Моршанска. Менделеев считал, что к 1906 центр населения успел подвинуться по направлению на восток с уклоном на юг. Его географическое положение для 1897 г.: северная широта $53^{\circ}20'$, восточная долгота $10^{\circ}23'$.

Еще при жизни ученого, с 1891 по 1904 год была построена Транссибирская магистраль — 8 тыс. км. железнодорожных путей, в том числе 100 км. мостов и туннелей в трудных климатических условиях. Это была самая длинная в мире магистраль, притом построенная в невиданно короткие сроки, да еще с применением главным образом ручного труда и примитивной техники прокладки путей. Эта магистраль, связавшая Европейскую Россию с Сибирью, сыграла большую роль в заселении Азиатской России и в эксплуатации ее природных богатств.

Менделеев предполагал, что в освоении Сибири должно

сыграть известную роль воздухоплавание при помощи дирижаблей. Известно, что Менделеев был знаком с Циолковским и ему помогал в научных изысканиях. Воздухоплавание интересовало великого химика и с теоретической и с практической стороны. Первый раз Менделеев поднялся на привязанном аэростате Жиффара на Парижской выставке в 1872 г. Самостоятельный полёт с научной целью он совершил для наблюдения полного солнечного затмения 7/19 августа 1887 года в Клину Тверской губернии. Внучка ученого, Е.Д. Менделеева-Каменская рассказывала корреспонденту "Недели" (1984, No. 6), что, "готовясь к полету с аэронавтом Кованько на воздушном шаре, больше всего они опасались, что в момент приземления мужики примут их за чертей, особенно Дмитрия Ивановича с бородой, и сильно побьют".

Дмитрий Иванович смело решил лететь один, так как оказалось, что аэростат Технического общества, на котором предстояло делать наблюдения, не имел достаточной подъемной силы для двоих воздухоплавателей с необходимыми приборами и грузом. Полет начался в 6 ч. 42 м. Предельная высота, достигнутая в полете — 3,5 версты. Дмитрий Иванович делал непрерывные наблюдения, снимал показания приборов. О его хладнокровии свидетельствует его поведение, когда он обнаружил факты, которые могли привести к печальным последствиям. При отлете перепутались канаты и запуталась веревка от клапана, при помощи которого выпускается газ из оболочки шара.

"С трудом втянув пудовые перепутанные канаты в корзину, Дмитрий Иванович начал распутывать веревку от клапана, причем, когда он начал карабкаться к кольцу, корзина угрожающе наклонилась и начала раскачиваться". К счастью, Менделеев и в 53 года не чувствовал головокружения от высоты и легко все привел в порядок. Спуск произошел благополучно, Дмитрий Иванович приземлился в толпе сбежавшихся крестьян, "прежде всего снял шапку, перекрестился, поздоровался с народом и услышал поздравления с благополучным окончанием воздушного путешествия".

Полет был для Менделеева не только средством изучения с воздуха полного солнечного затмения в Подмосковье, но он сделал и метеорологические наблюдения, и, как он признавался

впоследствии, решил одну "сверхзадачу", как теперь любят писать.

"Немалую роль в моем решении, — писал ученый, — играло... то соображение, что о нас, профессорах и вообще ученых, обыкновенно думают повсюду, что мы говорим, советуем, но практически делом владеть не умеем, что и нам, как щедринским генералам, всегда нужен мужик для того, чтобы делать дело, а иначе у нас все из рук валится. Мне хотелось демонстрировать, что это мнение несправедливо в отношении естествоиспытателей, которые свою жизнь проводят в лабораториях, на экскурсиях и вообще в исследованиях природы. Мы непременно должны уметь владеть практикой, и мне казалось, что это полезно демонстрировать так, чтобы всем стала когда-нибудь известна правда вместо предрассудка".

III

Впечатления Менделеева от Америки

В мае-августе 1876 года 42-летний Менделеев предпринимает поездку на Филадельфийскую всемирную выставку для ознакомления с современной для того времени постановкой американской нефтепромышленности. Кроме того, по поручению Министерства финансов он должен был получить достоверные данные о тех законоположениях, которые существуют в Америке относительно акциза на нефтепродукты. В те годы важнейшими мировыми поставщиками нефтяной продукции были пенсильванские и бакинские месторождения нефти.

Знакомясь с впечатлениями от Америки, которые сложились у Менделеева, нельзя упускать из виду, что ученый посетил США сто лет назад. И второе, на что надо обратить внимание, что великий русский химик обращал исключительное внимание на то, что происходит в американской экономике и что он всегда с нескрываемой симпатией относился к США, как к стране, которая во многом близка его родине, России.

"Разделенные историей и расстоянием, — пишет Менделеев, — Северо-Американские Соединенные Штаты и Россия сошлись во многом, — оттуда и взаимная симпатия".

Дмитрий Иванович со своим спутником В. Гемилианом

отправились в заокеанское плавание из Гавра 11 июня 1876 года на пароходе "Лабрадор" французской трансатлантической компании. В океане ученый вел систематические измерения атмосферного давления, температуры воздуха, воды и ее солености. 21 июня пароход довольно долго шел вдоль низменной, пустынной отмели Лонг-Айленда. Причалы французской компании находились в Манхаттэне. Менделеев был "поражен невзрачным видом улиц знаменитого города (Нью-Йорка). Они не широки, вымощены булыжником и чрезвычайно плохо, хуже даже, чем на худших улицах Петербурга или Москвы. Дома кирпичные, некрашенные, неуклюжие и грязные; по самим улицам грязь. Магазины и лавки напоминают не Петербург, а уездные города России. Словом, первое впечатление въезда было не в пользу мирового города с миллионным населением".

Русский генеральный консул в Нью-Йорке, В. Бодиско посоветовал Менделееву и его спутнику сначала ехать в Вашингтон, где находятся правительственные учреждения и собраны важнейшие статистические материалы по американской нефтепромышленности.

Приведем выдержку из биографии Менделеева о впечатлениях русского ученого о тогдашнем Вашингтоне. "С самого начала Вашингтон поразил Менделеева своими громадными размерами и обширными незастроенными пустырями. Визит, нанесенный посланнику, и обещанное им содействие чрезвычайно ускорило сбор данных по нефтяному делу. На следующий день секретарь посольства сопровождал Менделеева в министерство финансов США, где Дмитрий Иванович хотел получить сведения о пошлинах на нефть.

Начальник отдела, к которому министр финансов направил Дмитрия Ивановича, поручил одному из своих подчиненных оказать необходимое содействие. И Менделеев с удивлением узнал, что его помощником будет К. Бестужев-Рюмин, имя которого было хорошо известно в России. Он был первым переводчиком на русский язык знаменитого тогда труда Г. Бокля "История цивилизации в Англии". При его содействии и помощи все необходимые материалы были собраны очень быстро... Вашингтон не переставал удивлять Менделеева все те четыре дня, которые он провел в этом городе.

Отношение к русскому ученому было в США очень благожелательно. Его снабжали рекомендательными письмами, что было тогда в большом ходу в американской деловой жизни. "Достаточно было получить письмо к какому-нибудь влиятельному лицу, и оно не только само делало все, что могло, но и давало несколько новых рекомендательных писем. Благодаря этому обычаю, познакомившись с одним-двумя нужными людьми, можно было быстро и значительно расширить область знакомств и быстро собрать все нужные сведения".

Филадельфийская выставка после европейских, по-видимому, большого впечатления на великого химика не произвела, экспозиции, посвященные нефти, ничем не были замечательны. После Филадельфии Менделеев поездом отправился в Питтсбург: "За окнами вагона потянулись пустынные, необработанные земли, выжженные беспощадной летней жарой 1876 года. За Гаррисбургом, где железная дорога проложена в долине реки Юниата, ландшафт стал веселее, потом пошли округленные, постепенно возвышающиеся холмы — Аллеганские горы". Питтсбург встретил гостей своей копотью. После осмотра нефтеперегонного завода "Алладин", спутники переехали в городок Паркер, состоящий из одной улицы, но в то время бывший центром Пенсильванской нефтепромышленности. Директор трубопроводной фирмы показал Менделееву "всю прилегающую к Паркеру нефтеносную провинцию и от него в один день Менделеев узнал больше, чем из многих других источников".

Менделееву удалось посетить Ниагару. Оттуда он выехал в Нью-Йорк, откуда отправился в обратную дорогу в Европу. В итоге поездки в Америку и сравнительного изучения состояния пенсильванской и бакинской нефтепромышленности Менделеев создал ценный труд, охватывающий нефтяное дело с научной, технической и экономической стороны. В 1887 г. он был опубликован под названием "Нефтяная промышленность в Северо-Американском штате Пенсильвания и на Кавказе". Отрывки из него были опубликованы в книге "Проблемы экономического развития России".

Заключение

По многогранности и разнообразию своей научной, общественной и технико-экономической деятельности и универсальности знаний Дмитрий Иванович напоминает универсальных деятелей эпохи Возрождения (Леонардо да Винчи, например). Гениальный русский ученый был и великий труженик. Поражает перечень проблем, над решением которых он плодотворно и успешно работал. Он оставил огромное литературное наследие, охватывающее свыше 500 опубликованных работ по различным проблемам химии, химической технологии, физики, геологии, метрологии, биологии, демографии, фабрично-заводской промышленности, экономики, аграрного производства, транспорта, Северо-Морского пути, воздухоплавания, народного просвещения и высшего образования. Основной своей специальности — химии — он посвятил треть своих работ.

К своей научной деятельности он подходил, как к одному из видов служения народу, человечеству. "Только та наука будет любезна народу и станет развиваться, где промышленное развитие пустило глубокие корни, — писал Менделеев. — Именно поэтому, как слугитель науки, ради нее самой, я пламенно желаю промышленного развития страны... Если без науки не может быть современной промышленности, то без нее не может быть современной науки, а без их совокупности все будет одним классическим бредом тупых исканий".

Авторитет Менделеева, как экономиста, стоял необычайно высоко. Многие правительственные ведомства и частные промышленные деятели обращались к нему как к эксперту при решении научных, технических и экономических задач. Высоко стоял его авторитет и в мировой науке. Пять русских университетов избрали его своим почетным членом. Кембриджский, Оксфордский и другие старейшие университеты Европы присудили ему почетные ученые степени. Он был избран членом Лондонского королевского общества, Парижской, Берлинской, Бельгийской, Римской и др. академий, а также почетным членом ряда научных обществ России, Западной Европы и Америки. Им было получено свыше 130 почетных званий и дипломов. А вот русским академиком, к стыду для истории Российской Академии,

он не стал — забаллотировали (голосами нерусских по происхождению академиков).

В 1949 г. имя русского ученого было присвоено гигантскому подводному хребту в Северном Ледовитом океане. В честь ученого назван действующий вулкан на острове Кунашир (Курильские острова), кратер на Луне, сложный минерал менделеевит. В его честь американские химики назвали искусственно полученный трансурановый элемент No 101 (менделевий). Имя Менделеева появилось на административной карте СССР: Менделеево (поселок гор. типа в Московской области); Менделеевск (город в Елабужском р-не Татарской АССР); Менделеевский (поселок гор. типа в Тульской области). В Ленинграде имеется Менделеевская ул. (Калинин. р-н) и Менделеевская линия (Василеостров. р-н)

Его именем назван ряд вузов страны. Один раз в четыре-пять лет в его честь созываются Менделеевские съезды по химии. Имя Менделеева было присвоено химическому обществу, объединяющему в настоящее время полмиллиона советских химиков.

В мае 1984 г. проходил юбилейный Менделеевский съезд по общей и прикладной химии с участием иностранных гостей, а ранее, 8-го февраля, в Москве в Большом театре состоялось торжественное заседание, посвященное 150-летию со дня рождения Д.И. Менделеева. В президиуме восседали руководящие работники научных учреждений, партии и правительства. В этот же день была выпущена в обращение памятная монета достоинством в 1 рубль с рельефным изображением Д.И. Менделеева и датами его рождения и смерти.

Сейчас в СССР чествуют выдающегося сына русского народа, гениального русского и мирового ученого, Дмитрия Ивановича Менделеева. Но далеко не таково было к нему отношение еще не так давно. В первый год революции его усадьба Боблово была опустошена, разграблена, сожжена. Местные жители не могут указать, где стоял дом, построенный по собственным чертежам ученого, где почти сорок лет прожил летними месяцами Дмитрий Иванович. Здесь он, как напоминает академик Д.С. Лихачев, "создал многие свои труды, работал над периодической системой, в окрестных полях проводил сельскохозяй-

ственные опыты, в устроенной им лаборатории — эксперименты, организовывал школы, трудился над провидческой книгой — “К познанию России”.

“Грустно напоминать, — пишет далее академик, — что места, освященные бытием национального гения, заброшены, запущены. Такое беспамятство по отношению к прошлому ведет к опасному нравственному оскудению. Думается, всем нам, и Академии наук СССР в том числе, будет стыдно смотреть в глаза гостям, которые съедутся в 1984 году в нашу страну со всего мира на празднование 150-летия со дня рождения великого представителя мировой науки. *Ведь должны же быть у народа святыни!*” (подчеркнуто нами).

Однако, до сих пор остаются безрезультатными все ходатайства о восстановлении Боблова. В голодные годы революции дочери ученого Любви Дмитриевне, жене поэта А. Блока, приходилось, чтобы как-то пропитаться и не мерзнуть, “продавать и рубить на дрова мебель и глядеть в одну из новогодних ночей, как исчезает в огне сломанная конторка, на которой Менделеев создавал свою Периодическую систему”.

Деятельность Д.И. Менделеева, как экономиста и патриота своего отечества, долгие годы замалчивалась. А многие его высказывания в области промышленно-экономического развития России опережали свое время и не потеряли значения и поныне. Его мировоззренческие и общественно-политические взгляды часто извращались, его даже представляли как “уральского фабриканта, идеолога крупного капитала”.

Менделеев как бы предугадывал, что его личность будут извращенно толковать. Он в свое время четко и твердо определил свое общественное кредо: “Я не был и не буду ни фабрикантом, ни заводчиком, ни торговцем, но я знаю, что без них, без придания им важного и существенного значения, нельзя думать о прочном развитии благосостояния России”.

А. Иванов

УКРОЩЕННЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ (А. Ф. ЛОСЕВ)

Как льва, царя зверей, в неволе укрощают и заставляют в цирке вести себя неестественным для него образом, так и коммунистический режим "укротил" А. Ф. Лосева, *крупнейшего* современного философа и филолога, принудив его отказаться от дорогих его сердцу тем и проблем и направить свою творческую энергию в русло если и не материалистических, то все-таки чисто имманентных языковедческих изысканий.

Эта мысль-сравнение пришла мне в голову при чтении недавно изданной книги Лосева "Знак, символ, миф" (М., 1982). Это — сборник статей маститого ученого на тему феноменологии языка как такового. В книге читатель не найдет *ни одной* ссылки на труд того же автора "Философия имени" (Москва, 1927), ни на иные его труды, изданные до 1930 г. и сразу поставившие его в ряды лучших философов идеалистического направления. Зато в ней часто встречаются ссылки на таких "корифеев языковедения", как Ленин и Маркс. Ссылки эти, однако, выглядят как приклеенные ярлычки-взятки пощадившему Лосева режиму и на ценность основного текста никак не влияют. Отмечаю это не в качестве упрека, а лишь в порядке грустной констатации.

Хотя в официальной биографии А. Ф. Лосева, известной за рубежом, еще имеются пробелы, тем не менее, мы знаем теперь о его жизни много больше, чем раньше. В 40-е годы историк русской философии, прот. В. Зеньковский писал, что о А. Ф. Лосеве "не имеется, собственно, никаких сведений — ни

того, у кого он учился, ни того, где он ныне, жив ли он”.

Чтобы облегчить работу будущим ”лосоведам”, приведем ниже, в хронологическом порядке, сведения о нем, которые нам удалось собрать.

В 1969 году в ”Литературной Газете” (25.6.69) была напечатана статья Н. Михайлова ”Акме”. Вот ее текст во всей растяжимости, так как она дает некоторые сведения о жизни философа.

”Хорошо известно в среде ученых — филологов, искусствоведов, философов — имя профессора Алексея Федоровича Лосева. Ученый старой школы, *нелегкими путями пришедший к марксизму* (курсив мой — *и. Г.*), один из ”последних могикан”, сочетающий в себе классическую ученость XIX века и новейшие достижения философской мысли XX столетия, автор десятков фундаментальных трудов, А. Ф. Лосев — замечательный деятель науки. Его неустанный труд и энтузиазм примечательны не менее, чем его книги.

Профессору А.Ф. Лосеву семьдесят пять лет. Но годы не властны над его творчеством. Оно в той поре, которую древние называли: Акме — расцвет.

Недавно на моем письменном столе появились три книги: объемистая ”История античной эстетики”, ”Введение в общую теорию языковых моделей”, где общедоступным языком излагаются тонкости современной структуралистической лингвистики, ”Проблема Рихарда Вагнера в прошлом и настоящем”, анализирующая одно из сложнейших творений мировой музыкальной драматургии — тетралогия ”Кольцо Нибелунгов”. Философия, лингвистика, музыковедение — области достаточно далекие. Эпоха энциклопедистов миновала. Но у этих книг, столь несходных по содержанию, есть удивительное свойство, их объединяющее, — единственный и в своем роде уникальный автор — многогранный филолог и философ Алексей Федорович Лосев.

Рассказ об ученом — это рассказ о его творчестве прежде всего. Материал, редко вызывающий сенсационный интерес, потому что жизнь теоретика, оперирующего логическими категориями и сконденсированными в книгах идеями и знаниями поколений,



обычно бедна эффектными событиями. В ней нет борьбы со снежными обвалами (правда, есть борьба с лавинами фактов), нет стремительного плавания по порожистым рекам (но есть не менее трудное движение к истине), нет кровопролитных схваток с врагами (хотя есть, пусть и бескровная, война идей)... Короче, стихи буйствуют, разбиваясь о пороги кабинетов и, усмиренные ученым, покорно выстраиваются в "строчечном фронте" его сочинений.

Алексею Федоровичу сейчас семьдесят пять лет. В далекой юности ему приходилось немало плавать, даже по бурным рекам, бродить пешком по Руси и взбираться на горные вершины, но главным в жизни всегда оставались драматические поиски научной истины и еще — каждодневная, совсем не метафорическая борьба с недугом, с юных лет неумолимо подкрадывающейся потерей зрения. И думая об этом, я каждый раз каменею в удивлении: тысячи прочитанных книг — самых древних, греческих и латинских, и новейших — на многих языках мира, тысячи страниц собственных научных сочинений. Какая духовная мощь, невероятные трудоспособность и одержимость заключены в этом высоком, немного тучноватом человеке в неизменной академической шапочке, в старомодных узких очках, за толстенными стеклами которых живут своей тайной жизнью погруженные во внутреннее созерцание гомеровские глаза. Но удивление и восхищение проходят (такова уж их участь) и за разговорами о новой книге, за темпераментным изложением новых, хотя и не всегда бесспорных концепций, забываешь о недугах этого уже далеко не молодого человека, которому иной раз и заснуть-то удается на часок-другой в сутки.

В последние годы Алексей Федорович много писал для "Философской Энциклопедии". Собранные вместе статьи из нее, написанные с позиции воинствующего марксизма, составляют целую книгу. Одна из них, о диалектической логике, получившая первую премию на закрытом конкурсе "Философской Энциклопедии", написана так живо и с таким юным задором, что, как рассказывают, один из почтенных членов жюри решил даже, что ее автор молодой человек. Лосев — марксист. Написал это — и тут же вспомнил полувопрос-полуутверждение знакомого: "Лосев — этот самый, известный в свое время идеалист?". Да, "в свое время".

Не очень верный ученик абстрактного метафизика Г. Челпанова и спиритуалиста Лопатина, гегельянец, поклонник феноменологиста Гуссерля и неоплатоников с их тончайшими логическими конструкциями и расчлененностью понятий. Было бы нелепым скрывать идеалистическое прошлое Лосева, о котором он сам говорит объективно и беспощадно.

В Философской и Литературной Энциклопедиях, как положено в подобных изданиях, о сложном пути Лосева к марксизму сказано в двух строчках, а в жизни его это был большой и мучительный период. Конечно, хорошо, когда у человека "ясный и прямой путь" к марксизму приходит со школьной скамьи, но и *выстраданный марксизм дорого стоит* (именно, именно — *и. Г.*).

По вполне понятным причинам буржуазные историки философии *на Западе ценят А.Ф. Лосева не за его материалистические воззрения и не за переход к марксизму* (золотые слова! — *и. Г.*), а раздувают значение его первых, незрелых (*sic!*) идеалистических работ и элегически называют "*последним русским философом*". К такого рода "мировому признанию" Алексей Федорович относится брезгливо и... по-философски (свежо предание, но ...не верится — *и. Г.*).

Есть на свете наука, которая хотя и не находится на "переднем крае", но и никогда не умирает, служа человечеству и человечности, а общее число трудов в этой области может поспорить с любой библиотекой на самую актуальную тему. Это — классическая филология. Ей маститый ученый остается верен всегда. Почему к этой науке всегда бескорыстно и подвижнически тянулось и тянется столько молодых умов и талантов? Должно быть, у древних греков прежде всего учатся раскованности духа, умению взглянуть на мир, какой он есть, глазами заинтересованного современника, учатся целостному оптимистическому мировосприятию, пусть нередко наивному, но смелому, постановке субстанциальных вопросов бытия, первому (а поэтому и самому проникновенному) приближению к истине. В этом, по-моему, колдовская сила старой науки, в век космоса и кибернетики приковавшей к себе и умудренного опытом профессора, и молодого ученого, получившего не так давно за работу о Плутархе премию Ленинского комсомола (С. Аверинцев).

В этот старинный приземистый дом на Арбате, что против театра Вахтангова, один из немногих в центре Москвы, уцелевших от знаменитого пожара Восемьсот Двенадцатого года, знают путь многие — ученики и коллеги. Среди книжных шкафов... Нет, здесь надо остановиться. Алексей Федорович — обладатель уникальной библиотеки, которую он собирает с юных лет: античные тексты, книги по филологии, философии, искусству, редчайшие словари и энциклопедии. Более десяти тысяч книг, представляющих, без преувеличения, культурное достояние национального уровня.

В истории этого книжного собрания были трагические страницы. Дом, где раньше жила семья Лосевых, стал жертвой одной из первых бомбежек Сорок Первого года. Погибли родные Алексея Федоровича. Фашистский фугас разметал большую часть библиотеки. Чудом уцелели рукописи ученого, найденные на дне воронки, где таким же чудесным образом оказался невредимым беломраморный бюст нежной Сапфо, древнегреческой поэтессы, удивленно и мудро взиравшей на мир среди дымившегося щебня и пепла. В этом было нечто символическое — неистребимость прекрасного, сопротивление человеческих творений нашествию варварства и цинизма. Сейчас библиотека стала еще богаче, а мраморная Сапфо так же мудро и влюбленно смотрит на белый свет с самого прекрасного пьедестала — с верхушки книжного шкафа.

В большом кабинете, в котором тесно от книг, редких копий и слепков с античных барельефов и статуй, нередко за полночь затягиваются споры, беседы на самые животрепещущие темы. И опять удивление — ну когда этот неутомимый человек успевает все прочесть, освоить, продумать, ибо нет книги, журнала, статьи, имени, которых бы он не знал. В этих разговорах нет мэтра, изрекающего истины, и нет робких учеников, смотрящих ему в рот. Умение выслушать чужую точку зрения, понять ее — одно из очень важных достоинств ученого. Но понять не значит принять. Не может ни понять, ни принять он бесплодного критиканства, индивидуалистического нигилизма, "зряшного" отрицания. Особенно резко и бескомпромиссно отзывается Лосев о современных буржуазных эстетиках, неопозитивистах и семантиках.

...Акме. Этим коротким словом древние греки называли период наивысшего подъема жизненных и творческих сил человека. Когда наступает расцвет, акме? В тридцать, сорок, шестьдесят лет? Наверное, в годы, когда человек больше всего создает для других людей, и живая энергия его мозга и души густой живописью зрелой мысли ложится на холст благодарной памяти людей. А так может быть и в двадцать, и в семьдесят пять.

Где секрет научной плодовитости? Конечно же, в "искре Божьей", прежде всего, но есть и другое, без чего даже самый яркий талант не может состояться, — самодисциплина, система, железный порядок. В доме Лосева все подчинено труду. С началом рабочего дня отключаются все телефоны, связь с внешним миром почти прерывается. И если телефон забыли невзначай выключить и на случайный звонок подойдет кто-нибудь из домашних, то вы рискуете услышать вежливое, но твердое: "Позвоните, пожалуйста, вечером. Профессор Лосев работает....".

Н. Михайлов

* * *

В силу действия психологического закона *ассоциации по контрасту*, вспоминается иная статья о Лосеве, напечатанная за 39 лет до статьи Н. Михайлова. Я имею в виду текст доклада Х. Гарбера, прочитанного в Институте Философии Коммунистической Академии 21 мая 1930 г. и напечатанный в "Вестнике Ком. Академии" (кн. 37-38). С этой статьи и началась официальная травля философа, приведшая к тому, что в "библиографической биографии" его имеется "черная дыра": это годы 1931-1952. Но об этом позднее. — Доклад Гарбера был озаглавлен "Против воинствующего мистицизма А.Ф. Лосева". Автор доклада был хорошо знаком с творчеством Лосева. Об этом говорят многочисленные цитаты и библиографические справки. Работа эта (двадцать страниц весьма убористого шрифта) написана очень странно: ее можно сравнить с негативом фотографии: то, что с *нашей* точки зрения светло (положительно), на негативе Гарбера темно, и наоборот. сосре-

доточив свое внимание на критикуемых Гарбером цитатах-текстах, можно воссоздать довольно стройную картину лосевского мировоззрения. Ну, а комментарии Гарбера имеют такую же цену, как нынешнее заявление главы советского Олимпийского комитета, что решение бойкотировать Олимпийские игры в 1984 г. в Лос-Анджелесе было волеизъявлением советских спортсменов и *не зависело* от советского правительства!

Свою атаку на Лосева Гарбер повел со следующих позиций.

”Итак, — писал он, — мы не будем идти по стопам всех его (Лосева — *и. Г.*) античных и других изысканий, а попытаемся выявить собственный идейный облик Лосева. Задача эта далеко нелегкая, и вот почему. До сих пор Лосев, несмотря на свою многоречивость, не написал ни одного произведения, в котором дал бы в систематической и последовательной форме изложение своей философии. Это не значит, что судить о его философии невозможно; напротив, во всех его сочинениях разбросано много страниц, в частности, в примечаниях, из коих совершенно определенно явствует суть его мировоззрения. При этом, однако, следует иметь в виду, что нас ждут некоторые трудности при анализе лосевских воззрений. Дело в том, что Лосев высказывает свои мысли далеко не всегда в ясной форме. Часто он пишет эзоповским языком, нередко — иронически. Бывает и так, что Лосев говорит не сам, а устами Платона, и нужно разобратся, где кончает один и где начинается другой” (стр. 124-125).

А как же могло быть иначе, спросим мы, в условиях абсолютной несвободы мысли, господствующей в СССР? Вот и приходилось и приходится писать эзоповским языком, при наличии которого недоброжелательный критик всегда может вставить “платоновское лыко в лосеву строку” — что именно Гарбер и сделал.

Не имея возможности привести весь текст его статьи, отметим, что он рассмотрел учение Лосева под тремя углами зрения: 1) учения о диалектике, 2) учения о космологии и 3) учения об общественном идеале, и пришел к выводу, что Лосев является *философом православия, апологетом крепостничества и защитником полицейщины.*

В статье Д. Скалона, написанной по поводу девяностолетия А. Ф. Лосева ("Новый Журнал", 150, 1983 г.) отмечено, что на ХУ съезде коммунистической партии "Лосев был подвергнут Кагановичем (по наущению Деборина) критике: "Мы всё еще почему-то терпим таких воинствующих идеалистов, как Лосев", в результате чего Лосева упрятали в лагерь, хотя всего лишь на 10 месяцев".

О том, сколько времени ученый просидел в лагере, ходят разные слухи. Так, например, Кент Хилл, профессор Штатного Университета Охайо, побывавший в Москве и посетивший А. Ф. Лосева, в одном из писем к своему коллеге Джеймсу Скэнлану из того же университета, упоминает, что он в свое время разговаривал с советским музыковедом Г. Б. Бернардом, и что тот ему рассказал о ходящих в Москве слухах, что Лосев, якобы, был арестован в 1930 г. и пробыл в заключении около 10 лет. Сам Лосев отрицает это.

Так или иначе, в жизни Лосева были длительные периоды, когда его совсем не печатали. А когда печатали, то не только ограничена была "властью предрежащей" его тематика, но и форма. О том, как философа "направляли на марксистские пути" даже в чисто формальном аспекте, свидетельствует его возмущенный крик из-под цензорских глыб, раздавшийся по поводу искажения его статьи "Критика платонизма у Аристотеля" в сборнике "Из истории эстетической мысли древности и средневековья" (М., 1961): "Однако, ввиду слишком усердного и *немотивированного* (выделено нами — *и. Г.*) редактирования этой статьи в издательстве, и притом ввиду недостаточного согласования разнообразных изменений и сокращений текста с его автором, многие части этой статьи оказались искаженными и не соответствующими ни воззрениям автора, ни современному уровню науки о Платоне" (авторская справка относительно первой редакции вышеупомянутой статьи — *и. Г.*).

Чтож, *такая* цензурская этика естественна для марксистов.

Упомянутый выше проф. Кент Хилл взял у А. Ф. Лосева интервью, когда последнему исполнилось 85 лет. Он намеревался впоследствии навестить Лосева второй раз, чтобы выяснить некоторые подробности, но второго интервью уже не получил!

Разрешим себе "про публико боно" извлечь из письма К. Хилла некоторые биографические сведения в восполнение данных, опубликованных Д. Скалоном в "Новом Журнале".

А. Ф. Лосев был женат дважды. Первая его жена, Валентина Михайловна Соколова умерла в 1949 году. Брак их состоялся в 1922 году. По профессии она была астрономом. Вторым браком он женат на Азе Алибековне Тахо-Годи, профессоре по кафедре древних языков в МГУ. Она же исполняет роль секретарши потерявшего зрение профессора Лосева. (Ее отец, партийный деятель в Дагестане был расстрелян в 1937 г; ее дядя — Л. Семенов — известный кавказовед). А вот скупые данные о педагогической деятельности Лосева.

В 1921-1931 гг. — преподавал историю эстетики в Московской консерватории; в 1924-1927 гг. — преподавал иностранную литературу и греческий язык во втором Московском Университете; в 1931 г. — был заведующим эстетическим сектором Государственной Академии Художественных Искусств. В "период молчания" 1931-1941 — преподавал в Московском Областном Педагогическом Институте и, якобы, часто выезжал в другие города по приглашению читать там лекции (может быть, высылался?); с 1942 года — постоянный профессор Московского Государственного Педагогического Института им. Ленина (в последние годы принимал студентов и аспирантов этого Института у себя на дому), преподавал греческий и латынь.

Согласно Лосеву, гуманитарные науки — философия, лингвистика, история, литература сначала в советских университетах не преподавались. Кафедры этих дисциплин перенесены были в педагогические институты и преподавались там на элементарном уровне. Исключением были институты Философии и Литературы в Москве, и в Ленинграде — с 1934 года, но и они были закрыты в 1941 году, а соответствующие кафедры перенесены уже в университеты. Об идеализме стало возможным писать лишь после 1957 года. К началу Второй мировой войны у А. Ф. Лосева собралось много подготовленных к печати материалов, но ни во время войны, ни в первые послевоенные годы из-за недостатка бумаги не всякого рода книги издавались.

Некоторые рукописи Лосева были утеряны. Так, например, в 1930 году в его квартиру кто-то вломился и украл часть рукописей; в 1941 году во время бомбежки была уничтожена его квартира, а с ней и часть рукописей.

Библиография книг и статей А. Ф. Лосева, изданных в разное время в СССР, выражается ныне числом более чем полутысячи позиций. В зарубежье соответствующие позиции можно пересчитать по пальцам. Краткие упоминания о Лосеве имеются в историях русской философии прот. В. Зеньковского и Н. О. Лосского. В "Русской Мысли" были помещены две краткие статьи игумена Геннадия; его же перу принадлежит статья "Безыпотесный принцип Платона и Архиабсолют Гознэ-Вронского", напечатанная в "Зарубежье" (NN 43-44), при составлении которой он пользовался трудами Лосева. И наконец, совсем недавно, в "Новом Журнале" была напечатана статья Д. Скалона, посвященная А. Ф. Лосеву. О ней мы упомянули выше. В этой, наиболее обширной доселе статье, автор высказано предположение, что у Лосева, "есть своя глубоко разработанная софиологическая система, кое в чем близкая, а кое в чем различающаяся от системы о. Сергия Булгакова". Автор в двух или трех местах цитирует Лосева в связи с этой темой. Будущее покажет, был ли такой труд закончен и сохранился ли он в военных и "режимных" перепитиях. Но "софиологический материал", даже и не будучи так названным, имеется в различных доступных нам трудах философа, главным образом, в его исследованиях философии Платона и Плотина.

ШЕСТЬ ТЕЗИСОВ ПЛАТОНА ОТНОСИТЕЛЬНО АБСОЛЮТНОГО БЫТИЯ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ А. Ф. ЛОСЕВА.

В 1969 г. в Москве был издан большой и ценный труд А. Ф. Лосева "История Античной Эстетики". Большая часть этого

исследования посвящена философии Платона. Лосев задался целью провести тщательный анализ всех текстов в подлиннике и в результате этого кропотливого труда ему удалось создать новый портрет великого греческого мыслителя, свободный от неточных, а иногда и просто ложных исторических ассоциаций, накопившихся в течение более чем двухтысячелетнего периода. Труд Лосева — это бесценный вклад в область платоноведения. Приведем, в сокращении, шесть тезисов Лосева, представляющих собой резюме учения Платона о бытии и снабдим их кратким комментарием.

"Первый тезис касается вопроса о тождестве идеи и бытия. *Идея* такова, что она *обязательно свидетельствует о бытии* и даже сливается с ним в нераздельное целое, а *бытие* таково, что оно *обязательно свидетельствует о своей идее* и тоже сливается с нею в нераздельное целое. И это не просто пустое и мертвое слияние. Ведь всякая идея является *ипотесой*, то есть излучает из себя свет осмысления соответствующего бытия, а бытие становится, вечно меняется, а потому и в своей идее оно заявляет о себе, как о творческом начале.

Другими словами, идея оказывается творческим символом бытия, а бытие — творческим символом идеи. И это не аллегорично, но вполне субстанциально. Итак, платоновская эстетика является, во-первых, учением о субстанциальном *символизме идеи и бытия*, равно как, во-вторых, учением о *символизме идеи и становящегося бытия*. Все идеальное свидетельствует здесь о материальном и все материальное — об идеальном. Всякая идея ипотесно изливает свое осмысление на вещи, а каждая, даже самая незначительная вещь и по своему бытию и по своему смыслу являет в себе ответ вечной идеи."

"Второй тезис касается отношения идеи-бытия или бытия-идеи к беспредпосылочному началу. Идея отражает не только бытие, и бытие отражает не только идею; но оба они отражают собою надыдейную и надбытийную область, а именно — область безыпотесного принципа. И это опять-таки не только отражение, но вполне субстанциальная зависимость. Безыпотесный принцип не только отражается в идее и в бытии, не только отражается в становлении. Он еще и *порождает* как

идею, так и бытие вместе со всем его становлением...[Но так как безыпотесный принцип] выше бытия и выше сущности, то наш второй тезис гласит: все идеальное и все материальное есть субстанциальный символ надидеального и надматериального, то есть невыразимого и непознаваемого”

”Третий тезис: вся действительность представляет собою *иерархично-символическую структуру*, начиная от первопринципа, который выше всего, переходя через мир идей в раздельное царство смысла, и кончая вещественным становлением, в котором космос является наивысшим произведением искусства, а внутрикосмические вещи оформлены и упорядочены в разной степени, вплоть до всеобщего разъединения и раздора...

Хотя идея для Платона и полна всякого смысла, так что даже материя является ее бледным отражением, тем не менее она для него слишком абстрактна, слишком разумна и рассудочна, слишком далека от реальной действительности. Но реальная действительность для Платона тоже слишком абстрактна, если ее брать как сплошную текучесть и непрерывную изменчивость. В этом случае и мы также не очень довольны материальной действительностью. потому что в своей сплошной и нераздельной текучести она является предметом восприятия, может быть, только для низших животных. Человек же воспринимает материальную текучесть не просто как текучесть, но и как совокупность вещей, пусть неустойчивых, пусть возникающих и погибающих, но всегда так или иначе оформленных, так или иначе раздельных и хотя бы в каком-нибудь отношении нетекучих. Поэтому для Платона как идеальное, так и материальное, взятые в чистом виде, суть абстракции, выходом из которых может быть только нахождение такой ценности, которая перекрывает бы собой всякую абстрактную природу как идеального, так и материального. Вот тут-то и понадобился Платону термин “благо”.

Это “благо” для Платона есть просто *абсолютная целостность всего существующего*, откуда проистекают, уже в виде абстракции, отдельные его стороны, идеальная и чувственно-материальная”.

Четвертый тезис: Первопринцип, определенный в третьем

тезисе в качестве блага, является основой красоты.

Пятый тезис: природа красоты заключается в свете — (здесь следуют объяснения природы самого света и того, что воспринимает свет).

Шестой тезис: отдельный образ красоты есть *мысленно-световой эйдос*.

Лосев оттеняет философскую сторону этого понятия и определяет его как *умственно-наглядный образ в уме*, как интуитивную картину процесса мышления и результатов этого процесса. "Эйдос не есть просто идея, не есть просто смысл вещи. Это есть такой смысл, который вобрал в себя и все становление вещи, став пределом этого становления, и всю свою связанность с безыпотесным принципом, с вездесущим и всемогущим беспредпосылочным началом. Тем самым эйдос есть наглядное и смысловое изображение вещи и отражение вообще всего существующего, всей действительности, но отражение каждый раз специфическое, потому что беспредпосылочное начало есть во всем и каждая идея, отражая его, отражает в себе и всю действительность, каждый раз специфически. Вот это-то и есть эйдос. Индивидуальный, специфический образ красоты есть именно этот насыщенный эйдос, в котором предельно слились и смысл вещи, и ее чувственно-материальное становление, и универсальность беспредпосылочного начала" (стр.634-642).

Именно такой эйдос имеет в виду Платон, когда говорит, что ум "имеет дело с видами, через виды, для видов и оканчивается на видах". В этом можно узреть аналогию аристотелевским причинам: материальной, формальной, действующей и целевой. Эйдос, будучи укорененным в безыпотесном принципе и представляя собой цель всего (предел, "телос"), определяется Лосевым следующим образом:

"Индивидуальный образ красоты, или эйдос, есть смысловой предел чувственно-материального становления вещи, вобравший в себя все это становление и потому являющийся его смысловым рисунком, или структурой, воплотившей в себе безыпотесный принцип, то есть универсальную целостность всего космоса путем его специфического преломления в виде мысленно-светового символа (стр. 643). Платон первый *противопоста-*

вил идеи и вещи. В X-й книге "Государства" он пишет, что вещи появляются "в подражание" идеям, что идею не может создать никакой ремесленник или художник, но "исключительно лишь Бог" (597-д). Платон не дает там ни философской, ни мифологической концепции "Бога". "Ясно только одно, — отмечает Лосев, — что идея трактуется здесь не только субъективно-человечески и не только объективно-реально, но что она едина и неповторима, что она существует вечно и что она выше всего существующего"

"В связи с этим отпадает одно из самых тяжелых обвинений, которое очень часто выдвигалось против Платона. А именно, Платона всегда обвиняли в отрыве идей от вещей и приписывали ему метафизический дуализм, который, однако, *очень трудно обнаружить* в сохранившихся текстах Платона. Такой дуализм имеет чисто кантовский характер и вообще едва ли мыслим на античной почве.

Здесь многих сбивает с толку критика платоновских идей у Аристотеля, который сам бессознательно пользовался тончайшими диалектическими методами, но тем не менее принципиально не мог находить во взаимоотношении идей и вещей, по Платону, единство противоположностей. Как известно, Аристотель выдвигает закон противоречия (мы бы сказали, скорее, закон непротиворечия) в качестве основы всякого философского рассуждения. Вот этот закон противоречия и помешал ему находить в диалектике Платона учение об единстве противоположностей, а в применении к вопросу об идеях и вещах это привело к приписыванию Платону полного разрыва того и другого. Эта формально-логическая метафизика, фактически чуждая самой философии Аристотеля, так с тех пор и приписывается Платону вопреки всему тому, о чем гласят тексты Платона. Обыкновенно думают, что в этой дуалистической метафизике и заключается сущность платонизма. Но это не платонизм, а кантовский трансцендентализм. А если угодно формулировать идеализм Платона, то он заключается вовсе не в разрыве идей и вещей, но в том, что *идеи*, находясь во всестороннем взаимоотношении с вещами, *обладают первичностью в сравнении с ними.* Идеи и вещи у Платона неразрывно связаны между собою так же, как и у Аристотеля.

Но идеи первичны, а вещи вторичны — не по времени и не по месту, а *по самому своему существованию*. В предыдущем мы привели уже достаточно текстов Платона, опровергающих неправильно приписанный ему дуализм. Но, если угодно услышать из уст самого Платона критику дуализма, нужно читать "Парменида" (129a-137b), где приводятся почти же самые аргументы против дуализма, которые в дальнейшем приводил Аристотель. И если кому в древности и можно было приписать такой дуализм, то, может быть, только Мегарской школе, которая, исходя из философии Сократа, возможно, увлеклась одной ее стороной и стала гипостазировать отрешенные идеи".

Из приведенных цитат видно, что Платон отдавал себе отчет в гетерогенности двух элементов реальности, идеи и вещи, по аналогии с элементом-знанием и элементом-бытием у Вронского. Проследим теперь, каким образом могли сочетаться эти два гетерогенных элемента в лоне безыпотесного принципа, составляющего как бы аналог элемента нейтрального-основного. Платон полагал, что "все находится во всем", т. е. что во вселенной действует закон "панимманенции" или "все-во-всечности", если можно так выразиться в нашу эпоху "словарного взрыва".

"Всякая вечная идея, по Платону, отражает в себе цельность бытия (мы бы попросту сказали, космос) и отражает его специфично, отличается этой своей спецификой от всякой другой идеи. Для нас это не вполне понятно, хотя и мы учим о всеобщей связи явлений. Мы могли бы сказать, что, например, каждая логическая категория, если ее начать продумывать до конца, содержит в себе и другую, и третью, и, в конце концов, вообще любую категорию. Можно начать с "бытия", можно начать с "понятия", можно начать с "вещи". Всякая такая категория при последовательном ее продумывании всегда обнаруживает, что в ней копошатся и все другие категории человеческого мышления. С этим не только можно согласиться, но и необходимо согласиться. Тем не менее наличие в данной категории всех прочих категорий мы понимаем скорее потенциально, чем актуально. Да и для самого Платона такая категория, которая содержала бы в себе все прочие категории в актуальном виде, есть, попросту говоря, тот или иной "бог". Приписывать такое

божественное знание человеку едва ли целесообразно. А у Платона получается так, что решительно все на свете содержит в себе в актуальном виде всю цельность бытия”.

Это живо напоминает нам монадологию Лейбница или же учение Н. О. Лосского о субстанциальных деятелях и общей им всем идеальной стороне их бытия. Соответственные аналогии станут еще более явственными, если мы учтем, что Платон приписывал ”эйдосу, или идее, разного рода бесконечную значимость, как, например, вечность, вездесущее”. Хотелось бы задним числом приписать Платону различие между Эйдосом по преимуществу, всецело и абсолютным образом отражающим в себе все, и эйдосами, которые отражают все только *соразмерно* себе, наподобие того, как это имеет место между *взаимопротяжением*, скажем, отдельной песчинки и всего космоса. Но это, по всей вероятности, было бы и терминологическим и концептуальным анахронизмом. Зачатки этого, однако, мы уже находим и у Платона.

Для того, чтобы пояснить характер беспредпосылочного начала, Лосев делает это на примере понятия бесконечности: ”Возьмем отрезок прямой. Сколько в нем содержится точек? Бесконечность. Построим на этом отрезке геометрическую фигуру квадрата. Сколько точек будет содержать плоскость, ограниченная сторонами этого квадрата? Бесконечность. Построим на нашем квадрате геометрическое тело куба. Сколько точек будет содержать пространство, ограниченное сторонами этого куба? Бесконечность. Мы получим, таким образом, три бесконечности. Отличаются ли они между собою чем-нибудь количественно? Они ничем между собою не отличаются. Количественно — это одна и та же бесконечность. Но почему же в таком случае одна и та же бесконечность точек дала три такие совершенно разные геометрические построения? Совершенно ясно, что дело заключается здесь не в количестве, а в структуре. Эти три бесконечности по-разному построены, по-разному сконструированы”.

Платон многократно повторяет, что беспредпосылочное начало ”выше сущности” и ”по ту сторону сущности”, однако, это еще не есть иррационализм, ибо ”неизмеримо большее количество текстов говорит о том, что это беспредпосылочное

начало выражается в идеях уже вполне отдельных, и во всех вещах, тоже вполне отдельных. Таким образом, платоновское беспредпосылочное начало не есть характеристика всего бытия, но характеристика только его центрального пункта”.

Лосев продолжает: ”Подойдем, однако, к этому предмету математически. Для математика иррациональность не представляет ничего особенно таинственного или загадочного, или, лучше сказать, в иррациональном числе нет ничего такого, что было бы более загадочно, чем самое обыкновенное рациональное или даже целое число. Возьмем какую-нибудь функцию и разложим ее в бесконечный ряд. Этот ряд будет строиться по тому методу и закону, который в скрытом виде содержится уже в самой функции. Никакой член бесконечного ряда не будет выражать нашу функцию целиком и точно, а только приблизительно. Функция будет содержаться в каждом числе бесконечного ряда, потому что она его определяет, но будет содержаться в нем приближенно. Какой бы член нашего бесконечного ряда мы ни взяли, разлагаемая нами функция будет *вне* этого члена, *по ту сторону* этого члена. И только все бесконечность членов этого ряда, взятая как одно и нераздельное целое, и будет равна нашей функции. Но Платон ничего другого и не говорит о своем беспредпосылочном начале в его отношении к отдельным идеям и вещам. У него точно так же каждая идея и каждая вещь не выражает беспредпосылочного начала целиком, а выражает только приближенно. У него точно так же этих отдельных идей и этих отдельных вещей — бесконечное количество. У него точно так же только вся бесконечность идей и вещей, взятая как единое целое, равняется беспредпосылочному началу, которое — вне всяких отдельных идей и вещей, хотя и является законом их порождения, и которое если и выражается самостоятельно, то в таком виде, который не сводим ни к какой идее или вещи и не выразим никакой их конечной суммой”.

Иррациональность — это не неразумность, не анти-рациональность; она *есть особый вид мерности, измеримости ...* ”Да, наконец, иррациональность можно видеть просто даже физическими глазами. Возьмите квадрат, каждая сторона которого равняется единице. Тогда, по известной теореме, диагональ квадрата будет равняться квадратному корню из двух. Видим ли

мы эту диагональ или не видим? Прекрасно видим. А она ведь есть иррациональность в сравнении со стороной квадрата”.

”Для характеристики беспредпосылочного начала, если уж пользоваться обывательскими терминами, лучше говорить не об иррациональности, которая в научной философии и математике имеет совершенно точный смысл, но о *нуле*, или, лучше сказать, об абсолютном нуле. Впрочем, и здесь не обойтись без математической точности, потому что обывательское понимание термина оказалось бы бессмысленным. Нуль вовсе не есть ничто, но граница между положительными и отрицательными числами. Однако, из диалектики известно, что всякая граница относится к ограничиваемому (иначе круг не имел бы окружности) и к ограниченному (ибо иначе нельзя было бы чертить его на бумаге); а вернее, она относится и к тому и к другому одновременно и в одном и том же смысле. Поэтому в нуле встречается положительный и отрицательный ряд чисел, или, вернее сказать, он есть единство противоположностей положительного и отрицательного. Нуль не есть просто ничто, но именно синтез положительного и отрицательного. Платон не пользуется этим термином в своей характеристике беспредпосылочного начала.

Поскольку, однако, идеальное есть отрицание материального и материальное есть отрицание идеального, а в беспредпосылочном начале идеальное и материальное сходятся, и оно есть единство противоположностей, то будет не худо, если мы охарактеризуем беспредпосылочное начало Платона, как нуль... Беспредпосылочное начало Платона не есть иррациональное в буквальном смысле слова, как не есть и только рациональное, но оно есть синтез и того и другого, то единство противоположностей рационального и иррационального, которое само уже не только рационально и не только иррационально, точно так же оно не есть и не только положительное и не только отрицательное, но единство противоположностей того и другого, причем настолько своеобразное и оригинальное, что его нельзя свести ни к одной только положительности, ни к одной только отрицательности” (стр. 644-650).

Шеллинга ценили за то, что тот открыл ”внешний признак Абсолюта”, как начала, отождествляющего в себе два гетеро-

женных элемента реальности — знание и бытие. Открытие это, однако, уже состоялось за двадцать два столетия до Шеллинга, и честь этого открытия принадлежит Платону.

Платон, ясное дело, не обладал современной терминологической техникой и многое из того, что теперь развито в различные системы, воспринимал только интуитивно. Это относится и к его философии, и к его математике. Мы можем найти у него то, что было предвосхищением современных достижений и открытий, но казалось непонятным многим мыслителям промежуточных столетий.

Платон мечтал об установлении первого принципа и последней цели всего; он определял его в качестве "беспредпосылочного начала". Мережковский в свое время писал, что в Евангелии от Иоанна сквозь историю просвечивает метаистория. То же можно сказать о Платоне: сквозь интуицию беспредпосылочного начала, которое у него как будто погружено в космос или, вернее, объемлет собою космос, из себя его рождает, просвечивает интеллектуально-интуитивный абрис того, что уже вне космоса. И заслуга Лосева в том, что он, как никто другой из исследователей, выявляет эту сторону мировоззрения Платона.

2

СОФИЯ

Бог неименуем, но многоименен! Это — основа христианской апофатики и катафатики (богословия отрицаний и богословия утверждений). И — реальность религиозной практики. Возможно ли дать адекватную дефиницию Бога? Конечно, нет. Но каждая посильная, создаваемая человеком дефиниция не совсем ложна. Она ложна своей несоравностью, частичностью. Если скажем: Бог есть благо, то сразу же возникнет вопрос — какое "благо"? Ведь для человека само понятие блага столь же многообразно, как звездное небо в безлунную ночь. Конечно, Бог — благ, но и правильно будет сказать, что Бог — не благ, ибо Он — сверхблаг, т. е. Его благость *превосходит* всякое наше понятие блага; Он благ по преимуществу и по пре-

восходнейшей, ни с чем тварным не сравнимой, степени. Высказанное относится и к Лицам Божества, и к Его сущности, и к Его свойствам.

Обратимся теперь к тому божественному атрибуту, который мы подразумеваем, говоря о Премудрости (Разуме). В религиозной философии (и богословии) эта Премудрость выступает, или вернее, олицетворяется двумя именами: Логоса и Софии. Некоторые богословы уже издревле отождествляли Софию с Логосом, но то были, скорее, нетипичные теогонические концепции.

Среди многочисленных трудов А. Ф. Лосева, изданных на родине, нет ни одного, прямо посвященного теме Софии — да это и понятно в нынешних советских условиях. Но несомненно, что софиология была одной из наиболее интересующих его тем. Возможно, что такой труд им написан и ожидает благоприятствующих условий для появления в свет. Нам остается по большей части гадать, *что* на эту тему он думал и думает. Все же попытаемся воссоздать *за Лосева* его "софиофемы", для чего используем тексты из труда "История античной эстетики. Поздний эллинизм" (М. 1980).

В древности эллины, наряду с наиболее антропоморфической теогонией, создали наиболее абстрактную философию. Элементы последней, в модифицированной форме, легли в основу не только средневековой, но и новой философии. Они же были использованы христианскими богословами, пытавшимися излагать интуитивно-постигаемые запредельные истины Откровения в диалектических категориях.

Уже Тимей Локрский, пифагореец, старший современник Платона, считал, что "совокупность мира содержит в себе две причины — разум и необходимость. Вся же совокупность мира в целом включает три момента: идею, материю и чувственно-постигаемое, являющееся как бы их порождением. При этом идея есть "парадигма" всего возникающего, претерпевающего изменение. Материя же есть впечатление идеи и родительница третьей сущности, то есть — чувственно-постигаемого мира. Материя также вечна, однако, не неподвижна; она сама по себе бесформенна, способна воспринимать всякую форму. Природа эйдоса, или идеи, *мужская и отцовская*, что же ка-

сается материи, то ее природа — *женская и материнская*, так что чувственно-постигаемое является их *порождением*, их детищем. Эти три мировые сущности познаются тремя человеческими способностями: идея познается умом и наукой, материя — ложным, буквально, “незаконнорожденным” рассуждением, а их порождение — ощущением и мнением” (стр. 20).

Запомним еще одно рассуждение, принадлежащее Аммонию Саккасу, одним из слушателей которого был Плотин. “Мыслимые предметы имеют такую природу, что соединяются с тем, что может их воспринять наподобие предметов изменяющихся и, соединяясь, остаются неслитными и нетленными, как предметы, помещающиеся рядом. В телах единение производит изменение вещей соединяющихся: они изменяются в другие тела, как, например, из стихий происходят смешения, пища переходит в кровь, кровь в плоть и остальные части тела. В мысленных предметах единение происходит, но смешение не следует за ним. Не относится к природе чего-либо мысленного изменяться по своей сущности. Напротив, или оно удаляется, или оно теряется в не-сущем, но не принимает изменения. Однако, оно и не уничтожается в не-сущее, ибо в таком случае оно не было бы бессмертным и душа, будучи жизнью, превращаясь при смешении, изменялась бы и не была бы бессмертной”.

Лосев определяет неоплатонизм как *философию мифологии*, или платоническо-аристотелевскую *диалектику мифа* (стр. 164). Объясняет он это следующим образом: “Неоплатоники брали из жизни античного духа самое далекое, самое старинное, самое непохожее на какую-нибудь цивилизацию или критическую мысль; и это была мифология. Но эту максимальную старину они реставрировали при помощи максимально новых, максимально цивилизованных и культурных методов; и это была диалектика, в своем утончении доходившая до схоластической эквилибристики, до какого-то иступленного балета логических категорий” (стр. 164). “... Всю эту неоплатоническую диалектику необходимо назвать *диалектикой зрительного, светового, возделенного и воздевающего ума или диалектикой мысленного света*” (стр. 166).

Согласно Плотину, творцу неоплатонизма (стр. 203-270), все то, что существует, существует в следующих планах бытия:

Единое, Числа, Ум, Душа, Космос, Материя. Лосев определяет эти планы бытия у Плотина следующим образом:

1) *Единое*. Наивысшей ступенью и последним завершением всего бытия является Единое. Оно представляет собою охват всего существующего в одной неделимой точке, которая настолько полно и всесторонне охватывает все сущее, что кроме него уже больше ничего не остается для другого, так что нет ничего такого, от чего оно чем-нибудь отличалось бы. Это значит, что оно вообще не может быть чем-нибудь, то есть ему не свойственно никакое качество, никакое количество, оно ускользает от всякого мышления и познания, оно выше всякого бытия и сущности, оно не есть какое-нибудь понятие или категория, и оно выше всякого имени и названия.

2) *Числа*. Единое не есть какая-нибудь форма, ибо оно есть источник всякой формы. Будучи источником всякого оформления, оно само из себя порождает свое инобытие и тем самым расчленяется в себе. Эта первая определенность бытия, еще лишенная всякого качества, есть *числа*.

Следуя за пифагорейцами и платониками, неоплатоники понимают числа не как абстрактные элементы счета, то есть не чисто арифметически, но как самостоятельные и объективные субстанции, которые, ввиду своей бескачественности, являются чем-то гораздо более первичным, чем само бытие и чем идеи, вследствие чего неоплатоники называют их "сверхсущными единицами".

3) *Ум*. Если бы было только Единое, то ни оно само, ни что-нибудь вообще не было бы познаваемо, и ничто не было бы именуемо. А если кроме Единого были бы только одни числа, то все бытие было бы расчленено и разделено, но оно все-таки не было бы познаваемо, так как ему не хватало бы качественности и оно поэтому все-таки еще не было бы *чем-нибудь*. Это "что-нибудь" образуется в результате дальнейшей эманации из чисел, подобно тому, как сами числа были эманацией из Единого. Числа, вступая в синтез с окружающим их инобытием, наполняются этим инобытием и потому получают качество, становятся тем или иным "нечто", то есть впервые образуют собою *бытие*. Это бытие, конечно, еще очень далеко от чувственного бытия и от материи, но оно уже есть "нечто", и оно уже есть некий *смысл*, и притом определенным образом *оформленный*

смысл. Конечно, нечего и говорить о том, что этот смысл у неоплатоников не имеет ничего общего с абстрактными понятиями философии, так как этот смысл есть одновременно и объективное бытие и объективно-реальная субстанция. Кроме того, этому осмысленному бытию свойственно и адекватное ему *сознание*, так как оно само себя же самого и с самим собой соотносит. Это значит, что такой оформленный и бытийный смысл есть *идея*, которая по этому самому опять-таки не имеет ничего общего с абстрактными понятиями философии, но мыслится у Платона и неоплатоников как объективно-реальное бытие, лежащее в основе всего иного бытия. Все идеи, взятые вместе, или мир идей, и есть то, что неоплатоники называют *умом* (нус). Он есть *первообраз* всех вещей.

Каждая идея, по их учению, отражает в себе весь мир идей целиком и является, таким образом, цельным миром идей, но данным с какой-либо специфической стороны. Такая отдельная специфическая идея и есть *Бог*. Богов, таким образом, столько же, вообще говоря, сколько идей; и расчленение всех идей на диалектические ступени есть диалектическое расчленение всего греческого Олимпа. Каждый бог, поэтому, или, как неоплатоники выражаются, каждый ум, есть первообраз для соответствующей области бытия и есть та предельная сила и то предельное оформление, которым держатся все вещи и все явления данной специфической области бытия. Поэтому каждая идея, или каждый ум, или каждый бог и весь мир идей и богов целиком является *демиургом и первообразом*.

4) *Мировая душа*. Мир идей, в свою очередь, объединяется с окружающим его инобытием и тем самым переходит в становление, но становление все еще пока не материальное и не чувственное, но смысловое и осмысливающее.

Отдельные идеи или умы, переходя в такое становление, оказываются движущими и одушевляющими силами или вторичными богами, демонами; а все эти одушевляющие принципы, взятые вместе, образуют *мировую душу*, которая является источником одушевления и движения всего существующего.

5) *Космос*. Это становление Мировой Души, исчерпывая самого себя, останавливается и переходит в ставшее, которое движется уже не само от себя, но движется от другого, а именно

от души. Это само по себе неподвижное ставшее, но находящееся в вечном движении от другого есть *Космос*. (Здесь следует перечисление планетных сфер, начиная от самой эфирной с неподвижными звездами, и кончая самой плотной — Землей. — См. платоновский "Тимей").

б) *Материя*. С переходом в Космос мы впервые получаем вместо ума и души — *тело* (тонкое и светоносное снаружи, и тяжелое и непроницаемое — внутри космоса. Материя интеллигибельна и материя чувственна. Первая — еще в Уме, это "идеальная материя", если можно так выразиться, другая же — восприимница возможных форм и смысла, вечная потенция воплощения и оформления, экран и глина.

Материя у неоплатоников не есть абсолютное ничто, так как иначе нечего было им и строить какую-либо теорию. Она у них есть возможный принцип воплощения и оформления сверхчувственной идеи, или, как говорили платоники, эйдоса. Без эйдоса не могло бы возникнуть никакой чувственной красоты и, следовательно, самого космоса. Но и без материи тоже ничего не могло бы возникнуть телесного, вещественного и материального.

Если Единое есть предел объединения и конденсации бытия, то материя — предел распада бытия, лишения его качеств. Если Единое — источник всяких форм, то материя — их отсутствие.

В космосе совершается вечная жизнь в виде ниспадения вещества из высших сфер в низшие и обратного его восхождения круговорот вещества и души.

Ссылаясь на Г. Ф. Мюллера, исследователя философии Плотина, Лосев говорит, что "Бог (Единое) есть первопричина жизни, разума и бытия. Он пребывает в своей внутренней святости и не выступает вовне. Все обращается к Нему, как окружность к точке, из которой исходят все радиусы. Он — принцип и основа всякого блага и всякой красоты; царь всего, мера и предел всех вещей, подающий из самого Себя дух, сущность, душу, жизнь и духовную деятельность. Он творит все и все наполняет, не будучи тем, что Он творит. Плотин много раз подчеркивает, что Единое не причастно никакому становлению и возникновению и спокойно пребывает в

своем собственном состоянии, в своей собственной сущности, не выходя из себя; но Единое неисчерпаемо и неуменьшаемо для самого себя и абсолютно идентично с самим собой. Воля и должествование, свобода и необходимость совпадают у него в основе его сущности” (373).

Защищая Плотина от упреков в пантеизме, Лосев подчеркивает, что Плотин “четко противостоит декомпозиции божественной сущности через эманации” (стр. 374). Такие упреки основаны на том, что вследствие ограниченности и немощи нашего языка Плотину приходится употреблять такие слова, которые, при дословном понимании, могут вызывать, и неизбежно вызывают, образные представления, которые затем обретают не совсем верное толкование. Эти слова следует понимать метафорически, а не философски.

На вопрос: как совершается творение, необходимо или свободно, — Плотин отвечает метафорой солнца, чья сущность — светить, или весны, пробуждающей природу к развитию и жизни. В Едином воля тождественна с сущностью, а творчество — естественный способ бытия Единого. Над или вне Единого нет ничего, так что ничто внешнее Его не определяет. Единое, говорит Плотин, “есть то, чем оно должно быть, но, впрочем, без этого “должно” (стр. 375). “Необходимость” существования Единого отлична от всех иных необходимостей. Единое есть то, чем оно хочет быть, и этот “модус эссенди” — оптимальный, иначе Единое и не захотело бы быть, у Него не было бы повода или причины хотеть быть иначе.

Первоединство, т.е. самость, существует повсюду; “все существующее есть эманация первоединства”. А что такое “эманация”? В лосевской интерпретации Плотина эманация “есть художественно-смысловое изливание одной области бытия в другую и одной категории в другую категорию, когда рассматриваемая нами область бытия или категория предстает перед нами во всей своей полноте и тем самым (ввиду ее переполнения) в необходимости для нее изливания на все иное и перехода к созданию этого иного”.

Вся система Плотина, пишет Лосев, “проникнута вечно становящимся и вечно текучим характером”. Это “текуче-сущностная, понятийно-диффузная струя”.

Интересна цитата из сочинения О. Лангера, приводимая Лосевым: "Душа у Плотина — это процесс "заглядывания" в свет, который лежит по ту сторону Ума. Это — стремящаяся овладеть сама собой "динамис", и вместе с тем — "энергия", хотя и вторичная по отношению к Уму. Душа выступает как двойственность уже-сущего и еще не-сущего. Их элементы взаимно проникают друг друга и вызывают движение, которое есть не что иное, как постоянное возникновение единства из различия и различия из единства". "В диалектике же сущность души проявляется как самораскрытие глубинных основ бытия, как способность самовыражения и вечного покоя, как стремление не быть тем, *что* она есть, и быть тем, что она *не* есть, как самоотрицание и колеблющееся равновесие между истинным и неистинным, как загадочное совпадение могущества и бессилия, сущностного единства и множественности" (стр. 379).

Плотин утверждает, что "мышление требует *принципа* мышления, который раньше самого мышления", т.е. *потенции*, о которой ничто не может быть предсказано. Это утверждение Лосев объясняет следующим образом: "Ум есть множество созерцающего и созерцаемого, а множество предполагает единство. Это единство, однако, не может быть умопостигаемым или созерцаемым, так как последнее как раз предполагает наличие умопостигающего, т.е. ума. Следовательно, единство это не есть ни созерцающее, ни созерцаемое, но — "то, *из чего* и ум и связанное с ним умопостигаемое" (стр. 430). Этот принцип есть *потенция*. "Он выставлен... не как простое самотождество сущего (тогда в нем все различия погасли бы в абсолютном смысле), но как такое самотождество, которое порождает из себя и все различия. Плотин, именуя свой принцип *потенцией*, источником бытия и ума, корнем универсально-мирового растения жизни, превышающим всякое отдельное оформление".

После всех вышеприведенных цитат и терминологических пояснений, *импрессионистически представляющих абрис Софии*, перейдем к тому, как Плотин представлял себе эту самую софийность. В трактате "Об умной красоте" (V 8), в главах 3-6 он излагает общее учение о софийном бытии. "В софийности совпадает до абсолютной неразличимости образ бытия и само бытие, что синтезируется в понятии *умной жизни*, осмысленной

уже не в отвлеченных понятиях, но в идеях, умно-оптически, то есть скульптурно строяемых. Это и есть учение о том, что красота предполагает софийную самообоснованность ума, т.е. порождаемость им инобытия, необходимого для своего воплощения, из самого же себя. В главах 7-13 Плотин развивает основные положения предыдущих глав и утверждает, что софийность появляется из тождества и взаимослияния идеального и реального. Если же рассматривать *идеальное* в свете софийного, то оно перестает быть только отвлеченно-идеальным; оно превращается в особого рода бытийно-эстетический лик, именуемый мифом. Если же рассматривать *реальное* в свете софийного, то это не просто процесс становления вещей, но *творчество* (стр. 466).

“Ум пребывает не в ином, как душа, но в *самом себе*. Он — *творец* первичной красоты, *вечный*, не пришедший к себе извне (как душа). Чистый ум безобразен, и потому его невозможно ни с чем сравнивать... Образ ума возникает из ума, как данный кусок золота из золота вообще. Такими образами ума, неотделимыми от него самого, являются *боги*. Боги и суть умы, бесстрастные, умные, чистые, возвышенные и прекрасные, действующие в целях своего обнаружения. Как таковые, они заполняют все небо непрерывно; они тождественны с самим небесным пространством; и хотя в этом небе *все имеется* (земля, море, растения, животные, люди), т.е. все там существует раздельно, тем не менее все там свойственно всему, без всякого прерыва” (стр 468).

Жизнь ума и есть софийное бытие. “Жизнь ума *не становится*, но есть, сама себя питая, прозрачная для себя и для каждого входящего в нее момента, где движение и покой абсолютно совпадают, так как то, в чем движутся боги, и есть то, чем они являются, и конечный пункт совпадает с началами, а всякая часть есть целое, — и наоборот. Эта жизнь ума “легкая”, не убывающая и не прибывающая, не испытывающая ни утомления, ни пресыщения. Лучше же сказать, она все время прибывает, но прибывает, не доставляя пресыщения. *Всякая жизнь и есть мудрость, софийное бытие*, в котором софийность неотделима от бытия и в котором одно отличается от другого уже не как отвлеченное понятие, но как очевидные изваяния. Софийное бытие идеально вместило в себя все сущее, все творимое и происходя-

щее, будучи повсюду имманентным смысловым коррелятом всего становящегося, так что софийное познание — "не разное в разном, но всецелое во всецелом" (стр 468).

И еще несколько определений.

Если эйдос есть "смысловой рисунок чистого ума", то глубинная сущность красоты, ее жизненная сила и привлекательность — это София. "София идеальна, но вовсе не в смысле совокупности абстрактных понятий, а в смысле умственной картины, наделенной творческими возможностями для своего функционирования вовне ... Вот эту творчески материальную, но в основе своей все же остающуюся идеально-мыслимой и вполне внутренней, и умственную, или, точнее сказать, смысловую область Плотин и именует термином "*София*".

Противопоставляя внешнее и внутреннее или, как говорит Плотин, "здесь" и "там", он и для Софии требует такого противопоставления; конечно, "тамошняя" София важнее "здешней", "потому что является для нее принципом и смысловым заданием" (стр 399).

И, наконец, Лосев следующим образом определяет видение Платином "прекрасной предметности". Она есть:

"... 1) временно-вечное или вечно-временное 2) эманулирующая 3) из абсолютного первоединства 4) самость 5) чистого и несмешанного Ума (нус) или область чистого мышления (логос), которая, оставаясь в себе самой, то есть в сфере чистого Ума, порождает 6) осуществление чисто смысловой заданности 7) в виде интуитивно (эйдос) — умно реализованной 8) Софии, являющейся, в свою очередь, 9) мифологическим 10) архетипом для всех своих 11) бесконечных 12) инобытийно-материальных воплощений" (стр. 416).

Игумен Геннадий Эйкалович

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

РУССКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Н. В. ГОГОЛЯ В РИМЕ — РОМАНУ
ГУЛЮ, РЕДАКТОРУ "НОВОГО ЖУРНАЛА"

29.10.1984

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Милостивый Государь!
Господин Редактор!

Мы считаем необходимым проинформировать Вас о ряде происшествий, связанных с русской библиотекой им. Гоголя в Риме, происшедших в этом году. Библиотека им. Гоголя, основанная в 1902 году, содержит около 15.000 книг, портреты русских императоров и деятелей культуры, гравюры, карты, бронзу и другие ценные предметы. На протяжении десятилетий библиотека была русским очагом в Риме. Правление библиотеки, состоящее из 12 членов, назначает директора, отвечающего перед правлением за свою работу. Пользуясь поддержкой американского фонда с 1968 года, библиотека за последние 15 лет не ощущала экономических затруднений. Зато года три назад возникла другая проблема: хозяин дома отказался продлить контракт и подал в суд на выселение. Найти новое помещение в Риме в настоящее время очень трудно, хотя и возможно.

Но тут появилась другая проблема, куда более серьезная. Последнее годовое собрание правления состоялось весной 1983 г. В 1984 году директор библиотеки, Евгений Александрович Вагин, он же и казначей, всё откладывал устроить собрание, которое всегда имеет место в первой половине года. На все вопросы по этому поводу Вагин отвечал уклончиво, а потом, в мае, уже категорически отказался устроить его, мотивируя это тем, что это, де, ничего не даст. Тут же он начал выска-

зывать мнение, что найти помещение в Риме невозможно, что лучше вывезти библиотеку за границу.

Это, конечно, было грубое нарушение устава библиотеки, но все попытки образумить Вагина оказались безуспешными. Годовое собрание в 1984 году с отчётным докладом Вагина так и не состоялось. Такое поведение директора библиотеки было настолько необычным и, главное, непонятым, что правление просто не знало, как на это вообще реагировать. В июле Вагин не спрашивая никого, внезапно закрыл библиотеку и поставил новый замок. Никто, кроме него и его подручного некоего С. В. Немчинова, не имеющего никакого отношения к библиотеке, не мог больше попасть в помещение. Таким образом, библиотека им. Гоголя превратилась в библиотеку им. Вагина.

Как впоследствии выяснилось, с момента закрытия библиотеки началась лихорадочная упаковка книг, портретов (снятых из рам), бронзы и других предметов и их постепенный вывоз по ночам. В результате всех этих безобразий А.В. Мясоедов, председатель правления, собирает правление 25.7.84 на квартире секретаря правления, Р.В. Буцкой, поскольку доступ в библиотеку, где обычно происходят все заседания, закрыт. Вагин был оповещен, но не явился. На этом заседании было принято решение снять Вагина с поста казначея и требовать передать правлению все документы и деньги.

Вагин по сей день не передал ни одного документа, не сдал отчётности за 1983 год и не передал ни одной копейки из присвоенных им средств.

Неделей позже члены правления Мясоедов и Дюкин отправляются в банк, где выясняется, что на счету библиотеки всего 20.000 лир (12 дол.). Оказывается, что деньги были сняты Вагиным незадолго до этого. Он никого не информировал об этой махинации. В банке выяснилось также, что в плане распоряжения средств на этом счету имя Дюкина было вычеркнуто и заменено именем жены Вагина.

Узурпация библиотеки Вагиным и его желание вывезти её за пределы Италии привлекли внимание итальянских властей. Тут следует сказать, что со стороны итальянцев, как славистов, так и властей, за всё время существования библиотеки не было сделано ни одной попытки овладеть ею или вмешаться в её внутренние дела. Итальянцы хотят лишь, чтобы библиотека им. Гоголя, неразрывно связанная с Римом, осталась в Риме. Это желание разделяется также правлением библиотеки и её друзьями. Только один Вагин был другого мнения.

Принимая во внимание безобразия, происходящие в русской библиотеке, а также её культурно-историческое значение, Министерство по охране культурных ценностей назначает в начале августа инспекцию библиотеки. Вагина уведомляют об этом, но он не считает нужным прийти. Поскольку Вагин поставил новый замок, то чиновник министерства и присутствовавшие при этом члены правления не смогли попасть в помещение. После этого не оставалось ничего другого, как обратиться в полицию, что и было сделано в тот же день. Дюкин в качестве съёмщика помещения делает это заявление.

После этого Вагин и Немчинов в течение нескольких дней звонят членам правления, ругают их и угрожают им. Так, Немчинов обещает передать библиотеку "Советам" (т.е. Советскому Союзу), а Вагин звонит Тимофееву и угрожает ему: если, мол, этот "старый идиот Дюкин" (Дюкину 84 года, бывший белый офицер, многолетний представитель Союза русских инвалидов) не возьмёт обратно свое заявление, то он, Вагин, приложит все усилия, чтобы дискредитировать имя Тимофеева и помешать ему в его работе в качестве представителя изд-ва "Посев".

13.8.84 состоялось заседание правления при полном кворуме. Ни Вагин, ни его жена не пришли, хотя были своевременно оповещены. Вместо Мясоедова, ушедшего с поста председателя, но оставшегося в правлении, был избран В.Н. Дюкин. Вагин был снят с должности директора, исключен из состава правления и вычеркнут из списков русского собрания на следующем основании:

1. Отказ от устройства годового собрания и отказ отчитаться за 1983 год,
2. Присвоение библиотечных средств и отказ представить финансовый отчет,
3. Отказ передать правлению документы и бумаги (архив) библиотеки,
4. Нежелание устроить в течение года с лишним доклады, встречи и др. с целью популяризации библиотеки,
5. Самовольное закрытие библиотеки и отказ впускать кого-либо в помещение,
6. Попытка вывезти библиотеку за границу, не информируя никого об этом, неизвестно куда, неизвестно на каких условиях, против воли правления и нарушая законы страны (ибо для вывоза культурных ценностей в Италии, как в любой другой стране, надо иметь разрешение властей). Кстати, Италия предоставила Вагину и его семье право поли-

тического убежища и в Италии у него две-три государственных службы.

Карло Риччо, избранный правлением на место директора вместо Вагина (бывший вице-директором библиотеки в начале 1970-х годов и знающий её хорошо) встречается на следующий день с Вагиным (14.8.1984). Вагин отказывается признать решение правления, отказывается вернуть деньги и настаивает на своем праве вывезти библиотеку за границу и передать её Толстовскому фонду в Мюнхене (В других случаях Вагин говорил, что хочет передать библиотеку епископу Антонию в Женеве, епископу Марку в Мюнхене, а Немчинов угрожал передать её "Советам"). Мотивирует Вагин свою точку зрения тем, что он, мол, единственный настоящий русский в Риме, а посему он, и только он, имеет право распоряжаться библиотекой.

Новый директор предупреждает Вагина, что для него могут быть неприятные последствия, если он не передаст ключей и все материалы библиотеки, но Вагин не принимает всерьёз это предупреждение и требует к тому же, чтобы Дюкин взял обратно свое заявление в полицию.

В тот же самый день копия протокола заседания правления была передана Риччо инспектору полиции, занимающемуся делами библиотеки, который тут же обещал помочь. После этого Риччо в сопровождении членов Правления Тимофеева и Колуччи, слесаря и двух чинов полиции, позвонив и не получив ответа, отпирают с помощью слесаря дверь и входят в помещение. Сразу бросается в глаза невероятный беспорядок: у входа приготовлены связки книг для отправки, на полу картонки, пустые и наполненные книгами, на полках местами не осталось ни одной книги, зияют рамы без картин и т.д. В библиотеке находятся Вагин и Немчинов, которые занимаются упаковкой книг. Можно сказать, что они пойманы на месте преступления. Немчинов начинает истерически кричать и угрожать, подскакивая то к одному, то к другому. Кончается дело тем, что Немчинов нападает на Тимофеева и ударяет его кулаком в глаз. Полицейские выводят Вагина и Немчинова, сажая их в полицейскую машину и увозят в участок. Ставится новый замок и полиция запрещает Вагину и Немчинову показываться больше в библиотеке. (Впоследствии — 1.10.1984 — Немчинов приходит на квартиру к Риччо, нападает на него и затем ломает телефон, чтобы Риччо не смог вызвать полицию. Риччо делает заявление в полицию).

При первом поверхностном контроле было установлено, что вывезено 3.000 — 4.000 томов, вся бронза, все царские портреты, иконы. Из книг исчезли наиболее ценные. Картотека в полном беспорядке, множе-

ства карточек нет. Исчезли одновременно с книгами. Через два дня Риччо звонит Вагину и требует, чтобы тот вернул все книги, портреты и пр. Вагин отвечает, что уже слишком поздно, всё, де, уже отправлено в Германию. Составив список исчезнувшего имущества, Дюкин и Риччо делают 20.8.84 заявление в жандармерии о незаконном присвоении Вагиным и Немчиновым библиотечного имущества, указывая на возможность его вывоза за границу контрабандным путем. Уже 30.8.84 карабинеры сообщают, что нашли дома у Вагина 1.300 томов, бронзу, икону и несколько картин — всё вещи библиотеки. Карабинеры возвращают найденное у Вагина имущество библиотеке, но это далеко не всё, что Вагин и Немчинов вывезли под покровом темноты из библиотеки. Розыски вывезенного Вагиным и еще не найденного имущества продолжаются. частности, также за границей через организацию международной уголовной полиции со всеми вытекающими из этого последствиями для укрывателей незаконно присвоенного имущества.

Мы не находим нужным вдаваться в полемику с газетой "Наша страна", поместившей статью о нашей библиотеке и не потрудившейся в самой элементарной форме проверить факты до публикации статьи.

Мы хотим лишь затронуть одну деталь в этой статье. Там говорится о систематической пропаже книг в нашей библиотеке. Надо сказать, что Вагин четыре года был сначала вице-директором, а затем директором библиотеки. У него были средства и время сделать полную инвентаризацию книжного фонда. Он этого не сделал. Почему? Без этого его утверждения являются голословными. Кроме того, мы хотели бы уточнить ещё одну вещь: то, что произошло в этом году в библиотеке им. Гоголя в Риме вовсе не означает, что произошли какие-то разногласия между Вагиным, с одной стороны, и двумя-тремя членами правления — с другой. Речь идёт о том, что Вагин тайком от всех пытался вывезти куда-то библиотеку, что он отказывается сообщить, где находятся ещё не найденные книги и портреты, что он присвоил библиотечные деньги, что он грубо нарушил оказанное ему доверие и что в результате его махинаций библиотека оказалась в катастрофическом положении. В силу этих возмутительных поступков американский фонд прекратил помощь библиотеке и правление оказалось без средств, если не считать те суммы, которые поступают от членов правления и других лиц в виде самообложения. Мы обращаемся ко всем: *помогите нам выйти из трудного положения, помогите нам спасти библиотеку*. Присылайте чеки, выписанные на имя библиотеки на нижеуказанный адрес. В историю рус-

ского Зарубежья Е. А. Вагин войдет как человек, пытавшийся погубить русскую библиотеку в Риме, единственный русский очаг в Италии.

Спрашивается: в чьих интересах действовал Вагин?

В сентябре, уже после того как библиотека окончательно рассталась с Вагиным, стали известны некоторые детали, пролившие новый свет на его деятельность. Стало известно, что а) Вагин посетил сов. консульство в Риме 30.8.84 (как раз в тот день, когда карабинеры были у него дома с обыском и нашли у него книги, бронзу и пр., б) Жена Вагина этим летом ездила в СССР, в) Дочь Вагина уже второе лето ездит в СССР, г) Из библиотеки неоднократно звонили в СССР, конечно, за счет библиотеки.

Итак, этот "русский националист", монархист и почитатель Дома Романовых, объехавший много стран на Западе с докладами, в которых призывал к борьбе с советской властью и призывал восстановить монархию в России, на самом деле личность и в политическом плане одиозная. Такие связи без ведома Правления несовместимы с должностью директора нашей библиотеки. Это открытие ещё больше убедило правление в правильности исключения Вагина со всех постов в русском собрании.

С совершенным почтением

В.Н. Дюкин
Председатель правления

Карло Риччо
Директор библиотеки

Biblioteca Russa N.V. Gogol
3, Piazza S. Pantaleo
I-00186 Roma, Italy

О ТУРИЗМЕ В СССР

Конец сентября 1983-го года. Последние часы моего пребывания на родине. Увижу ль я её когда нибудь? Единственная экскурсия в Советский Союз, в которую мне удалось записаться из Финляндии, была только в Ленинград и Москву. Это была уже моя шестая поездка на родину из Южной Африки, куда я переселилась в 1947 году и где живу до сих пор.

Вот я сижу у окна советского поезда, который мчит нас из Москвы в Хельсинки. Большинство спутников американские туристы, посещающие СССР впервые. В нашем купэ оживленный разговор. Мои соседи обмениваются впечатлениями обо всём виденном, слышанном и пережитом. Они очарованы всем в Советском Союзе и не могут понять отчего в США многие весьма критически относятся к такой гостеприимной, богатой памятниками старины, стране.

Отдыхаю в уголке, не принимая участия в разговоре, слушая, как мои спутники смотрят на всё сквозь розовые очки. Еще около часа езды до границы. Ясный, солнечный день. Преду мной, за окном, мелькают хвойные леса, берёзовые рощи, поля, озёра, на глади которых покоятся, кое-где, рыбацьи лодки. Любуюсь величавой природой русского севера и вспоминаю своё, такое далёкое, еще до революции, детство и тех близких, которых давно уже нет на свете.

Мою задумчивость нарушает громкий стук в дверь. Не дожидаясь, чтобы её открыли, два, хамоватых с виду, молодых таможенных чиновника, резко дёрнув дверь, останавливаются у входе в купэ. Очевидно, не зная никаких иностранных языков, один из них, обращаясь к нам всем, спрашивает, есть ли среди нас кто-нибудь, говорящий по-русски. Я отвечаю на родном языке. Мои спутники явно удивлены. "Вот отлично", говорит, глядя на меня с явным одобрением, наверно старшой из двоих, а его "ассистент" стоит как истукан и молчит.

"Так вот объясните им всем, что они должны вернуть, заполненные при въезде в Советский Союз анкеты с информацией: с одной стороны листа, сколько иностранной валюты, разных стран, они ввели с собой, а с другой — перечисление золотых вещей, как часов, колец и других золотых изделий, находящихся на них или в их багаже." Перевожу сказанное. Собираю все анкеты, добавляя мою, и передаю их чиновнику. Он бегло просматривает их, и обращаясь ко мне, говорит: "Странные люди — туристы. Прут сюда со всех стран, а сами не знают ни *А* ни *Б* на нашем языке. Итак: у пятерых всё в порядке, а у шестого нет печати на второй стороне, только на первой. Спросите, кто из них такой-то или такая-то?" Он называет мою фамилию. Отвечаю: "Так это я". "Вы? Да не может быть! Я решил, сразу как вы заговорили, что вы наша, коренная, русская, а выходит наоборот! Да и фамилия какая-то заковыристая, двойная что ли? Так из каких же вы мест?"

Отвечаю: "Из Южной Африки", и замечаю как сразу исказились лица обоих чиновников. "Надеюсь, это не расистская Южно-Африканская

республика?" угрожающе спросил он. "Она самая, но зачем вы называете её расистской? Она приютила людей разных рас. Вот я, например, родом из России, а живу там уже 37 лет". "Мне наплевать сколько лет вы там живёте, а вот вы совершили преступление в нашей стране, и за него следует по закону наказание."

"Какое я совершила преступление?" "На вашем листке нет второй печати, как полагается, и как у всех других пассажиров". "Так это не моя вина. Я заполнила ответы на все вопросы. Тот кто проверял анкеты при проверке багажа наверное просто забыл поставить штампель на обратной стороне анкеты, а я вписала все золотые вещи, которые были на мне." "Может вы и вписали, но не при въезде в Союз, а этой ночью или ранёхонько утром в уборной, чтобы никто не видел, что вы делаете". "Какие глупости вы говорите!" не удержалась я.

"Держите язык за зубами. Дело серьёзное, факты налицо. У вас не было никаких золотых предметов с вами. Вы купили их нелегально у какого-нибудь антиквара в Москве, за бесценок, уплатив за них фунтами или долларами, надеясь перепродать их за границей с барышом". "Это ложь!" "Не смейте так отвечать! Закон на нашей стороне".

Мои спутники, почуяв что-то неладное, смотрели с недоумением на чиновников и на меня.

"Скажите туристам, чтобы они вышли в коридор, я буду допрашивать вас без вашей "обороны". Я попросила их выйти, не вдаваясь в объяснения, а только сказала, что произошло недоразумение по поводу моей недостающей второй печати, и добавив, что это пустяки. Пока они неохотно выходили, мне так хотелось удержать их или выйти с ними, но гордость не позволила искать защиты у них. Когда же они все вышли, и дверь была заперта чиновником, молчаливый уселся против меня, а допросчик рядом со мной, пуская круги дыма. Я вдруг почувствовала себя совсем одной на свете и дым от крепких папирос стал дурманить мне голову.

"А ну-ка покажите нам ваши выгодные золотые покупки, расистская спекулянтка! На листке записано шесть предметов. Где они?" Я приподняла мои руки. На одной из них было два скромных кольца, обручальное и над ним тоненькое со вставленным в него в оправе александритом. На другой был одно кольцо с выгравированным на нём семейным гербом.

"А где остальные?" спросил, довольно разочарованный, обвинитель. "Я покажу их вам сейчас, но не хочу, чтобы вы прикасались к ним

так как это освященные крестильные кресты и одна иконка". Сказав это, я вынула цепочку с крестильным крестом моей матери, который я ношу не снимая со дня ее кончины — 21 год тому назад — и мой собственный крестильный крест и маленькую иконку Божией Матери. Я боялась, что мой сосед выхватит цепочку из моих рук, но он только спросил: "Если б это были ваши старые семейные вещи, отчего же на них нет надписи вашей фамилии, а что-то совсем другое, что я не могу разобрать".

"Не можете потому, что написано по-славянски: на обоих крестах те же слова молитвы: "спаси и сохрани". Фамилии не упоминаются" "Ну довольно нам слушать ваше ритуальное враньё. Перейдём к сути дела. Вы просто спекулянтка и мы не верим ни одному вашему слову. В нашей справедливой стране спекулянтов очень строго наказывают". Молчаливый кивнул головой. Его старшина начал что-то писать на чистом листе бумаги, который он вынул из-за пазухи.

"У вас только два выбора", обратился он ко мне. Если вы будете продолжать отрекаться, мы должны будем вас арестовать за нарушение нашего закона. Ваше упорство не поможет вам — наоборот, будет гораздо хуже, если вы сразу же не сознаетесь добровольно. Вот я написал за вас признание вашей вины. Вам надо только подписать ваше имя, отчество и фамилию. В таком выходе из положения, если б вы, сейчас же, сами признались в своем преступлении, приговор был бы довольно мягкий — пару лет, не больше, в лагере в Сибири. Решайте..." Наступило молчание...

Я сидела, опустив голову, но услышав приговор, подняла её, и глядя, не на моего мучителя, а на ясное небо за окном, ответила: "Я сказала вам правду, я не виновата и не могу подписать документ, зная, что он лживый". Ужас объял меня при одной мысли об отправке в Сибирь. Полностью сознавая, что я в их власти, я начала молиться Господу, всей моей душой прося Его прийти мне на помощь...

Я всегда верила в чудеса и то, что случилось, было истинным чудом. Раздался громкий стук в дверь. По всей вероятности думая, что это был кто-нибудь из туристов, мой допросчик встал, не спеша, и пошел открыть дверь и, раздвинув её, опешил. "Что это за безобразие?", строго обратился господин средних лет к таможенным чиновникам. Увидав его, молчаливый вскочил со своего места и оба, потушив свои папиросы, вытянулись в струнку. "Отчего туристов выгнали в коридор? Какое вы имеете на это право? Что вы делаете с этой женщиной? Почему вы заперлись здесь с ней?". "Эта женщина", произнёс, заикаясь, мой следо-

ватель," она спекулянтка и хотела надуть нас. Не было печати на второй стороне её опросного листа. Это насчёт золотых вещей. Так она наврала нам, что всё записала, когда въехала в нашу страну, а на самом деле купила вещи либо в Ленинграде, либо в Москве и собиралась нелегально вывезти их и продать с барышом за границей. Так вот, раз она нарушила наши законы, мы собирались её арестовать".

Господин внимательно посмотрел на меня и спросил: "Что вы можете сказать в своё оправдание?" "Это всё семейные старые вещи, которые я привезла с собой и ношу на себе много лет, а ваши чиновники обвиняют меня незаслуженно. Я не лгу и не знаю, почему забыли поставить печать на второй стороне моей анкеты. Я никогда не занималась никакой спекуляцией и поэтому отказалась подписать предложенный мне лист, что признаюсь в своей вине."

"Вы русская — это очевидно, но откуда вы приехали к нам?"

"Из Южно-Африканской Республики", и не давая ему возможности сразу обличить меня, добавила: я там живу давно, но у меня британский паспорт и перед отъездом сюда из Хельсинки я вошла в контакт с британским консулом, объяснила ему, что могут быть осложнения, так как нет дипломатической связи между ЮАР и СССР, и попросила его позвонить моим родственникам сегодня днём, если я вернусь к ним. Я гощу у них и приехала сюда только чтобы в шестой раз, пока еще жива, побывать на моей родине."

Что-то в манерах и выражении его лица внушало мне доверие к этому (судя по подбобстрасности чиновников) высокопоставленному человеку. Он выслушал меня не перебивая и когда я замолчала, сказал: — "Да, надо признаться, вы не похожи на преступницу". Затем, обратившись к допросчику, игнорируя его ассистента, сказал: "Теперь всё ясно. Эта туристка не может доказать, что она говорит правду, а вы не можете доказать, что она лжет. Очень возможно что какой-то таможенный болван забыл или просто не потрудился перевернуть анкету и поставить печать на обратной стороне. Мне уже донесли, что в этом поезде у нескольких других туристов тоже нет второй печати. Так что вы арестовали бы наших почётных гостей, подрывая репутацию нашей гостеприимной страны в других странах! Оба чиновники стояли, как в воду опущенные. "Вы думали выслужиться, получить повышение за арест? А вас самих не мешало бы арестовать за такое поведение. Вы должно быть не знаете, сколько крупных неприятностей причинила авария Южнокорейского самолёта нашей стране в начале этого

месяца. А в такое время надо знать, как себя держать с туристами, а не поднимать бучу в иностранной прессе из-за ареста старой женщины — британской подданой. Ну довольно мне терять на вас время. Вон отсюда! Чтобы духа вашего здесь не было. Вот герои! Напугали, устрашили бедную женщину, а теперь оставьте её в покое.” Незнакомец подождал, пока оба чиновника вышли из купэ, поклонился мне и сам ушел.

В тот же день несколькими часами позже, мои родные встретили меня на вокзале в Хельсинки и повезли к себе. Они были потрясены, узнав о допросе, и очень заинтригованы поведением вступившегося за меня незнакомца. Двоюродный брат, реалист, сразу приписал его моему британскому гражданству и новейшему изгибу советской дипломатии после мировой реакции на уничтожение южнокорейского боинга.

Консул позвонил, как обещал, и поздравил меня с благополучным возвращением. В тот вечер, одна в предоставленной мне уютной, заботливо украшенной свежими цветами комнате, на коленях перед иконой Спасителя, я горячо молилась, благодаря Его за мое избавление, а также за здоровье раба Божьего, пришедшего на помощь мне.

Е. Кандыба

А.А. ВЛАСОВ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ОККУПИРОВАННОЙ РОССИИ

На фоне нынешнего "власоедства" со стороны некоторых кругов новой эмиграции, я узнал из статьи С. Г. Пушкарева "О русской эмиграции в Праге" и об ином отношении к Власову и власовскому движению. Наш последний историк-классик пишет: "14 ноября 1944 года русская Прага была взволнована важными политическими событиями: приездом в Прагу генерала А.А. Власова, образованием "Комитета Освобождения Народов России" (КОНР), официальным признанием Русской Освободительной Армии (РОА) и Манифестом 14 ноября, объявляющим о целях движения и намечающим политическую и социальную программу будущей России... Манифест 14 ноября требовал "создания новой свободной государственности, "причем предвиделось равенство народов, их право на государственную самостоятельность. В области

экономической Манифест требовал свободы труда, отмены всех видов принудительного труда и ликвидации колхозов". Насколько помню, добавлю от себя, признавалась частная собственность и частная инициатива. И далее С. Г. Пушкарев пишет: "Большинство пражской русской интеллигенции относилось с большим сочувствием к власовскому движению и его целям". Зимой 1944-45 г. на улицах Праги появились солдаты РОА с "Андреевским флагом и тремя буквами РОА на рукаве и мы смотрели на них с симпатией и робкими надеждами".

Такая оценка власовского движения побуждает меня рассказать, как к этому движению относились на Северо-Западе оккупированной части России, которую я знал. Колхозы в этой части России были ликвидированы самими крестьянами с одобрения и при поддержке немецкого командования. Эту меру все население встретило с облегчением и ожидало новых реформ, но они не последовали. Промышленная, торговая и культурная жизнь почти совершенно замерли. Страна управлялась немецкими комендантами в интересах войны и победы с помощью послушной русской администрации. Под немецкой властью было плохо, но возможность возвращения советской власти пугала еще больше и никто ее не хотел, за малыми исключениями.

Поначалу громкую славу у нас получил Иван Солоневич. Его знаменитая книга "Россия в концлагере" была напечатана в Риге и отсюда свободно расходилась по всей оккупированной части России, имея огромный успех у читателей. Эта книга на многое открыла нам глаза, о чем мы не знали, живя в Советском Союзе. Она как бы напоминала, что нас ждет, если сюда возвратится советская власть и усиливала наши страхи.

Первые слухи о Власове, о том, что он пытается поднять знамя борьбы с советской властью, сразу же приковали наше внимание, а их становилось все больше, появились и его фотографии и нашлись люди, которые узнали в нем того самого генерала, который попал к немцам в плен в наших краях. Наконец, до нас дошло "Воззвание Смоленского Комитета", которое мы расценили так, что немецкая политика в отношении России меняется и дело Власова разрастается.

Но самое главное, мы увидели и услышали самого Власова. В погожий весенний день 3-го апреля 1943 года немцы на военных машинах свезли в Гатчину великое множество людей. Это были делегации из разных населенных пунктов, составленные из рабочих, крестьян и интеллигенции. Присутствовала здесь также русская администрация, работав-

шая с немцами. Никто не знал, зачем нас собрали. Скоро нас повели в городской театр. Мы сидели и переговаривались, что же будет дальше. Кто-то, приученный к советским порядкам, сказал: "Будет накачка".

Но вот открылась входная дверь и вошел высоченного роста военный. Он был в русской генеральской шинели на красной подкладке, в фуражке с русской кокардой, но без погон. За ним следовало человек десять офицеров — все в немецкой форме. Свита цепочкой потянулась на эстраду, но Власов остался с нами, внизу. Он встал вплотную к балюстраде и сразу же начал свою речь. "Друзья", — обратился он к нам. У него был приятный, звучный баритон. Говорил он легко, не затрудняясь в подборе выражений. У него был свой ораторский прием: высказывая какую-нибудь новую мысль, он обращался к нам с вопросом: "А вы как думаете?" Мысли Власова были по сердцу слушателям и, благодаря этому, между ним и слушателями устанавливалась связь, аудитория все время была в напряженном внимании. Теперь, через сорок лет, я не берусь передать содержание его речи, но я запомнил ее конец. Власов воскликнул: "Хотите ли быть советскими рабами?" Мы взревели: "Не хотим!" Маленькая пауза и опять: "А хотите вы быть немецкими рабами?" И опять мы орем, что есть мочи: "Не хотим!" "Я тоже" — закончил Власов под гром аплодисментов. Немцы-распорядители, — может быть, из боязни вопросов, сразу же стали нас выпускать. В нашей делегации была бойкая предприимчивая дама лет под пятьдесят. Она предложила: "Давайте подождем и еще раз посмотрим на Власова".

К нам присоединились люди из других делегаций. Действительно, Власов скоро вышел и сразу же наткнулся на нашу делегацию. Наша дама тотчас же к нему с предложением: "Андрей Андреевич, поедемте к нам в Сиверскую." Он ответил: "Нет, друзья мои, сейчас я не могу, а вот через несколько месяцев мы придем сюда с Русской Освободительной Армией и займем этот участок фронта, тогда я ваш гость". Но тут подошли немецкие офицеры и увели Власова.

Из Гатчины Власов поехал в Сруги Красные, где также были собораны делегации от большого числа населенных пунктов, он выступал перед ними и опять имел огромный успех. Все это говорило о том, что население оккупированной России поддерживает Власова и Русскую Освободительную Армию. Выступал ли еще где-нибудь Власов, я не знаю. Поездка Власова и его смелые патриотические выступления породили среди населения ожидание больших событий и надежду на лучшее будущее. Но случилось как раз наоборот: о Власове больше не поступа-

лю никаких сведений, никаких слухов. Умудренные недавним советским опытом, мы поняли, что Власова либо крепко "задвинули", либо с ним случилось что-нибудь худшее.

Я. Тельнов

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Письмо в редакцию. Дорогой Роман Борисович! Не откажитесь опубликовать в Вашем уважаемом журнале эту заметку — ответ на письмо в редакцию В. Перелешина, опубликованное в "Новом журнале" No. 155.

Я хочу начать с выражения благодарности В. Перелешину за высокую оценку моей статьи "Л. Толстой в работе над агиографической литературой" ("Н.Ж." No. 151), особенно за определение ее, как "увлекательной", а ее языка, как "хорошего".

Однако, я позволю себя опротестовать написанное критиком по поводу обнаруженных им в моей статье двух ошибок. Подчеркиваю: "написанное *по поводу*"; ибо само наличие ошибок я не отрицаю. И как бы я мог отрицать, когда речь идет о неправильном употреблении грамматических форм, об ошибках правописания? Я могу только заверить критика и читателей, что в обоих случаях (неправильное употребление падежа в словосочетании "Четьи Минеи" и ошибочное написание имени Юлиании Лазаревской) повинен не я, а машинистка или наборщик, ибо перед нами — заурядные опечатки.

Мне очень странно, что вместо того, чтобы лишь отметить про себя плохую работу машинистки (или наборщика, или корректора), В. Перелешин делает из своей находки несоразмерные ей выводы об уровне моего образования и об уровне образования в СССР.

Правда, обо мне он пишет вполне благожелательно и даже жалеючи меня, "человека новой культуры, родившегося и получившего образование в СССР", где "едва ли когда-либо мог держать в руках Саводника или Сиповского". Откровенно сказать, эта жалость по поводу моей серости вызвала во мне немалое удивление, поскольку Валерий Перелешин читал мою автобиографическую книгу (и благосклонно к ней отнесся), из которой мог узнать, не только где я родился и учился, но и тот факт, что с образованием у меня дело обстоит не так уж скверно.

Во всяком случае "Краткий курс русской словесности" В.Ф. Саводника был для меня лишь азбукой литературоведения (он ведь и автором был задуман не как научный труд, а как гимназический учебник), а "История русской словесности" В.В. Сиповского и его хрестоматия были моими настольными книгами в течение нескольких лет. На случай, если мой критик упоминает имена Саводника и Сиповского не столько как конкретные, а как символы необходимого запаса знаний, назову имена нескольких авторов, чьи труды имели влияние на мое научное формирование: Ф.И. Буслаев, А.Н. Веселовский, А.П. Кадлубовский, В.Ф. Миллер, М.Д. Приселков, И.И. Срезневский, Н.С. Тихонравов, кн. Н.С. Трубецкой, А.А. Шахматов.

Да и о самих Четьих Минеях я знаю не с чужих слов, а держал их в руках как в издании митроп. Макария, так и в издании митроп. Дмитрия Ростовского; читал я также и Прологи, и Патерики.

В Московском Институте Философии, Литературы и Истории (МИФЛИ) и в Московском Университете, которые я окончил, нам преподавали отнюдь не только марксизм: я слушал лекции полуопального тогда В.В. Виноградова, уже часто болевшего (и потому — у него дома, на Петровском бульваре), Ю.М. Соколова, а иной раз заглядывал и "к старцу" (ему тогда было 68, а нам — по 18) Д.Н. Ушакову — насладиться его богатым, чистым русским языком, роскошным московским говором, который уже тогда нельзя было услышать ни от кого другого.

Мы не только допускались к слушанию "чужих" (чаще всего — старших курсов) лекций, но нам разрешалось (при посещении других городов по своим делам) посещать лекции в местных университетах. Таким образом, в Ленинграде и Киеве я бывал в аудиториях Д.С. Лихачева, А.С. Орлова, А.И. Белецкого, Б.В. Томашевского, Л.В. Щербы.

Что касается конкретных произведений, то могу сказать следующее: о "Житии Юлиании Лазаревской" я писал реферат еще на 2-м курсе, а Четьи Миней профессор Н.К. Гудзий склонял (и в переносном, и в прямом смысле) на лекциях двухгодичного курса древнерусской литературы множество раз, возвращаясь к ним по самым различным поводам.

Неужели В. Перелешин всерьез думает, что я, ученый с 35-летним опытом публикаций своих работ, посмел взяться за исследование агиографии, никогда не видев ни агиографических сборников, ни отдельных житий? Почему такой опытный литератор, каким является В. Перелешин, к тому же благожелательно ко мне расположенный, пошел по пути неправдоподобных домыслов, когда реальность (заурядные опечатки)

была так проста и очевидна?

Думаю, дело в том, что это давало возможность повторить ходячую в Зарубежье формулу: в СССР образование находится на более низком уровне, чем в Царской России, поскольку коммунисты фальсифицируют науку путем изъятия неугодных им книг, лишения граждан возможности учить языки (и новые, и древние) и т. д.

Утверждение это *правильно*, однако, его бездумное использование всегда и везде может быть только наруку коммунистам. По двум причинам.

1. Захватив власть обманом, пропитав ложью всю жизнь созданного ими государства и начертав на своих знаменах лживые лозунги, коммунисты объявили себя поборниками правды и в качестве таковых любые неточности, сказанные о них, вызывают их истощный вой "о лживости эмигрантской (буржуазной, западной и т.п.) печати".

А то, что утверждает В. Перелешин, более, чем неточность. Дело не только в том, есть ли в учебных программах та или иная тема, но и в том, что нельзя из положения "В СССР образование ниже, чем в Царской России", делать вывод, что "в СССР образование низкое". Если первое положение соответствует истине, то второе абсолютно неправильно: не говорим же мы так про образование, например, в Канаде, а между тем московские студенты несравненно образованнее, чем канадские — это я утверждаю, как профессор двух лучших университетов Канады — английского и французского.

2. На основании односторонне-негативных фраз у неискушенных читателей создается неверное впечатление и о жизни в СССР, и о коммунистах. Конечно, эта жизнь — страшна, а те, кто ее создал, коммунисты, — жестоки, бесчестны и малокультурны. Но время, когда эти люди гордились своим невежеством и своей жестокостью, прошло. Нет животного, более способного к мимикрии, чем коммунист. Об умении коммунистов придать себе благопристойную внешность надо повторять столько же раз, сколько мы говорим об их разбойничьей сущности. Тогда, может быть, мы не услышим от западных туристов и детей наших русских эмигрантов, вернувшихся из первой поездки в СССР, высказывания, вроде следующих: "Они и одеты со вкусом, и по-английски говорят, и старину свою любят — возили нас по древним городам. И жизнь у них интересная! Какие же они разбойники?"

А в том-то все и дело, что когда советчики возили наших знакомых и родных по древним русским городам, они сумели их провести за нос.

И мы здесь немало способствовали этому, хотя намерения у нас были самые лучшие.

Политическое направление, приданое критиком своему замечанию о самых обыкновенных опечатках, позволило мне высказать нечто полезное для тех, кто по легкомыслию или под влиянием эмоций хочет быть критичнее, чем сама правда. В конечном счете, правда всегда и действеннее и полезнее неправды.

Проф. А. Опульский

Дорогой Роман Борисович!

Прочел запоем обе Ваши книги об *унесенной России*. Многое было уже знакомо по публикациям в "Н.Ж." Захотелось отозваться. Но не имею возможности написать рецензию, где, как полагается, следует коротко изложить содержание, с некоторыми комментариями.

Занимает меня другое: мне хочется Гуля понять, найти ключ к его *самому главному*. И, как мне кажется, я нашел к Вам отмычку, и при этом у Вас самих. Вот этот ключ: "Меня всегда интересовал и интересует каждый человек, и вовсе не для какой-то "литературы", а как некое, *впервые увиденное существо*" ("*Я унес Россию*", Германия, стр. 244).

Роман Гуль — литератор, а также — аристотелевское "политическое животное", но его жадные глаза и еще, добавлю, жадные уши, видят-слышат поверх всяких политических и литературных барьеров. Пример: в Берлине Вы встретили очень уж нестандартного немецкого коммуниста Гельца. Вы пишете о нем: он не столько был коммунист, сколько — анархист. "Сарынь на кичку. Бунтарь. Сорви голова". Я сказал бы: оживший шиллеровский разбойник! Позднее советчики утопили его в Волге.

Почудилось: у Вас, Роман Борисович, глаза Константина Леонтьева, который был не только реакционером, хотевшим "подморозить Россию". Не был он и эстетом. Леонтьев предпочитал жизнь искусству. Он презирал многих своих влиятельных единомышленников и покровителей. Не прощал им — *серости*. Победоносцев для него — "без-

воздушная гробница”, старая невинная девушка. А редактор Катков — “московский публичный мужчина”. Но как ярки леонтьевские характеристики албанского разбойника и многих турок. Жаловал он и железного канцлера Бисмарка.

Вы давно уже — видный борец против большевизма. Вам не могло нравиться воспевание Маяковским Дзержинского, но вы слышали целый оркестр в его могучем голосе. Вы тоже не эстет, как и Леонтьев. Нет у Вас эстетического равнодушия к добру и злу. Вы осуждаете Керенского за допущение большевиков, но симпатизируете ему, увидев в нем “человека Добра”.

Как значителен для многих тысяч образованных русских, но и, скажем, мексиканцев, первый день въезда в Париж, в столицу мировой культуры! Особенно ярки свежие впечатления у бедных иностранцев. Я вот тоже въезжал в Париж полунищим паломником, в декабре 1938г. Но знал, что меня примет в свое “убежище” мать Мария, кормившая нас преимущественно гороховым супом. А Вы в начале 30-х гг. надеялись остановиться у Б.И. Николаевского, но его не было дома. Париж обернулся Вам не “нотр-дамами”, не “этуالياми”, а бедной подгородчиной. Что увидели Вы? “Боже мой, как заброшены эти седые улочки, как грязны тупички, как нечистоплотен, сален великий город...”. Но тем прекраснее еще неувиденные истинные красоты Парижа и его особенная атмосфера в бесчисленных бистро: и там зачастую грязновато, но и как-то празднично, как-то либерально, не политически, а лирически...

Хорошо показали Вы и русский шоферский Париж. Кабачки, где русская шоферская братия запивала пинаром российскую и свою собственную трагедию. “Ведь шоферствовали бывшие гвардейцы. Был у них свой “сентимент” в романсе “Замело тебя снегом, Россия”... и иногда особенное упоение отчаянием, которое так гениально выявил в своей поэзии Георгий Иванов. В его стихах слышится и заунывное “Замело”, но и цинизм чуть ли не “сквозь слезы: “Хорошо, что нет России... Хорошо, что никого. Хорошо, что ничего.. Что никто нам не поможет И не надо помогать...”

Режут, рвут эти строки Георгия Иванова, но и как-то странно оживают. Тайна поэзии не в том ли, что в ней минусы иногда звучат, как плюсы. Это то очищение, катарсис, которое отметил еще Аристотель. Как это верно Вами угадано: Георгий Иванов поднялся на свои лирические высоты в залитых винищем, прокуренных бистро русского

шоферского Парижа.

Для многих это все — мелочи, но я, как, вероятно, и Вы, готов поклоняться "всесильному богу деталей" (Пастернака).

Вы не боитесь говорить "непопулярные вещи". Когда Вы лежали на полу киевского Педагогического музея и ждали, что вот-вот Вас с братом прикончат самосудом одичалые петлюровцы, Вы "возненавидели всю Россию, от кремлевских псевдонимов до холуев-солдат, весь народ, допустивший в стране всю эту кровавую мерзость. Я чувствовал всем существом, что в такой России *у меня места нет.*" Вас тогда спасли эвакуировавшиеся с Украины немцы: они вывезли Вас с братом в Германию. Но позже, в Третьем рейхе, Вам, хотя и недолго, пришлось посидеть в нацистском концлагере.

Что и говорить — Ваше русоненавистничество в Киеве было мимолетным. Вы остались русским, русейшим человеком, и, действительно, унесли в Германию, Францию и Америку все лучшее из России — о, не только литературу, культуру, а и русскую широту. Но не русскую узость, а ведь есть и такая!

Как хорошо Вы описали пение и пляску в русском ресторане Тары-Бары на берлинской Нюрнбергерштрассе, где "красносапожные (хористы) так аполлоно-григорьевски стонут "две гитары, зазвенев, жалобно заныли", что за самую душу берут".

Вы за дело браните Иосифа Бродского. В одном из интервью он сказал, что качественно нет большой разницы между жизнью в советском концлагере или в нью-йорском Сентрал Парке. Но я знаю или знал Бродского. Он ярко-талантлив и в поэзии, и в жизни. Как-то мы сошлись с ним... на Державине. Я ему: Стою перед Державиным на коленях. Он мне: А я перед Державиным на брюхе ползаю.... Позднее мы и выпили за Державина, но общения уже нет.

Восхищает описание пира на Вашем хуторе, где вся семья Гулей угощает помогавших в молотье гасконских крестьян-соседей. Угощали Вы их наполеоновским супом, золотыми курами, приправленными крепкими прибаутками гасконских мужичков и парней (стиль Рабле). Мне захотелось заказать тысячи оттисков этой главы и разослать их во все колхозы и совхозы СССР. Русские тоже умели пировать, и теперь могут наскрести всякие "вкусности", но как это теперь трудно, и какое мрачное, совсем невеселое "пити" теперь в России.

Замечу: давно бы следовало написать книгу о вкладе в русскую культуру — эмигрантском. Я лично особенно ценю пересмотры русской

культуры у В.В. Вейдле и у Г.П. Федотова. Это пересмотры под углом христианства. Для полемики годится и еретическая "Русская идея" Бердяева (все русские или нигилисты или апокалиптики). Кое-кто в Москве их читает, ценит, но наши "третьи" мало интересуются старой эмиграцией.

Ефим Эткинд, весьма почтенный литературовед, писал, что нет литературы без народа. Как это неверно и вот именно Вы в Вашей Германии и в Вашей же Франции, описывая не только литературный, а и житейский быт, опровергаете псевдотезис Эткинда. Да, был русский народ в Берлине 20-х гг. и в Париже: Пасси, ведь, — русский городок.

Жду Третьего тома Ваших воспоминаний: Россию, унесенную в Америку

Шлю самый дружеский привет

Ваш Юрий Иваск

4. X. 1984

БИБЛИОГРАФИЯ

Александр Давыдов: Воспоминания. Париж 1983, 288 стр.

Александр Васильевич Давыдов (1881-1955) — камер-юнкер, видный чиновник министерства финансов, богатый помещик. К его воспоминаниям приложены две генеалогические таблицы. Его родство и свойство включает многие дворянские семьи. Поэт Денис Давыдов — его родственник. Он — правнук декабриста В.Л. Давыдова. В давыдовском украинском имении Каменка находилась управа Южного общества (декабристов). Там Пушкин писал *"Кавказского пленника"* и посвятил стихи В.Л. Давыдову. Позднее в Каменке жилал свойственник Давыдовых Чайковский, писал в этой усадьбе музыку к опере *"Евгений Онегин"*. По матери А.В. Давыдов происходит от светл. князей Ливен. В своем родовом гнезде в Курляндии Ливены были лояльными подданными русских царей, но оставались немцами. В давыдовской генеалогии находим и французского эмигранта, графа Лаваля: его дочь "Каташа" была замужем за кн. С.П. Трубецким — неудавшимся диктатором декабристов. Мелькают имена Раевских, Долгоруковых, кавказского наместника генерала Ермолова. Родословие Давыдовых лишний раз подтверждает, что в Петербургской империи культуру *делало дворянство*. Оно создавало империю, но оно же и разрушало ее руками декабристов и вплоть до кн. Г.Е. Львова, председателя совета министров незадачливого февральского Российского государства.

А.В. Давыдов склонен декабристов идеализировать. В основе их мировоззрения, пишет он, "лежали два чувства: любовь к человеку и любовь к свободе". Правда, мы находим еще и тщеславие и честолюбие, как, впрочем, во всех политических движениях. Если бы Пестель пришел к власти, он создал бы тоталитарное государство, наподобие якобинского, и пролил крови больше, чем все Романовы за двести лет и больше, чем Пугачев, хотя надолго не удержался бы. В книге М.С. Це-

тлина "Декабристы" живо воспроизводится монолог Пестеля в беседе с "добродушным" В.Л. Давыдовым: он перечисляет имена Романовых, которых следовало бы вырезать! Конечно, немало было и благороднейших гуманных декабристов — кн. А.И. Одоевский, Лунин, Пущин и др.

Но никто из этих "идеалистов" не знал ни крестьян, ни даже солдат, которых декабристы обманули, призывая присягать в. кн. Константину, а тот уже за несколько лет до того отказался от прав на престол.

Ценное в книге: А.В. Давыдов правдиво, живо воспроизводит дворянско-помещичий быт в давыдовских имениях — в славной культурными традициями украинской Каменке, в крымском поместье Саблы. Этот камер-юнкер и либерал (далекый от политики) был помещиком нового типа эпохи столыпинских реформ. Он очень убедительно пишет о хозяйственном подъеме в России после революции Пятого года. Он — умный бюрократ, служивший в Петербурге, но также и отличный хозяйственник. Уже после октябрьской революции крестьяне в Саблах выбрали его в совет по управлению конфискованным имением. Все же ему вскоре пришлось бежать от большевиков.

Живо передает А.В. Давыдов и свои военные наблюдения: он служил рядовым в русской армии, воевал в Манчжурии. Пусть круг его солдатского опыта ограничен, но ему удалось многое увидеть и понять: его поражала нерешительность, робость военного командования (постоянные отступления после успехов).

Интересна глава о единственном декабристе-еврее Гирше-Григории Переце (его семья перешла в лютеранство). Интересны и материалы в приложении. А.В. Давыдову хотелось выяснить — в какой степени иностранные миллионеры помогали революционному движению в России. Главным жертвователем был нью-йоркский банкир Шиф. Русское правительство при С.Ю. Витте пожелало вступить с ним в контакт. Но Шиф, как и парижский и лондонский Ротшильды, заявил, что дело запоздало, и с Романовыми не может быть заключено мира. В связи с этим А.В. Давыдов переписывался с М.А. Алдановым.

Книгу с большим тщанием подготовила к печати дочь А.В. — О.А. Давыдова-Дакс. Она вместе с мужем несколько раз побывала в Сов. Союзе, и ей позволили посетить многие декабристские места на Украине и в Сибири. Эта книга займет достойное место в русской историко-мемуарной библиотеке.

Юрий Иваск

Достоевский. Материалы и исследования. Под ред. Г. М. Фридендера, Л., Наука, 1983, 277 стр.

Летом 1983 г. под редакцией Г. М. Фридендера вышел сборник "Достоевский. Материалы и исследования". Книга эта интересна с разных точек зрения. Она — пятый том издания "Достоевский и современность" и состоит, как и прежние тома, из четырех разделов: 1) Достоевский и современность, 2) Неопубликованные тексты Достоевского, 3) Статьи и исследования, 4) Сообщения, заметки, новые материалы.

Вступительная статья *Г. М. Фридендера*, по обыкновению, написана в ползучем духе советчины, с пресмыкательством и несколькими ссылками на Ленина. Отбрасывая всё "несущественное" в творчестве писателя, Фридендер делает из Достоевского участника борьбы "за мир, за демократию и социализм". Куда же дальше!

В опубликованном кратком письме к неизвестному *Максим Горький* критикует присланную рукопись и подчеркивает, что Достоевский и Толстой крайне тенденциозны в художественных произведениях.

Интересен лоскуток записей к роману "Братья Карамазовы" и отличный комментарий к ним *Т. И. Орнатской*, исправляющий неточности комментария к тридцатитомному изданию Достоевского. Следует отметить, что в конце двадцатых годов немецкое издательство "Piper Verlag" откупило у правительства СССР целый том черновиков к "Братьям Карамазовым", переведя на немецкий с интересным введением проф. Комаровича. Об этом издании писали многие, и я в том числе. Но что стало с оригиналом, куда он делся? Подбираем лоскутки, заметки на конвертах писателя. А где же черновики?

Статья *В. П. Владимирцева* интересна попыткой выделить фольклорный материал в "Бедных людях", главным образом, в ряде фраз Девушкина, типа "вороны судьбы".

Статья *Г. К. Щетинникова* об эволюции сентиментального и романтического характеров в творчестве молодого Достоевского, по моему мнению, поверхностна и часто уходит в сторону от этой сложной проблемы. *А. В. Архипова* занята отношением Достоевского к Карамзину. В статье говорится о значении влияния историка на идеологию писателя. Она внимательно изучила записную тетрадь Достоевского 1874-1875 гг. с критикой реформ и личности Петра I. Замечу от себя, что не следует упускать влияния славянофилов (Хомяков) на отрицательное отношение писателя к Петру Великому. Сверх того, не

использован полностью и "Дневник писателя".

Особое внимание следует обратить на перепечатанную статью Ю. Ф. Карякина "Зачем хроникер в 'Бесах' ". Замечу, более года, как лежит мой ответ Ю. Карякину, ожидая печати. Само значение хроникера в романе неоспоримо и хорошо подчеркнуто Карякиным. Но беда в том, что он из кожи лезет, доказывая недоказуемое. Чего стоят прековарные слова Достоевского в эпиграфе к статье самого Карякина! — "Пусть потрудятся сами читатели". Но дело, с моей точки зрения, сложнее. В романе голос автора раздваивается, и, кроме Хроникера, слышится и Достоевский. Центральная идея статьи Карякина — свалить в одну кучу весь терроризм, Кампучию и убийство Альдо Моро. Терроризм, а не коммунистические эксперименты вот-де против чего боролся Достоевский. Шигалевщина и диктатор, — это не о будущих коммунистах в СССР, не о культе личности и уничтожении миллионов в СССР, нет. Так Карякин препарирует весь смысл "Бесов", подкрашивает, где хочет.

Статья А. И. Батюто разбирает отклики на "Анну Каренину" в "Дневнике писателя". Н. Ф. Богданова в своей дельной статье анализирует критические отклики Достоевского на роман Тургенева "Новь", намеки и упреки в "Дневнике писателя" за 1877 г.

В тщательно исполненной, на шестнадцать страницах, статье В. Е. Ветловской трактуется вопрос о Pater Seraphicus. Она указывает, что возможны два источника для наименования Старца Зосимы Pater Seraphicus: это "Фауст" Гёте и житие Франциска Ассизского. В тридцатые годы между составителями словаря к художественным произведениям Достоевского шли споры о происхождении этого наименования в "Братьях Карамазовых". Думаю, что В. Ветловской вполне удалось доказать, как источник, житие Франциска Ассизского. Мы тогда в Праге в 1930-х годах (А. Бем, С. Завадский, Р. Плетнев и Д. Чижевский) этот вопрос не решили. Хочу сделать лишь одно замечание: Достоевский свободно читал по-немецки и к переводу Н. Холодковского из "Фауста" следовало бы добавить параллельно немецкий текст.

В разделе "Сообщения и заметки" есть кое-что интересное о жизни молодого Достоевского, об отзыве о писателе А. В. Дружинина, Достоевский во Флоренции 1868-1869 гг., записи писателя в "Сибирской тетради" и т. п.

Есть в сборнике отдел, который бы хотелось назвать "Пробудившиеся души", это — "Деятели советской русской культуры о

Достоевском". Поэты, писатели, музыканты, переводчики отвечают на пять вопросов редакции:

1. Когда познакомился с произведениями Достоевского и какое было впечатление?
2. Оказал ли писатель влияние?
3. Любимое произведение Достоевского.
4. Место Достоевского в русской и мировой литературе.
5. Какие стороны творчества Достоевского наиболее важны для нашего времени?

Отвечая, поэт *Г. Я. Горбовский* подчеркнул необходимость перечитывать "писателя-друга". Горбовский прошел и детдома и трудколонию, для него Достоевский — "писатель — покровитель и сомученик". В "поисках тепла" помогли его сердцу кн. Мышкин, Алеша Карамазов, Соня Мармеладова и Старец Зосима!: "На всю жизнь любовь к "Идиоту"... Люблю самое имя писателя... Душа оживает, ободряется разум... Достоевский поднимал вопросы полного звучания: добро и зло, правда и ложь, *Бог* и *дьявол*... Страдания воспитали в нем подвижника... Как личность, он цельнее Льва Толстого, христианствовавшего мимо... Книги Достоевского должны стать настольными".

В отзыве лауреата *Д. А. Гранина* интересно указание на последовательность увлечений произведениями Достоевского: "Преступление и наказание", "Идиот"... теперь "Братья Карамазовы".

Лауреат-переводчик, небезызвестный *Н. М. Любимов*, ныне покойный: "На мое духовное развитие никто из писателей не оказал такого мощного и благотворного влияния, как Достоевский... Он ведет читателя трудными путями, но сквозь зло к добру... сквозь тьму к свету. Радость Достоевского — выстраданная радость, и тем она ценней и дороже".

Особо следует выделить ответ крупнейшего ныне писателя на земле России, *В. Г. Распутина*. Привожу краткие выдержки: "Достоевский стоит не в ряду самых великих имен мировой литературы, а над ними, выше их. Это писатель другого горизонта, где ему нет равных... Он остается самой строгой, взыскующей совестью литературы... Кроме того, духовной наукой огромного нравственного и общественного действия... Не было и не будет явления в литературе более глубокого, более центрального, необходимого, чем Достоевский. Человеческая мысль дошла в нем, кажется, до предела и заглянула в мир запредельный..."

Похоже, что кто-то остановил руку великого писателя и не дал ему закончить последний роман... Это было больше того, что позволено человеку... Духовность. Главное, основное содержание человеческого бытия, которое, как показало прошедшее после смерти Достоевского столетие, не признает даже самых красивых и удобных подмен и жестоко мстит за них".

Р. Плетнев

ПРОЗА И СТИХИ КОНСТАНТИНА ВАГИНОВА

Недавно в Соединённых Штатах был переиздан роман Константина Вагинова "Козлиная песнь", печатавшийся в 1926-27 годах в сокращённом виде в советских периодических изданиях, а позже, в 1928 году, выпущенный отдельной книгой.

Переиздание осуществлено объединением книголюбов и литературоведов "Серебряный век". Они предпринимают энергичные шаги к тому, чтоб переиздать и другие незаслуженно замолчанные из-за притеснений цензуры в Советском Союзе прозаические и поэтические произведения Константина Вагинова (романы "Труды и дни Свистунова", "Бахчиада", поэтические сборники, а также стихи и рассказы, разбросанные по разным периодическим изданиям).

Ведутся переговоры о публикации поэтических и прозаических произведений (романа и рассказов) Вагинова, оставшихся в рукописях, которые вывезены недавно за границу. Содержание этих рукописей, как утверждают сотрудники "Серебряного века", таково, что ни один советский журнал, ни одно советское издательство не решится их опубликовать.

Константин Вагинов скончался в 1935 году, преследуемый критикой и цензурой. Почему так настойчиво стремятся его издать за рубежом? Издатели "Серебряного века" считают, что стихи и проза Константина Вагинова выдержали испытание временем, сохранив и в нашей современности смелость мысли и формальную новизну. Например, вот как Тентелкин, герой "Козлиной песни", отзывался о партийном надзоре в Советском Союзе после постановления ЦК РКП(б) в 1925 году в

перестройке литературных организаций: "Современники отличаются невозможной формой изложения, отсутствием духа критики, невежеством и чрезвычайной наглостью... при упадке гуманитарных наук и при крайней скудости в хороших книгах возможна лишь пустая болтовня, а не научный спор..."

Так было в середине двадцатых годов. А разве сейчас положение улучшилось? Куда там: за эти долгие десятилетия официальная критика в Советском Союзе стала гораздо хуже тогдашней.

Не прошло и года после публикации "Козлиной песни" отдельным изданием, как Рапповские зоилы (руководители Ленинградской Ассоциации пролетарских писателей) обрушились на крупного критика Георгия Горбачёва (он погиб в ежовщину) за то, что он отметил, что проза позднего Сологуба, поэзия и рассказы Михаила Кузмина, новелла Осипа Мандельштама "Египетская марка" и проза Константина Вагинова во многих отношениях явления одного и того же порядка. Эти заявления Горбачёва до сих пор не утратили свою ценность. Горбачёва осудили за то, что он, вместо того чтобы похоронить, вытеснить из литературы и Мандельштама и Вагинова, воскрешал обоих, да еще с Кузминым и Сологубом в придачу. При таком подходе, действительно, невозможны ни серьёзная дискуссия, ни научный спор, и издатели "Козлиной песни" имеют основания представить Вагинова лучшим из предтеч теперешних диссидентов.

В романе Константина Вагинова "Козлиная песнь" запечатлены события из дореволюционной и пореволюционной жизни многих деятелей культуры и искусства XX века: Бахтина (историка литературы с мировым именем, автора монографий о Достоевском и Рабле, притесняемого при Сталине и частично воскрешённого после смерти диктатора), Валентина Стенича (поэта, писавшего в письменный стол, редкого знатока иностранной литературы, отлично зарекомендовавшего себя переводами Джойса и романов Дос Пасоса (в ежовщину Стенич был арестован и погиб), Адриана Пиотровского (человека большой культуры и универсальных дарований, он — переводчик Аристофана и Катулла, киносценарист, автор бесподобного сценария фильма "Чортово колесо", соавтор либретто балетов

"Болт" и "Светлый ручей" Шостаковича, искусствовед и музыковед. Адриан Пиотровский был расстрелян в ежовщину), Венедикта Марта (поэта-футуриста и автора авантюрно-приключенческих романов для юношества. Венедикт Март был расстрелян в ежовщину, а его сын, живущий ныне в Америке известный русский поэт Иван Елагин, выведен в романе "Козлиная песнь" семилетним мальчиком).

Однако, было бы непростительной ошибкой смотреть на "Козлиную песнь", как на своего рода альбом зарисовок с натуры и выискивать едва ли не в каждом персонаже какого-либо определённого предшественника, действительно существовавшее лицо. Константин Вагинов недаром увлекался театром трансформации; так, он ценил Вениамина Кавецкого, который в своей комедии "Станция Опоздай" один сыграл свыше двадцати мужских и женских ролей сразу. И как играл! Не верилось, что играет один актёр, а не целая труппа сразу.

Зося Кавецкая не без содействия Вагинова писала маленькие комедии, где одна играла до пятнадцати женских и мужских ролей.

И Константин Вагинов даёт возможность персонажам своего романа играть роли не одного, а нескольких действительно существовавших лиц. В "Козлиной песне" Вагинов шёл путём смелых и неожиданных обобщений, а не путём натуралистических зарисовок.

Я слышал еще в Ленинграде, в литературных кругах, что в образе неизвестного поэта Вагиновым, по всей вероятности, запечатлены Велемир Хлебников, Валентин Стенич и Адриан Пиотровский, в образе Сентября — Венедикт Март и Оскар Эрдберг, в образе Миши Котикова — историки литературы проф. Павел Медведев (и он погиб в ежовщину и был посмертно реабилитирован), Владимир Орлов и Григорий Гуковский. При желании можно было бы выявить многих реальных прототипов персонажей в "Козлиной песне".

Если есть театр трансформации, то "Козлиную песнь" с полным правом и в том же смысле можно назвать романом трансформации.

Но всё же нельзя сбрасывать со счёта одно крайне важное обстоятельство: в "Козлиной песне" выведены угнетённые и

порабошённые деятели русской культуры. Поиски же их прототипов показывают, что духовный гнёт конца двадцатых годов стал предпосылкой их физической ликвидации в ежовщину. Вот почему так важны поиски прототипов. Дальновидец Константин Вагинов показывает в "Козлиной песне", что чем человек талантливее, тем обречённой он творчески и духовно: путь на индивидуальную творческую Голгофу неизбежен и непредотвратим.

Но в то же время неизбежно и непредотвратимо духовное и творческое воскрешение в будущих временах обречённых в настоящем. Так, неизвестный поэт говорит Тептелкину, главному герою "Козлиной песни", что нас гонят теперь, но мы вернёмся потом, потому что "мы неизбежны".

В "Козлиной песне" Вагинов, безусловно, оказался дальновидцем: верно, что многие прототипы его книги, действительно, посмертно вернулись в русскую культуру — Павел Медведев, Валентин Стенич, Адриан Пиотровский и другие, не говоря уже о тех, у кого Вагинов учился и как прозаик и как поэт, то есть о Фёдоре Сологубе, о Михаиле Кузmine, об Осипе Мандельштаме.

"Пусть, — думает Тептелкин, главный герой романа, — ярко освещены электричеством деревни, пусть мычат коровы в примерных совхозах, пусть сельскохозяйственные машины работают на лугах, пусть развёртывается жизнь более красочная, чем Эйфелева башня — чего-то не хватает в новой жизни".

Чего именно не хватает? Творческой независимости, европейской культуры, совершенной любви и тайной свободы в пушкинском понимании этого слова. Пушкину принадлежат бессмертные слова:

Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой
И неподкупный голос мой
Был эхом русского народа.

А в послании Апостола Иоанна сказано, что совершенная любовь изгоняет страх.

Блок незадолго до смерти говорил, что у писателя отнимают тайную свободу и дышать ему становится нечем. То же болезненно переживает Тептелкин в "Козлиной песне".

Почему Вагинов назвал свой роман "Козлиной песней"?

Крупные писатели "Серебряного века" (Вячеслав Иванов, Мережковский, Гиппиус и другие) часто обращаются к античной мифологии, делая древнегреческих и древнеримских богов и полубогов как бы оракулами современности.

После 1922 года, то есть после высылки или добровольно-принудительного отъезда за границу выдающихся деятелей искусства и литературы, в Советском Союзе начался мучительный процесс одичания и упрощения культуры — в этих условиях боги и полубоги вытесняются фавнами, то есть полукозлами-полулюдьми. Отсюда и "Козлиная песнь".

Персонажи романа поэты, учёные, искусствоведы, бывшие люди — действуют в дореволюционных, вполне реальных условиях. Но в переносном смысле весь роман можно назвать фавническим, с песнями и плясками, шабашем (то есть разнузданным пиром, беснованием) перед кладбищем.

В первой главе "Козлиной песни" Константин Вагинов так раскрывает замысел своего романа перед читателем:

"В городе ежегодно звёздные ночи сменялись белыми ночами. В городе жило загадочное существо — Тептелкин. Его часто можно было видеть, идущего с чайником в общественную столовую за кипятком, окружённого нимфами и сатирами. Прекрасные рощи благоухали для него в самых смрадных местах, и жеманные статуи казались ему сияющими солнцами из Пантелейского мрамора".

Роману "Козлиная песнь" предпослано, как пишет сам Вагинов, "предисловие, произнесённое появляющимся автором". В нём мы читаем:

"Теперь нет Петербурга. Есть Ленинград: но Ленинград нас не касается — автор по профессии гробовщик, а не колыбельных дел мастер... Любит он своих покойников и ходит за ними ещё при жизни, и ручки им жмёт, и заговаривает, исподволь доски заготавливает, гвоздики покупает, кружев по случаю достаёт".

Слава Богу, что гонимая церковь хоть немного скрашивает жизнь, хотя и к церкви Вагинов относится не без иронии. Вот как он описывает в "Козлиной песне" пасхальные переживания Марьи Петровны, жены Тептелкина:

”...Марье Петровне, утратившей религиозное чувство, казалось, что она участвует в карнавальном шествии. Не будучи уже христианкой, она любила церковь за обряды, как архаический театр и условное представление. По тем же соображениям она предпочитала церковь Тихона живой церкви. Она считала, что возвышенное представление требует особого языка и некоторой непонятности, в то время как живая церковь, не поняв этого, стремилась к упрощенчеству, тем самым уничтожая психологическую рамку, низводила высокое действие на степень быта.

Так думала Марья Петровна, идя с мужем по мосту Лейтенанта Шмидта... и держа в руке фонарик, как участник возвышенного театрального действия. Тептелкин тоже нёс свечку в картузе из вчерашней вечерней ”Красной газеты”.

У кандидатов на кладбище есть одно несравненное преимущество перед живыми: они по инерции живут духовной и интеллектуальной жизнью и дышат воздухом тайной свободы и европейской культуры, — пусть в разреженном состоянии. Но у них болезненное ощущение отрыва и от европейской культуры и от бывшей дореволюционной культуры, бережно охраняемой русской зарубежной литературой и искусством.

Среди литераторов третьей эмигрантской волны и среди писателей из Советского Союза есть такие, которые пренебрежительно относятся к русской зарубежной литературе, считая её архаичной, устарелой. Но и в Советском Союзе и среди представителей третьей эмиграции есть писатели и критики, которые находят, что у зарубежной есть то, чего кровно недостаёт советской литературе: преемственная связь с ”Серебряным веком”, европейская культура и интеллектуализм.

На Вагинова теперешние издатели смотрят, как на посредника между советской и русской зарубежной литературой.

Мне, например, говорили, что стихи Константина Вагинова подготовили третью эмиграцию к живому восприятию таких русских зарубежных писателей, как Георгий Иванов, Ирина Одоевцева, Борис Поплавский, Игорь Чиннов, Юрий Иваск и других.

В известном смысле Константин Вагинов всегда был таким

посредником. Крупный зарубежный поэт Георгий Иванов писал мне, что помнит Вагинова застенчивым юношей, который из скромности долго не решался показать Гумилёву свои совсем неплохие ранние поэтические опыты. Позднее поэзией и прозой Вагинова заинтересовался Фёдор Сологуб, а Михаил Кузмин находил, что Вагинов пишет породистые стихи, добавим от себя, не менее породистую прозу.

Вагинов был связан с литературным объединением обереутов, куда входили Олейников, Хармс, Заболоцкий. Замкнутый по натуре, Вагинов, однако, держался особняком. Был он и литературным консультантом начинающих авторов, которые именно от него узнавали о стихах и прозе Сирина (псевдоним раннего Набокова), о поэзии Бориса Поплавского, а также о таких поэтах, как Эзра Паунд, Элюар, Годфрид Бенн, Томас Диллон и других. Вагинов хорошо знал несколько языков, знал и латынь и древнегреческий.

Вагинова замолчали в советской литературе и недооценили в русском зарубежье, которому он оказал неоценимую услугу. Тем более заслуживает внимания теперешнее переоткрытие творчества Вагинова.

На роман Константина Вагинова "Козлиная песнь" обратил внимание крупный критик Георгий Адамович, давший в "Звеньях" критический разбор этой книги. Далеко не всё в "Козлиной песне" вызвало одобрение Адамовича; но критик даёт понять, что Вагинов интуитивно предвосхитил то явление мировой литературы, которое получило название "искусство абсурда". В известном смысле это верно! У Вагинова, как и у Андрея Платонова, есть что-то, предвосхищающее пьесы Сэмюэля Беккета и Ионеско, с одной стороны, и такие книги, как "Из конской пасти" Джойса Кери (название это идиоматическое, может быть, по-русски было бы уместно озаглавить роман, как "Правда матка" или "Режь правду-матку!").

Когда я написал предисловие ко второму изданию "Петербургских зим" Георгия Иванова, моим благосклонным консультантом был Марк Алданов, автор рецензии на первое издание этой книги в журнале "Современные записки". Поведал Алданов о своей беседе с крупным пушкинистом и теоретиком

литературы Борисом Томашевским, который в конце двадцатых годов был приглашён в Сорбонну для чтения лекций.

”У вас есть Жоржик Вагинов, а у нас — Костик Вагинов. Оба очень талантливы, но, однако, не без склонности к фантазёрству и мистификаторству. Оба — блудные сыновья деформированной эпохи”. Может быть то, что получило название ”искусства абсурда”, и объясняет до некоторой степени характер деформированности преобразуемой Вагиновым эпохи.

Алданов, тем не менее, очень высоко оценивал чувство Георгием Ивановым эпохи в ”Петербургских зимах” и яркость выведенных им характеров. Теми же бесспорными, на мой взгляд, достоинствами отличается и ”Козлиная песнь” Константина Вагинова.

Вяч. Завалишин

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- А. Солженицын. Публицистика. Статьи и речи. ИМКА Пресс. Париж. 1981 (364 стр.)
- А. Солженицын. Красное колесо. Август четырнадцатого. Узел I, главы 1 - 48. (454 стр.). Узел II, главы 49-82 (545 стр.). ИМКА Пресс. Вермонт-Париж. 1983.
- А. Солженицын. Красное колесо. Октябрь шестнадцатого. Узел II, главы 1-37. (591 стр.). Узел II, главы 38-75 (стор. 588). ИМКА Пресс, Вермонт-Париж, 1984.
- Г.П. Федотов. Тяжба о России. III. Статьи. 1933-1936. ИМКА Пресс. Париж. 1982 (335 стр.)
- Н. Бердяев. Самопознание. Опыт философской автобиографии. Изд. второе, исправленное и дополненное. ИМКА Пресс. Париж. 1983. (424 стр.)

- Сергей Клычков. Сахарный немец. Изд. "Федерация". Артель писателей "Круг". Москва, 1929. Преиздано ИМКА Пресс. Париж 1982. (448 стр.)
- А. Бенигсен. Мусульмане в СССР. ИМКА Пресс. Париж. 1983. (86 стр.)
- Глеб Струве. О четырех поэтах — Блок, Сологуб, Гумилев. Мандельштам. Overseas Publications. Лондон 1983. (185 стр.)
- Мария Разумовская. Марина Цветаева. Миф и действительность. Перевод с немецкого Е.Н. Разумовской. Overseas Publications. Лондон. 1983. (416 стр.)
- Памяти Александра Блока 1880 - 1980. Статьи. Overseas Publications. Лондон. 1980. (157 стр.)
- Марк Поповский. Русские мужики рассказывают. Последователи Толстого в Советском Союзе. Overseas Publications. Лондон. 1983 (314 стр.)
- Лев Друскин. Спасенная книга. Воспоминания ленинградского поэта. Overseas Publications. Лондон. 1984 (409 стр.)
- М. Гершензон. Мудрость Пушкина. Т-во "Книгоиздательство писателей в Москве". Москва. 1919. Reprint by Ardis. 1983 (229 стр.)
- Олдос Хаксли. Кром желтый. Перевод Г. Бессермана. Ардис Паблишерс. Анн Арбор, Мич. 1983 (160 стр.)
- Людмила Магон. Письма. Начало повести. Ардис Паблишерс, Анн Арбор. 1983 (179 стр.)
- Иосиф Бродский. Мрамор. Пьеса. Ардис. Анн Арбор. 1984 (62 стр.)
- Несломленная Польша на страницах "Русской Мысли". Составила Наталия Горбаневская. Изд. Русской Мысли. Париж. 1984 (277 стр.)
- Лазарь Флейшман. Борис Пастернак в тридцатые годы. Магнес Пресс. Иерусалим, 1984. (444 стр.)
- Дора Штурман. Земля за холмом. Изд. Эрмитаж. Анн Арбор, Мич. 1983. (255 стр.)
- Ф.А. Хайек. Дорога к рабству. Изд. Нины Карсовой. Лондон. 1983.(286 стр.)
- Н.А. Скородинский. Потеря Россней Зимнего дворца. Изд. "Заря". 1983. (67 стр.)
- Ольга Жигалова. Душа вещей. Изд. Товарищество Зарубежных Писателей. Нью Йорк. 1982 (210 стр.)
- Николай Попович. Проблемы этики. Изд. автора. Аргентина. 1982. (77 стр.)

- Михаил Армалинский. Мускулистая смерть. MIP Company St. Louis Park, Мп. 1984. (150 стр.)
- Борис Нарциссов. Письмо самому себе. Стихи, рассказы. Нью Йорк. 1983. (84 стр.)
- Сергей Рафальский. Николин Бор. Изд. "Альбатрос". Париж. 1984. (223 стр.)
- Генрих Шахнович. Рассказы. Тель-Авив. 1983. (176 стр.)
- Александр Николаев. Так это было. Изд. автора. 1982. (181 стр.)
- Д.А. Антонов. Бедные люди. Изд. Чеховоград. Западная Германия. 1983. (160 стр.)
- Д.А. Антонов. Западня. Чеховоград. 1983. (232 стр.)
- Д.А. Антонов. 1988. Чеховоград. 1984. (207 стр.)
- Михаил Армалинский. После прошлого. Стихи 1977 - 1981. Изд. Эрмитаж. Анн Арбор, Мич. 1982 (109 стр.)
- Анна Ахматова. Сочинения, Том третий. ИМКА Пресс. Париж. 1983. (636 стр.)
- Иосиф Бродский. Новые стансы к Августе (Стихи. 1962 - 1982) Ардис. Анн Арбор, 1983. (148 стр.)
- Н. Горбаневская. Ангел деревянный. Стихи. Ардис. (208 стр.)
- Лирическая пристань. Стихи. Клавдия Пестрово, Галина Солева, Ольга Софонова. Сидней, Австралия. 1984. (121 стр.)
- Инна Лиснянская. Дожди и зеркала. Стихи. ИМКА Пресс. Париж. 1983. (259 стр.)
- Осип Мандельштам. Избранная поэзия. ИМКА Пресс. Париж. 1983. (190 стр.)
- Михаил Юнн. Срезы. Стихи. Нью Ингланд Пабблишинг Компани. Холнок. 1984. (200 стр.)

**УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ "НОВОГО ЖУРНАЛА"
[С 136 ПО 157 КНИГУ]**

ПРОЗА

- Аксельрод, Д.* — Война без прикрас, 153.
- Булгаков, М.* — Торговый Ренессанс (Публ. *А. Райт*), 137.
- Бунин, И.* — Неопубликованные рассказы (Публ. *М. Грин*), 142.
- Вейдле, В.* — Вдвоем друг без друга, 136, 137.
- Величковский, А.* — Дар победы, 144.
- Гуль, Р.* — Я унес Россию, т. I. 136, 137, 138, 139, 140.
т. II. Россия во Франции, 144, 145, 147, 148, 152, 153, 155. т. III, 157.
- Дубинин, М.* — Гоголь и Оптинские старцы, 147; "Жестокий век" Пушкина, 154; Над собою смеетесь!, 150; Соседка Пушкина, 145.
- Ершов, А.* — На Байкале, 156.
- Ильин, С.* Персидская сирень, 157.
- Кашкаров, Ю.* Егорьевск, 151; Исаакий и Евдокия, 150; Касимов, 153; Князь Иван Хворостинин. Слова царей и дней, 155, 157; Муром, 154; Тем летом в Тарусе, 152.
- Кротков, Ю.* — Арест, 146, 147, 148, 149; Игра в бильярд, 144; Козел отпущения, 145; Ностальгия, 143; Святое Семейство, 142.
- Кудрявцев, В.* — Дома и в лодке с Леонидом Зуровым, 152.
- Маслей, О.* — Сон, 139, 141.
- Палий, П.* — Оловянные солдатики. Глава из романа, 152; Освобождение, 136; Поживем еще, 156.
- Писарев, В.* — Кизиловое дерево, 149, 150, 151.
- Рафальский, С.* — Прощание с Россией, 143.
- Скотт Фитцджеральд, Ф.* — Три часа между полетами. Пер. *Д. Бидер*, 155.
- Сомов, Г.* — Blue Devils, 139; Пушкин, 140, 141, 142, 143.
- Таубер, Е.* — Сестры, 148.
- Федосеев, А.* — Удивительный случай, 140.
- Чивер, Дж.* — Встреча, 137.
- Яворский, С.* — Ограбленные боги, 154.

СТИХИ

- Алексеева, Л.* — Стихи, 143.

- Анстей, О.* — Стихи, 137, 142; Три стихотворения, 151; Стихи, 154.
Бобышев, Д. — Стихи, 158; Скелет Амура, 153; Стихи, 157.
Васильева, Е. — Петербургу, 139; Стихи, 141.
Величковский, А. — Стихи, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 145; Предсмертные стихотворения, 147.
Владимирова, Л. — Стихи, 136, 139, 144, 152, 157.
Войцеховский, С. — Стихи, 137.
Волкова, М. — Стихи, 146, 147, 148, 149, 150; Два стихотворения, 152.
Восемь американских поэтов. Переводы А. Радашкевича — 151.
Вулч, Н. — Картинки с выставки, 149.
Елагин, Ив. — Стихи, 137, 138, 139, 140; Олимпиада, 142; Стихи, 145, 149, 151, 155, 156.
Иваск, Ю. — Весна, 146; Внуку, 151; Дон Кихот, 139; Из цикла: Я — мещанин, 147; Моя река времен, 148; Стихи, 136, 157; Трамвай, 150; Ушедшим, 149.
Ильинский, О. — Стихи, 137, 142, 143, 145, 147, 154, 157.
Корин, А. — Стихи, 137.
Нарциссов, Б. — Стихи, 147.
Одоевцева, И. — Стихи, 144, 153.
Парнок, С. — 138, 141, 148, 153.
 Неизвестный *Борис Пастернак* в собрании Томаса П. Уитни. Публ. и вст. ст. А. Раннита, 156.
Перелешин, В. Стихи, 136, 138, 140, 141, 145, 146, 148, 150, 154, 155.
Померанцев, К. — Стихи, 157.
Радашкевич, А. — Поэт за окном, 140; Г. Иванов, 141.
Раевский, Г. — Франция, 148.
Раннит, А. — Из эстонских стихотворений, написанных по-английски, 147; Три стихотворения, 153.
Таубер, Е. Стихи, 147, 155, 157.
Тулунова, А. — Стихи, 143, 144.
Ульянов, Н. — Рим (венки сонетов), 154.
Чиннов, И. — Стихи, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155.

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

- Альтишуллер, М.* — "Москва-Петушки" В. Ерофеева и традиции классической поэмы, 146.

- Андреев, Н. — Проза Л. Ржевского, 147.
- Анстей, О. — Сама по себе (о поэте Л. Алексеевой), 141.
- Белозерский, А. — Мастер, 146.
- Блинов, В. — Поэтическая реальность Вл. Корвин-Пиотровского, 138;
Проклятый поэт Петербурга, 142.
- Боброва, Э. — Д.И. Кленовский, 138; И. Одоевцева, 146.
- Вейдле, В. — Алексис Раннит, 140.
- Голлербах, С. — Димитрий Меринов, 149; "Заметки художника", 137;
Новаторство и традиция, 141.
- Гуль, Р.Б. — К друзьям и читателям, 136; "Новому Журналу" 40 лет,
149; 65-летие А.И. Солженицына, 154.
- Дрыжакова, Е. — Гамлет Достоевского, 136.
- Зорин, Ю. — Сергей Голлербах: Приобщение к жизни, 152.
- Иванов, А. — Судьба перстня-талисмана А.С. Пушкина, 151.
- Иванов, А. — В. Комарович о христианстве и социализме у Достоевского, 136; О традиционной ошибке в оценке встреч Достоевского с Герценом, 141; Судьба рукописи "Братьев Карамазовых", 138.
- Иваск, Ю. — Образы России в мире Марины Цветаевой, 152; Похвала Российской поэзии, 150, 154, 156.
- Ильинский, П. — О "Мастере и Маргарите", 138.
- Иоанн — Павел II о Вячеславе Иванове, 153.
- Качуровский, И. — О лирике Евгена Плужника, 145; "Поэзия Европы" по-советски, 141.
- Крейд, В. — Георгий Иванов, 150; Зеркало и интерьер в романе "Петербург", 153; Стратановский и ленинградская поэтическая школа, 155.
- Крепс, М. — Анализ стихотворения Иннокентия Анненского "Моя тоска", 144; Элементы модернизма в рассказах Бунина о любви, 137.
- Лопухина-Родзянко, Т. — О стихотворении А. Блока "Девушка пела в церковном хоре", 140.
- Маркадэ, И. — Икона как зеркало трисолнечного света православия, 137; Свет и тени русского советского искусства, 139.
- Нарциссов, Б. — Две поэтессы Зарубежья, 150.
- Натов, Н. — Образ маски и маскарада в поэзии А. Блока, 149; Театральная судьба романа "Бесы", 145.
- Нумано, М. — Судьба искусства Ю. Олеши, 145.

- Опульский, А.* — Лев Толстой в работе над агиографической литературой, 151; "Легенда" А. Герцена и "Житие св. Феодоры", 148; Народные рассказы Льва Толстого и агиографические источники, 157; "Сказание о гордом Аггее" В.М. Гаршина, 153; Соперник ли поэту переводчик? 138.
- Осипович, А.* — Достоевский и литераторы, 148.
- Пахмусс, Т.* — Б. Нарциссов, 148.
- Первушин, П.* — Болезнь Достоевского и его творчество, 141; По поводу одного портрета, 139.
- Перелешин, В.* — Китайское стихотворение Фета, 141.
- Плетнев, Р.* — А. Чацкий в "Горе от ума" Грибоедова, 139; К 110-летию смерти В. И. Даля, 153.
- Резникова, Н.* — Г.В. Дерюжинский, 138.
- Ржевский, Л.* — Зашифрованный термин, 145.
- Рудинский, В.* — Кельтские мотивы в русской литературе, 156.
- Седых, А.* — Судьба "Нового Журнала", 137.
- Фесенко, Т.* — А. Величковский, 147; Память души и сердца, 157.
- Филип, В.* — Тема бегства у Василия Аксенова, 151.
- Шор, А.* — В.Т. Шаламов и А.И. Солженицын, 155.

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

- Авторханов, А.* — Людоедство в хлебной стране, 153.
- Андреев, Г.* — Из того, что было, 148.
- Бердяев, Н.* — Об антропософии, 137.
- Булгаков, М.А.* — Курс истории СССР. (Публ. А. Райт), 143.
- Бунин, И.А. и Алданов, М.А.* — Переписка (Публ. А. Зверса), 150, 152, 153, 154, 155, 156.
- Бунин, И.А.* — Письма к Б. Зайцеву (Публ. А. Зверса), 136, 137, 138.
- Волошин, М.А.* — Воспоминания о Черубине де Габриак (Публ. А. Тюрина), 151.
- Высотский, К.* — Шаляпин на Шмаровинской "Среде", 143.
- Георгиевский, Г.* — Л.Н. Толстой и Н.Ф. Федоров, 142.
- Гольдштейн, М.* — Вундеркинды 30-х годов, 154; Мемуары 20-летнего музыканта, 145, 146, 147, 148; Русский бас Александр Пирогов, 156.
- Гуль, Р.Б.* — Человек, отрекшийся от трона (Записи воспоминаний гр. Л.Н. Воронцовой-Дашковой), 147.

- Добужинский, М.В.* — Воспоминания. Отрывок из II тома, 155.
- Желудков, С. свящ.* — К размышлению о всечеловеческой церкви, 153.
- Зайцев, Б.К.* — Письма к *И.А.* и *В.Н. Буниным* (Публ. *М. Грин*), 139, 140, 143, 146, 149, 150.
- Зензинов, В.М.* — Записи беседы с *И.А. Буниным*, 144.
- Зернов, В.* — К похищению генерала Кутепова, 138.
- Иванов, Г.* и *Гуль, Р.* — Переписка через океан, 140.
- Иванова, Л.* — Воспоминания о Вяч. Иванове, 147, 148, 149, 150.
- Ивлюшкин, Н.* — Обращение ко всем христианам, 151.
- Карцов, Ю.* — Хроника распада, 137, 138, 144, 147, 148.
- Кашина-Евреина, А.* — Треть века не расставаясь, 140.
- Крыжицкий, С.* — Разговоры с Б.К. Зайцевым, 150.
- Освободите Сахарова!* — От редакции, 138.
- Павлов, Б.* — Воспоминания Ди-Пи, 151.
- Пушкарев, С.Г.* — Бегство из Праги, 147; Из воспоминаний о гражданской войне, 140; О русской эмиграции в Праге, 149, 151; Одинокий "барчук" среди классовых врагов, 139.
- Реннинг, Р.* — Первый Всероссийский кооперативный съезд, 139.
- Розанов, В.В.* — Письма к А. Измайлону, 136.
- Сердаковский, Л.* — Невозможная миссия, 141.
- Серебряков, С.* — В плену у немцев, 155.
- Серебрякова, З.Н.* — Письма к Е. Климову, 145.
- Советско-Германские отношения, 1939-1941 гг.* Документы и материалы. Публ. *Ю. Фельштинского*, 156.
- Соглашение достигнуто.* Из истории Советско-Германских отношений. Публ. *Ю. Фельштинского*, 151.
- Соколов, Ю.* — С итальянской армией на Украине, 142.
- Солидарность с "Солидарностью"* — От редакции, 146.
- Соловки.* — Публ. *Р. Мартынова*, 141.
- Стерлигов, В.* — Из воспоминаний художника, 154.
- Татищев, В.* — На рубеже двух миров, 138, 141.
- Толстая, О.* — Дождь и солнце, 136.
- Тролл, Ю.* — Гастрольная поездка на Манглышлак, 142.
- Троцкий о Сталине.* Публ. и вст. ст. *Ю. Фельштинского*, 155, 156, 157.
- Фокскрофт, Е.* — Встреча с А.Л. Толстой, 138.
- Халафова, И.* — Русские скауты на острове Проти — 1919-1920 годы, 156.

- Чехов, М.* — Письма к Ю. Елагину, 136.
Шапиро, М.Л. — Женский концлагерь, 150, 151, 152, 153, 156, 157.
Штейгер, А. — Детство, 154.

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

- Авторханов, А.* — Ислам и мусульманские народы СССР, 139; Последний съезд Брежнева, 144; Убил ли Сталин Ленина, 152.
Агурский, М. — Зоотехник Барбу, 137; Одинокий мыслитель, 138.
Белоусович, И. — Русская православная церковь в СССР, 151.
Бернштам, М. — Веймарская командировка, 139; Марксизм и контроль рождаемости в СССР, 153; Смысл коммунистического уничтожения народов, 143.
Гардер, М. — Тоталитарная анархия, 154; Горе-жрецы "исторической необходимости", 157.
Дэвис, Р. — Предтечи Августа, 154.
Иванов, А. — Д.И. Менделеев и экономическое развитие России, 157.
Кеннан, Дж. — Кризис пережит. 157.
Левецкий, Д. — Достоевский как философ, 142; О положении русских в независимой Латвии, 141; Прибалтика и СССР в 1939-1940 гг., 140; Б.Н. Чичерин, 154.
Мацкевич, И. — Победа провокации, 152; Существует ли еще Россия?, 149.
Михайлов, М. — Дэвенпорт и его книга о свободе, 145; О диссидентском движении в Югославии, 136; О "Правде и лжи коммунизма" Н. Бердяева, 140.
Моравский, Н. — "Вся власть Советам, а не партиям", 144; Осень 1905г. сквозь призму двух газет, 154.
Натов, А. — Русская периодическая печать второй половины XIX века, 155.
Новосильцов, И. — Глава о том, как совет Н.В. Гоголя помог нам спасти людей от Архипелага ГУЛАГа, 140.
Палий, П. — Неиспользованное и гибнущее наследство, 146; Размеры зла, 153; К.Э. Циолковский, 142, 143.
Первушин, Н. — "Мы" и "Они", 157; Новое о Древней Руси, 154; Последний защитник русского крестьянства, 149.
Ржевский, Л. — Андрей Седых. Далекие, близкие, 136; Андрей Седых. Пути, дороги, 143.

- Пирожкова, В.* — "Десятилетие утопистов", 137; Легенды о Сталине, 149; О коммунистической тактике, 145.
- Плетнев, Р.* — Шпенглер о Достоевском и России, 145.
- Рафальский, С.* — Класс творческой мысли, 149.
- Сегал, Б.* — Американский либерал и советский диссидент, 144; Встреча советского человека с Америкой, 145.
- Силницкий, Ф.* — "Холодом веет от Кремля", 136.
- Скалон, Д.* — А.Ф. Лосев, 150.
- Солженицын, А.И.* — Иметь мужество видеть — Не опыт раздора, но опыт единства — Конференция народов, поработанных коммунизмом, 144; Коммунизм у всех на виду — и не понят, 138; Как коммунизм калечит народы, 150; Ответное слово при получении премии, 152; Скоро все увидим без телевизора, 147.
- Федосеев, А.* — Благодетели, 147; Дела китайские, 139; Дела советские, 136; За что боролись? За что боремся?, 148; "Истинный" социализм ХЛС, 145; Кто же президент Швейцарии?, 137; Марксизм — любой дыре затычка, 141; Народ, вожди, элита, демократия, 150; Самоубийства можно избежать, 157; "Спаситель" Андропов, 152; Что хочет и чего не может Андропов? 151; Эмиграция и социализм, 155.
- Феодотов, Г.* — Республика св. Софии, 145.
- Фельштинский, Ю.* — Большевики и рабочий вопрос (1917-18), 149; Из истории нашей закрытости, 146, 147; История одной провокации, 142, 143.
- Шапиль, В.* — К вопросу возникновения экслибриса в России, 144.
- Штурман, Д.* — В тоске по утраченным абсолютам, 146; Мертвые хватают живых, 145; На вершинах и в пропастях, 156; Социализм и иерархия, 151.
- Эйкалович, игумен Геннадий* — Ф.М. Достоевский (1821-1881), 144; Идеология Св. Руси, 139; Любоумудры и славянофилы, 142; Народничество, 145; О некоторых мессианских мотивах у С.Н. Булгакова, 152; Понятие "русской интеллигенции", 155; Религиозный неоромантизм, символизм, скифство, 148; Три историсофских варианта Вл. Соловьева, 146; Укрошенный мыслитель (А.Ф. Лосев), 157.
- Яхот, И.* — Из истории советской философии и физики, 144.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

- Андреев, Н.Е.* — В. Гаррисон и А. Пайман, 147.
Андреев, Н.Е. — М. Шефтель, 148.
Вейдле, В.В. — Ю. Иваск, 136.
Величковский, А. — В. Перелешин, 144.
Домгерр, Л.Л. — Г. Лидес и Н. Моравский, 155.
Евреинов, Н.Н. — О Н.Н. Евреинове — Е. Каннак, 142.
Зернов, Н.М. — Н.Е. Андреев, 140.
Зуров, Л.Ф. — О Л.Ф. Зурове — Т. Величковская, 142.
Коновалов, С.А. — Е. Кандыба-Фоксскрофт, 149.
Кротков, Ю.В. — Р. Гуль, 147.
Крузенштерн-Петерец, Ю.В. — Н. Моравский, 153.
Нарциссов, Б.А. — Памяти друга — Т. Фесенко, 151.
Нарциссов, Б.А. — Мастер и Они — О. Анстей, 151.
Пушкарев, С.Г. — 154.
Терапиано, Ю. — Ю. Иваск, 144.
Толстая, А.Л. — 137.
Федукович, В.С. — Е. Александров, 138.
Флоровский, Г. — Т. Берд, 138.
Шмеман, прот. А. — Прот. К. Фотиев, 154.
Якобсон, Р. — Э. Станкевич, 148.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ. ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

- Авторханов, А.* Письмо в редакцию, 155.
Аренский, К. — А.Н. Бенуа, 139.
Блинов, В. — Международная конференция, посвященная Вяч. Иванову, 146.
Бугураев, М. полк. — Письмо в редакцию, 139.
Дальтон, М. — Vive ut vivas — О швейцарских и русских Штейгерах, 156.
Захарова, А. — Охота на эмигрантов, 151.
Д-р Зернов, В.М. — Судьба художника В. Шухаева, 147.
Иванов, А. — Русские ученые во Франции в 20-30-х гг., 148; Письмо в редакцию, 152.
Иваск, Ю. — Письмо в редакцию, 155, 157.
К 1000 летию крещения Руси — 136.
Кандыба, Е. — О туризме в СССР, 157.

- Книги для верующих в России. Воззвание* — 138.
- Кочевницкий, Г.* — Судьба пианиста В. Топилина, 154.
- Кускова-Прокопович, Е.* — К убийству проф. А.Л. Бема, 154.
- Левашов* — О ген. Б.А. Штейфоне, 145.
- Магеровский, Л.Ф.* — Судьба Бахметевского Архива, 143.
- Оводов, И.* — Путешествие в Оптину Пустынь, 136.
- Опульский, А.* — Об А. Л. Толстой, 140; Письмо в редакцию, 147, 157.
- От редакции* — 143.
- От Русско-Американского клуба. Воззвание* — 145.
- Пахмусс, Т.* — Письмо в редакцию, 150.
- Перелешин, В.* — Письмо в редакцию, 155.
- Плетнев, Р.* — Письмо в редакцию, 146. УДБ, 155;
- Пожертвования в фонд "Нового Журнала"* — 138, 140.
- Прянишников, Б.* — А. Кутепов и Б. Штейфон, 139. Уточнения. Письмо в редакцию, 140.
- Пятый съезд православной русской общественности* — 145.
- Р.Г.* — Библиотека и музей Томаса Витни, 142.
- Раннит, А.* — Письмо в редакцию, 150.
- Русская библиотека им. Н. В. Гоголя в Риме*, 157.
- Рыжков-Карр, Н.* — Недоставленная телеграмма, 149.
- Сенатор Д. Мойнихен цитирует "Новый Журнал"* — 146.
- Солженицын, А.И.* — Персидский трюк, 137.
- Стихи Ленина?* — 140.
- Тельнов, Я.* — А.А. Власов на Северо-Западе оккупированной России, 157.
- Южин, В.* — О ген. Б.А. Штейфоне. Письмо в редакцию, 151.
- Якобсон, Е.* — Поездка в СССР, 153.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Андреева, Е.* — Жертвы Ялты, 139.
- Астман, М.* — И.А. Гарднер. Богослужбное пение Русской Православной Церкви, 140.
- Берд, Т.* — А. Пипкорн. Профили веры, 138.
- Бровцын, Б.* — Анатолий Федосеев: "О новой России. Альтернатива", 144; Юрий Ветохин: "Склонен к побегу", 156.
- Валин, Е.* — В.С. Варшавский. "Родословная большевизма", 150.
- Войцеховский, С.* — Б. Прянишников. "Незримая паутина", 138.

- Галанович, И.* — Т. Ригби. Совнарком (1917-22), 138.
- Гардер, М.* — Н.А. Кривошеина. Четыре трети нашей жизни, 156.
- Голлербах, С.* — Записки Русской Академической группы в США, т. 15, 151; М. Андреевко. Перекресток, 139.
- Дингли, Д.* — To honor N. Andreyev on his Seventieth Birthday, 143.
- Емальянова, Т.* — М. Геллер. А. Платонов в поисках счастья, 154.
- Завалишин, В.* — Л. Ржевский. Дина, 137; Серебряный век русской живописи, 138.
- И.Г.* — Józef Mackiewicz. Nie trzeba głośno mówić, 144.
- Иваск, Ю.* — Три юбилея Андрея Седых. Альманах, 150; Александр Давыдов. Воспоминания. 157.
- Казак, В.* — А. Бахрах. Бунин в халате, 137; В. Вейдле. На память о себе, 138; В. Вейдле. Эмбриология поэзии, 139; Поэт-переводчик К. Богатырев, 149; М. Цветаева. Избранная проза, 138; И. Чиннов. Антитеза, 138.
- Климов, Е.* — М. Алленов. А.А. Иванов, 148; Две книги об Андрее Рублеве, 148; Женский портрет в русском искусстве, 143; С.Н. Левандовский. М.Б. Греков, 156; Мстислав Добужинский. Альбом, 156.
- Крыжицкий, С.* — В. Войнович. Претендент на престол, 145; Одна или две литературы? 148; Józef Mackiewicz. "Droga do Nikad". 154. Устами Бунина, 146; Устами Буниных. Том III под ред. М. Грин, 148.
- Лапиккен, П.П.* — Alla Crone. "East lies the Sun", 146.
- Моравский, Н.* — Русская Академическая группа в США. Записки. Том XVI, 156.
- Нарциссов, Б.* — Валерий Перелешин. Южный крест, 138; Русский альманах, 145.
- Плетнев, Р.* — С. Белов. Достоевский и театр, 145; С. Белов. Роман Достоевского "Преступление и наказание", 139; Вместо рецензии, 145; Достоевский. Материалы и исследования, 157; Новое об иконостасе, 151; П. Пагануцци. Правда об убийстве царской семьи, 145;
- Прянишников, Б.* — Д. Голиков. Крушение антисоветского подполья в СССР, 137; В.М. Русаков. Рассказы о потомках А.С. Пушкина, 154.
- Ремилева, Е.* — Санджа Балыков. Девичья честь, 154.

- Сумеркин, А.* — Русско-немецкий "Крысолов", 151.
- Таубер, Е.* — Т. Величковская. Цветок и камень, 145.
- Терновский, Е.* — J. Catteau. La création littéraire, 145.
- Троль, Ю.* — Р. Гуль. Я унес Россию, 146; Р. Гуль. Одвуконь два, 148; "Кролики и удавы" Фазиля Искандера, 151; Пьесы и киносценарии А. Солженицына, 154.
- Фесенко, Т.* — Библиография Б. Зайцева. Составитель Ренэ Герра, 150; "Жизнь прошла, а молодость длится...". "На берегах Сены" И. Одоевцевой, 155; Проф. Ф. Богатырчук и его книга, 137; Л. Ржевский. Бунт подсолнечника, 145; Ст. В. Бене. "Тело Джона Брауна". Перевод И. Елагина, 146.
- Фотиев, прот. К.* — С.Л. Голлербах. Заметки художника, 154.
- Шапиль, В.* — Размышления над путешественницей-книгой, 149.
- Эйкалович, игумен Геннадий* — "Dieu est vivant", 139; В.Н. Ильин. Арфа Давида, 148; И. Мацкевич. Повод вправо!, 148; Д. Штурман "Наш новый мир", 146.

ВЫШЛИ ДВА ТОМА ТРИЛОГИИ

РОМАНА ГУЛЯ

"Я УНЕС РОССИЮ"

АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

ТОМ II. "Россия во Франции". Исправленный и значительно дополненный текст по сравнению с текстом, печатавшимся в "Новом Журнале". Много фотографий, факсимиле. указатель имен, стр. 356, цена 15 долларов.

ТОМ I. "Россия в Германии". Второе издание. Текст исправленный и значительно дополненный. Много фотографий, факсимиле, указатель имен, стр. 364, цена 12 долларов.

Заказы направлять по адресу "Нового Журнала": "New Review" 2700 Broadway, New York 10025.

Готовится к печати ТОМ III. "Россия в Америке". Перед Америкой — Война во Франции. Великий исход. На стекольной фабрике. Сельскохозяйственные батраки четыре года. Париж после победы: совпatriоты и коллаборанты. Мой уход из масонства. Масоны — адм. Вердеревский, ген. Голлиевский, Игорь Кривошеин и др. Работа с Мельгуновым. Бунин. "Народная Правда". По Германии — встреча с власовцами (СБОНР). Мюнхен, Шляйсхейм, Гамбург, Ганновер. Отъезд в Америку. "Лига борьбы за Народную свободу". Николаевский, Церетели, Керенский, Абрамович, Зензинов, Вишняк. Разрыв с Николаевским и с Лигой, М. М. Карпович и "Новый Журнал", Радиостанция "Свобода". Встреча с Солженицыным. Работа над "Я унес Россию".

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

(Required by 39 U. S. C. 3685)

1. Title of Publication — The New Review. — A. Publication No. 596680

2. Date of Filing — [Oct. 30. 84]

3. Frequency of issue — Quarterly. — A Number. of issues published annually — 4

— B. Annual Subscriptions price \$30.

4. Location of known office of publication — 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.

5. Location of the headquarters or general business offices of the publishers — 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.

6. Names and complete addresses of publisher, editor and managing editor — Publisher. The New Review Incorp. 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025; Editor, Roman Goul, 506 West 113-th Street, New York, N. Y. 10025.

7. Owner (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual must be given.)

The New Review Inc. — 2700 Broadway, New York, N. Y. 10026; Roman Goul — president, 506 West 113-th Street, New York, N. Y. 10025. Zoya Yurieff — secretary 46-04, 196-th Street, Flushing, N. Y. 11358. Peter Muraviev — treasurer 316 Monroe Ave. Wyckoff, N. J. 07481.

8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages or other securities. — None

9. For completion by nonprofit organizations authorized to mail at special rates (Section 132.122, Postal Manual).

The purpose, function, and nonprofit status of this organization and the exempt status for Federal income tax purposes. — Have not changed during preceding 12 months.

10. Extent and nature of circulation

	<i>Average No. copies each issue during preced- ing 12 months</i>	<i>Actual number copies of sin- gle issue pub- lished nearest to filing date</i>
A. Total No. copies printed (Net Press Run)	1300	1300
B. Paid circulation		
1. Sales through dealers and carriers, street vendors and counter sales	65	66
2. Mail Subscriptions	1079	1094
C. Total paid circulation	1144	1160
D. Free distribution by mail, carrier or other means, samples, complimentary, and other free copies	40	40
E. Total distribution (Sum of C and D)	1184	1200
F. Copies not distributed		
1. Office use, left over, unaccounted, spoiled after printing	116	100
2. Returns from news agents	none	none
G. Total (Sum of E & F and 2 — should equal net press run shown in A)	1300	1300

11. I certify that the statements made by me above are correct and complete, (Signature of editor, publisher, business manager, or owner) — Roman Goul, Ed.

12. For completion by publishers mailing at the regular rates (Section 132.121 Postal Service Manual).

Signature and Title of Editor, Publisher, Business Manager, or owner

Oksana Radysh, Business Manager

Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ (главный редактор)
Ю. Д. КАШКАРОВА и Е. Л. МАГЕРОВСКОГО

■
В 1985 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■
Подписная цена на 1985 год 30 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 9 долларов

■
ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и сре-
дам, от 10-ти до 12-ти час дня
